

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://saltykov-shchedrin.ru/> приятного чтения!

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

ПИСЬМО ПЕРВОЕ  
Милая тетенька!

Помните ли вы, как мы с вами волновались? Это было так недавно. То расцветали надеждами, то увядали; то поднимали голову, как бы к чему-то прислушиваясь, то опускали ее долу, точно всё, что нужно, услышали; то устремлялись вперед, то жались к сторонке... И бредили, бредили, бредили – без конца!

Весело тогда было. Даже увядать казалось не обидно, потому что была уверенность, что вот-вот опять сейчас расцветешь... В самом ли деле расцветешь, или это так только видимость одна – и это ничего. Все равно: волнуешься, суетишься, спрашиваешь знакомых: слышали? а? вот так сюрприз!

То есть, по правде-то говоря, из нас двоих волновались и «бредили» вы одни, милая тетенька. Я же собственно говорил: зачем вы, тетенька, к болгарам едете? зачем вы хотите присутствовать на процессе Засулич? зачем вы концерты в пользу курсисток устраиваете? Сядемте-ка лучше рядком, сядем да посидим... Ах, как вы на меня тогда рассердились!

– Сидите – вы! – сказали вы мне, – а я пойду туда, куда влекут меня убеждения! Mais savez-vous, mon cher, que vous allez devenir rouilleux avec vos "сядем да посидим"...[1]

Именно так по-французски и сказали: rouilleux, потому что ведь нельзя же по-русски сказать: обовшивеете!

Повторяю: я лично не волновался. Однако ж не скрою, что к вашим волнениям я относился до крайности симпатично и не раз с гордостью говорил себе: "Вот она, тетенька-то у меня какова! К болгарам в пользу Баттенбергского принца агитировать ездит! Милану прямо в лицо говорит: дерзай, княже! "Иде домув муй?" с аккомпанементом гитары поет – какой еще родственницы нужно!" Говорил да говорил, и никак не предвидел, что на нынешнем консервативно-околоточном языке мои симпатии будут называться укрывательством и попустительством...

Но теперь, когда попустительства начинают выходить из меня соком, я мало-помалу прихожу к сознанию, что был глубоко и непростительно неправ. Знаете ли вы, что такое «сок», милая тетенька? «Сок» – это то самое вещество, которое, будучи свое временно выпущено из человека, в одну минуту уничтожает в нем всякие «бреды» и возвращает его к пониманию действительности. Именно так было со мной. Покуда я кока с соком был – я ничего не понимал, теперь же, будучи лишен сока, – все понял. Правда, я лично не агитировал в пользу Баттенбергского принца, но все-таки сидел и приговаривал: ай да тетенька! лично я не плескал руками ни оправдательным, ни обвинительным приговорам присяжных, но все-таки говорил: "Слышали? тетенька-то как отличилась?" А главное: я «подпевал» (не «бредил», в истинном значении этого слова, а именно "подпевал") – этого уж я никак скрыть не могу! Так вот как соберешь все это в один фокус, да прикинешь, что за сие, по усмотрению управы благочиния, полагается, – даже волос дыбом встанет!

Позвольте, однако ж, голубушка! Мог ли я не попустительствовать и не «подпевать», если вы при каждом случае, когда я хотел трезвенное слово сказать, перебивали меня: rouilleux! Помнится, как-то раз я воскликнул: ничего нам не нужно, кроме утирающего слезы жандарма! – а вы потрепали меня по щечке и сказали: дурашка! Как я тогда обиделся! как горячо начал доказывать, что меня совсем не так поняли! И вдруг, сам не помню как, такую высокую ноту взял, что даже вы всполошились и начали меня успокаивать! А кто меня до этой высокой ноты довел?!

Спрашиваю я вас: примет ли все это в соображение управа благочиния, хоть в качестве смягчающего вину обстоятельства?

Но, кроме того, и еще – хоть вы мне и тетенька, но лет на десяток моложе меня (мне 56 лет) и обладаете такими грасами, которые могут встревожить какого угодно rouilleux. Когда вы входите, вся в кружевах и в прошивочках, в гостиную, когда,

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) сквозь эти кружева и прошивочки, вдруг блеснет в глаза волна... Ах, тетенька! хоть я, при моих преклонных летах, более теоретик, нежели практик в такого рода делах, но мне кажется, что если б вы чуточку распространили вырезку в вашем лифе, то, клянусь, самый заматерелый rouilleux – и тот не только бы на процесс Засулич, но прямо в огонь за вами пошел!

Ужели же и этого не примет в соображение управа благочиния?

Голубушка! не вините меня! не говорите, что я предаю вас, сваливаю на вас мою вину! Во-первых, чем же я виноват, коли инстинкт мне подсказывает: расскажи да расскажи! А во-вторых, предавая вас, я, право, лично для себя ничего не достигаю. Нынче так все упрощено, что уж нет ни зачинщиков, ни попустителей, ни укрывателей – одни виноватые. Стало быть, все мои ссылки на вас и на кого бы то ни было напрасны и служат только к бескорыстному разъяснению дела, а не к личному моему обелению. И что всего любопытнее: я очень хорошо это понимаю, и все-таки от предательства воздержаться не могу: так и нудит инстинкт, так и подманивает навстречу. Это уж веянье такое, и все мы, которые когда-либо были одержимы «брeдами» или "подпеваниями", – все мы обязываемся принимать его в расчет.

Одно меня утешает: ведь и вы, мой друг, не лишены своего рода ссылок и оправдательных документов, которые можете предъявить едва ли даже не с большим успехом, нежели я – свои. В самом деле, виноваты ли вы, что ваша *manière de causer*[2] так увлекательна? виноваты ли вы, что до сорока пяти лет сохранили атуры и контуры, от которых мгновенно шалют *les messieurs*?

Знаете ли, впрочем, что? Иногда мне кажется, что управа, рассмотрев наш прежний образ мыслей и приняв во внимание наш образ мыслей нынешний (какой, с божьею помощью, поворот!), просто-напросто возьмет да и сдаст наше дело в архив. Или, много-много, внушение сделает: смотрите, дескать, чтобы на будущее время «брeдней» – ни-ни!

– Помилуйте, вашеество! кто же нынче о бреднях думает? Бредни... фуй!

Это, впрочем, скажете, тетенька, вы, а не я. А я уж потом за вами в огонь и в воду...

И поедете вы, вся в кружевах и прошивочках, вашу волну по городу с визитами развозить. "Бредни... но ведь это смех, право! Бредни!.. но разве можно без омерзения об этом говорить!" Вот сколько предательства нынче, милая тетенька, развелось!

Но скорее всего, даже «рассмотрения» никакого мы с вами не дождемся. Забыли об нас, мой друг, просто забыли – и все тут. А ежели не забыли, то, не истребовав объяснения, простили. Или же (тоже не истребовав объяснения) записали в книгу живота и при сем имеют в виду... Вот в скольких смыслах может быть обеспечено наше будущее существование. Не скрою от вас, что из них самый невыгодный смысл – третий. Но ведь как хотите, а мы его заслужили.

Тем не менее я убежден, что ежели мы будем сидеть смирно, то никакие смыслы нас не коснутся. Сядем по уголкам, закроем лица платками – авось не узнают. У тех, скажут, человеческие лица были, а это какие-то истуканы сидят... Вот было бы хорошо, кабы не узнали! Обманули... ха-ха!

Но как это, тетенька, подло!

Не бойтесь же, милая. Вот вы теперь в деревню уехали: авось, мол, там меня не достанут! Ну, и прекрасно. Поживите там, подышите воздухом полей, посмотрите, как доят коров и стригут барашков, поговорите с вашим урядником, полюбуйте на житье-бытье мужичков... и вдруг вас осенит мысль: какая я, однако ж, глупенькая была! бреднями занималась! Правду *Nicolas* (это я) говорил: с нас совершенно достаточно утирающего слезы жандарма! И когда вы это выговорите и не поперхнетесь, тогда смело велите закладывать лошадей и катите опять в Петербург. Ручаюсь, что, кроме похвалы, ничего не услышите.

А в Петербурге вы найдете – меня. Сижу я здесь, как дятел на сосновом суку, и с утра до вечера все долблю: не нужно бредней! не нужно! бредней! бредней! бредней! Приезжайте и будем вместе долбить – поваднее!

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

Ужасно, какое множество нынче этих дятлов развелось. Шляются, слюною брызжут, очами грозят, долбят да друг на друга посматривают: кто кого передолбит?

\* \* \*

Впрочем, вся заслуга отрезвления (ибо я уверен, что этот процесс уже совершился в вас) на вашей, душенька, стороне. Я же как прежде был хорош, так и теперь хорош.

Всегда я думал, что вся беда наша в том, что мы чересчур много шуму делаем. Чуть что – сейчас шапками закидать норовим, а не то так и кукиш в кармане покажем. Ну, разумеется, слушают-слушают нас, да и прихлопнут. Умей ждать, а не умеешь – нет тебе ничего! Так что, если б мы умели ждать, то, мне кажется, давно бы уж дождались.

И в счастии и в несчастии мы всегда предворяем события. Да и воображение у нас какое-то испорченное: всегда провидит беду, а не благополучие. Еще и не пахло крестьянской волей, а мы уж кричали: эмансипация! Еще все по горло сыты были, а мы уж на всех перекрестках голосили: голод! голод! Ну, и докричались. И эмансипация и голод действительно пришли. Что ж, легче, что ли, от этого вам, милая тетенька, стало?

Не я один, но и граф Твёрдоонто это заметил. "Когда я был у кормила, – говорил он мне, – то покуда не издавал циркуляров об голоде – все по горло были сыты; но однажды нелегкая дернула меня сделать зависящее по сему предмету распоряжение – изо всех углов так и полезло! У самого последнего мужика в брюхе пусто стало!"

Еще бы! Мужiku только повадку дай! Он лопнуть хочет от сытости, а все кричит: жрать!

Сколько мы, литераторы, волновались: нужно-де ясные насчет книгопечатания законы издать! Только я один говорил: и без них хорошо! По-моему и вышло: коли хорошо, так и без законов хорошо! А вот теперь посидим да помолчим – смотришь, и законы будут. Да такие ясные, что небо с овчинку покажется. Ах, господа, господа! представляю себе, как вам будет лестно, когда вас, "по правилу", начнут в три кнута жарить!

Вот если бы мы были простые тати – слова нет, я бы и сам скорого суда запросил. Но ведь мы, тетенька, "разбойники печати"... Ах, голубушка! произношу я эту несносную кличку и всякий раз думаю: сколько нужно было накопить в душе гною, каким нужно было сознать себя негодяем, чтобы таким прозвищем стошнило!

Поэтому-то вот я и говорил всегда: человеческое благополучие в тишине созидаться должно. Если уж не миновать нам благополучия, так оно и само нас найдет. Вот как теперь: нигде не шелохнется; тихо, скромно, благородно. А оно между тем созидается себе да созидается.

Не в словах дело, а в деле – и это я тоже говорил. Можно ли дело делать, когда кругом гвалт и шум? – нельзя! Ну, стало быть, молчи и не мешай!

Словесный хлеб может представлять потребность только для досужих людей; трудящиеся же да вкушают хлеб с лебедой! Вот общее правило, милая тетенька. Давно мы с вами бредим, а много ли набредили? Так лучше посидим да поглядим – «оно» вдруг на нас само собою нахлынет!

Если б при московских князьях да столько разговору было, – никогда бы им не собрать русской земли. Если б при Иоанне Грозном вы, тетенька, во всеуслышание настаивали: непременно нам нужно Сибирь добыть – никогда бы Ермак Тимофеич нам ее из полы в полу не передал. Если б мы не держали язык за зубами – никогда бы до ворот Мерва не дошли... Все русское благополучие с незапамятных времен в тиши уединения совершалось. Оттого оно и прочно.

Вон Франция наемдись какой-то дрянной Тунисишко захватила, а сколько из этого разговоров вышло? А отчего? Оттого, голубушка, что не успели еще люди порядком наметиться, как кругом уж галденье пошло. Одни говорят: нужно взять! другие – не нужно брать! А кабы они чередом наметились да потихоньку дельце обделали: вот, мол, вам в день ангела... с нами бог! – у кого же бы повернулся язык супротивное слово сказать?!

Человеку дан один язык, чтоб говорить, и два уха, чтобы слушать; но почему ему дан один нос, а не два – этого я уж не могу доложить, Ах, тетенька, тетенька! Говорили вы, говорили, бредили-бредили – и что вышло? Уехали теперь в деревню и стараетесь перед урядником образом мыслей щегольнуть. Да хорошо еще, что хоть теперь-то за ум взялись: а что было бы, если бы...

А я, напротив, сижу на сосновом суку да все старую песню долблю. Старую да хорошую. И может быть, за мою простоту, до чего-нибудь и додолблюсь. Да, кажется, уж и начинаю додалбливаться. Хорошо у нас нынче, тихо! Давно так не бывало. Встречаются люди на Невском: что нового? – Да ничего не слышать. – Ну, и слава богу. Или в клубе: что в газетах пишут? – Ничего не пишут. – Ну, и слава богу... Вот увидите, милая тетенька, что из этого непременно выйдет благополучие. И не я один, все надеются. На днях встречаю князя Букиазба: мы, говорит, не болтовней занимаемся, а дело делаем.

Бог в помощь!

И точно: давно ли, кажется, мы за ум взялись, а какая перемена во всем видится! Прежде, бывало, и дома-то сидя, к чему ни приступишься, все словно оторопь тебя берет. Все думалось, что-то тетенька скажет? А нынче что хочу, то и делаю; хочу – стою, хочу – сижу, хочу – хожу. А дома сидеть надоест – на улицу выйду. И взять с меня нечего, потому что я весь тут!

Пришел я на днях в Летний сад обедать. Потребовал карточку, вижу: судак «авабля»; [3] спрашиваю: да можно ли? – Нынче все, сударь, можно! – Ну, давай судака "авабля"! – оказалась мерзость. Но ведь не это, тетенька, дорого, а то, что вот и мерзость, а всякому есть ее вольно!

А какие там, тетенька, салфетки у прислужников под мышками торчат! Совершенно мокрые детские пеленки! Не ходите туда, голубушка!

Итак, повторяю: тихо везде, скромно, но притом – свободно. Вот нынче какое правило! Встанешь утром, просмотришь газеты – благородно. "Из Белебея пишут", "из Конотопа пишут"... Не горит Конотоп, да и шабаш! А прежде – помните, когда мы с вами, тетенька, "бредили", – сколько раз он от этих наших бредней из конца в конец выгорал! Даже "Правительственный вестник" – и тот в этом отличнейшем газетном хоре каким-то горьким диссонансом звучит. Все что-то о хлебах публикует: не поймешь, произрастают или не произрастают.

Я думаю, впрочем, тетенька, что в конце концов произрастут. Потому что уж если теперь нам бог, за нашу тихость, не подаст, так уж после того я и не знаю...

"Бредни" теперь все походя ругают, да ведь, по правде-то сказать, и похвалить их нельзя. Даже и вы, я полагаю, как с урядником разговариваете... ах, тетенька! Кабы не было у вас в ту пору этих прошивочек, давно бы я вас на путь истинный обратил. А я вот заглядывался, глазами косил, да и довел дело до того, что пришлось вам в деревне спасаться! Бросьте, голубушка! Подумайте: раз бог спасет, в другой – спасет, а в третий, пожалуй, и не помилует.

Но что всего приятнее: самую видную роль в этой поголовной руготне играют «новообращенные». Старые «управцы» – те усекновляют спокойно, без разговоров, точно пирог с капустой едят; новые – доказывают, полемизируют и предварительно кусают. Иной новобранец до того осмелился, что так-таки прямо в глаза начальству отчеканивает: распни! И не боится. И гребень у него покраснеет, и хвост веером распухнет – тетерев на току, да и полно! Но я-то ведь, тетенька, не забыл. Таким же точно страстным тетеревом он был и тогда, когда – помните? – он же захлебывался в восторге от "бредней"!

Во всяком случае, голубушка, если вы вздумаете наведаться в Петербург, то, пожалуйста, держите ухо остро. Представьте себе, что вам завсегда сопутствует ваш добрый урядник – так и ведите себя. Потому что неравно вдруг какой-нибудь доброволец закричит: караул!

И все-то нынче чего-то ищут; даже такие люди ищут, которым давным-давно во всех инстанциях отказано. И только на одном свои права и основывают: пора эти бредни бросить! Но что же они, милая тетенька, вместо бредней предлагают? А предлагают они, голубушка, благополучие России – только и всего.

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)

Только они думают, что без них это благополучие совершиться не может. Когда мы с вами во время оно бреднями развлекались, нам как-то никогда на ум не приходило, с нами они осуществляются или без нас. Нам казалось, что, коснувшись всех, они коснутся, конечно, и нас, но того, чтобы при сем утащить кусок пирога... сохрани бог! Но ведь то были бредни, мой друг, которые как пришли, так и ушли. А нынче – дело. Для дела люди нужны, а люди – вот они!

Ужасно замученный вид имеют эти люди, покуда ищут и разнюхивают. Худые, бледные, испитые, с пересохшим горлом, с воспаленными глазами. И только одно твердят: бредни! Встречаться с ними во время этой охоты ужасно опасно, и потому я, как завизижу «искателя», сейчас шмыг в ресторан. Хочу – растегай ем; хочу – бутерброд ухвачу! Все нынче можно.

И все эти «искатели» друг друга подсаживают и ругательски друг друга ругают. Встретил я на днях Удава – он Дыбу ругает; встретил Дыбу – он Удава ругает. И тот и другой удостоверяют: вот помяните мое слово, что ежели только он (имярек) «достигнет» – он вам покажет, где раки зимуют!

Вот ведь это какие, тетенька, люди: знают, где раки зимуют!

Но мне-то, мне-то зачем это знать? Конечно, оно любопытно, но иногда, право, выгоднее без любопытства век прожить. Признаюсь, я даже не удержался и спросил Удава: да неужто же нужно, чтобы я знал, где раки зимуют? А он в ответ: уж там нужно или не нужно, а как будут показывать, так и вы, в числе прочих, узнаете.

Подумайте, милая! Сегодня Дыба покажет, где раки зимуют, завтра – куда Макар телят не гонял, послезавтра – куда ворон костей не заносил, а в заключение объяснит, как Кузькину мать зовут! Вот сколько наук!

И добро бы мы этих наук не знали, а то ведь наизусть от первой страницы до последней во всех подробностях проштудировали – и все оказывается мало!

Но когда мы окончательно обогатимся этими знаниями, тогда курс наук наших будет полон, и мы начнем показывать товар лицом. Изобретем сначала порох, потом компас, потом книгопечатание, а между прочим, пожалуй, откроем и Америку.

И все-таки сдается: нет уж, пусть лучше ни Удав, ни Дыба не «достигнут»! Побегают, помятутся, да с тем пусть и отъедут. Вот это было бы хорошо! Тетенька! голубушка! помолитесь, чтоб они не достигли!

\* \* \*

Представляю я себе, как вы, бедненькая, проводите время в деревне.

Встанете утром, помолитесь и думаете: а ведь и я когда-то «бреднями» занималась! Потом позавтракаете, и опять: ведь и я когда-то... Потом погуляете по парку, распорядитесь по хозяйству и всем домочадцам пожалуетесь: ведь и я... Потом обед, а с ним и опять та же неотвязная дума. После обеда бежите к бабушке, и вся в слезах: бабушка! отец Андрон! ведь когда-то... Наконец, на сон грядущий, призываете урядника и уже прямо высказываетесь: главное, голубчик, чтоб бредней у нас не было!

Но ведь и робеть чересчур тоже не годится, мой друг. Излишняя робость может грудку высушить – и тогда навеки пропал для вас очень важный оправдательный документ.

На вашем месте я поступил бы так. Прежде всего, безусловно, утаил бы от домашних происходящие в душе вашей тревоги. Домашние – народ узко-себялюбивый и даже тривиальный; не качество идей их увлекает, а удача. Ежели вы устраиваете комфортабельно их жизнь при помощи «бредней» – они будут говорить: ай да тетенька! Если вы того же самого результата достигаете при помощи «антибредней» – они и тогда будут восклицать; ай да тетенька! Ни в тревогах, ни в сомнениях ваших они не примут участия, потому что, на их взгляд, все и всегда ясно. Расскажите им, что именно вас мутит, – они сейчас все до ниточки на бобах разведут. То есть, собственно говоря, ничего не разведут, а будут одно и то же долбить; да ведь это, наконец, ясно! Ибо никто лучше их не понимает, что во всяком деле на первом плане стоит благополучие (с лебедой в резерве) и тишина (с урчанием в резерве). И ежели вы за всем тем не перестанете упорствовать в

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) непонимании сего, то даже малолетки будут к вам приставать: тетенька, да неужто ж вы этого не понимаете? И станут издеваться над вами, так что в конце концов окажется, что все они умники, а вы одна между ними – дура дурой.

Но что всего хуже, насмеяться-то они насмеются, а помочь не помогут. Потому что хоть вы, милая тетенька, и восклицаете; ах, ведь и я когда-то бредила! но все-таки понимаете, что, полжизни пробредивши, нельзя сбросить с себя эту хмару так же легко, как сменяют старое, заношенное белье. А домочадцы ваши этого не понимают. Отроду они не бредили – оттого и внутри у них не скребет. А у вас скребет.

Вот к батюшке прибегнуть в горести – это я вам советую. Батюшка справится в требнике и все рассудит: недаром же имя ему Андрон (от "Андроны едут"). И, в заключение, простит, потому что такого его обязанность. Но главная польза, от сего простекающая, будет заключаться в том, что вы-то сами непременно утешение получите. В раскаянии есть нечто до того сладкое, что оно само себе довлеет. Сидит человек, и тихие слезы текут по его щекам... Говорят, будто слезы служат выражением страдания, а подите-ка, отыщите что-нибудь слаще этих слез! "Ах, не могу!.. ах, не буду!.. батюшка! поддержите!" – Успокойтесь, сударыня!

А ежели попик у вас ловкий да в семинарии учился хорошо, так он, пожалуй, целую предиду по этому случаю произнесет. "Что привело тебя ко мне, чадо мое? – скажет, – и привело в смущении, в горе, в слезах? Не смерть ли досточтимых родителей? – так ведь, кажется, родителей давно у тебя нет! не болезнь ли любимых детей? – так ведь, кажется, они, слава богу, здоровы! Что же привело тебя?! Ищу и не нахожу. Не пожар ли? не утрата ли имущества? не ослушание ли подчиненных и присных твоих?" Вот тут-то вы и изложите ему все по порядку. Ручаюсь, что возвратитесь домой утешенною.

Можете переговорить и с урядником, но при этом советую не терять самообладания. Скажите просто: вот, мол, какие слухи ходят, так вы уж, пожалуйста! Только и всего. Как будто вы тут в стороне: заметили – и горюшка мало. Но, ради всего святого, не влюбитесь в урядника, ибо в таком случае ваши прелестные прошивки пропахнут тютюном и овчинами. Этого, тетенька, и начальство не требует, а что касается до партикулярных людей, то, право, они совершенно равнодушно отнесутся к тому, какие высокие цели руководят вами в этом случае, а будут только примечать, что урядник новое кепе купил да усы фабриць начал. И прозовут они вас «урядницей», и так популяризируют эту кличку, что вам проходу по деревне от нее не будет.

Случаев такого необдуманного увлечения урядниками немало встречается в истории. Я сам лично одну дамочку знал, которая долгое время стригла себе волосы и ужасно гордо изгибала шею, когда ее звали «стрижкой» и «нигилисткой». И вдруг влюбилась в землемера (все землемеры, по природе, консерваторы), купила шиньон, и с тех пор только и слов: "Ах, эти скверные стрижки!", "ах, эти немые нигилистки!" Но что ж она этим выиграла? Только то и выиграла, что не только «стрижки» и «нигилистки», но и самые землемерши стали ее «землемершею» величать...

Стало быть, во всем должна быть мера, милая тетенька. Мера – в парении чувств и мыслей и мера – в предательстве. Так что ежели который человек всю жизнь «бредил», а потом, по обстоятельствам, нашел более выгодным «антибредить», то пускай он не прекращает своего бреда сразу, а сначала пускай потише бредит, потом еще потише, и еще, и еще, и, наконец – молчок! Тогда он уж бесстрашно может, на всей своей воле, антибредом заняться, и все будут говорить: "Из какого укромного места этот безвестный рыбарь явился? что-то мы его как будто прежде не замечали!" А между тем – он самый и есть!

Вообще же мой совет таков: как можно больше самообладания. Отказывайтесь от бреда постепенно и не вводя в соблазн. Не клеветайте на себя, не обрызгивайте себя слюною, не проклиняйте вашего прошлого! Ибо, по правде говоря, какой же был и бред-то ваш, милая тетенька! Порезвились, пошалили – только начальству удовольствие доставили! С батюшкой, однако ж, можете быть откровенны, а что касается до урядника, то об одном прошу: ради бога, берегите ваши прошивки! Помните, что, по сиротству вашему, эти прошивки суть единственное ваше сокровище. И вы должны сохранить его незапятнанным, дабы дети ваши с гордостью могли воскликнуть: вот они, маменькины прошивки! точно сейчас только со станка сняты!

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru  
\* \* \*

Тетенька! приезжайте в Петербург! не бойтесь, милая, не стыдитесь! Забудьте – и все будет хорошо.

Как только вы приедете, я сейчас вас на острова повезу. Заедем к Дороту; я себе спрошу ботвиньи, вы – мороженого.. вот ведь у нас нынче как! Потом отправимся на pointe[4] и будем смотреть, как солнце за будку садится. Потом домой – баиньки. Это первый день.

На второй день, с утра – крестины у дворника. Вы – кума, швейцар Федор – кум. Я – принес двугривенный на зубок. Подают пирог с сигом – это у дворника-то! Подумайте, тетенька, как в самое короткое время уровень народного благосостояния поднялся! С крестин поднимаемся домой – рано! Да не хотите ли, тетенька, в Павловск, в Озерки, в Рамбов? сделайте милость, не стесняйтесь! Явимся на музыку, захотим – сядем, не захотим – будем под ручку гулять. А погулявши, воротимся домой – баиньки!

На третий день – в участок... то бишь утро посвятим чтению "Московских ведомостей". Нехорошо проведем время, а делать нечего. Нужно, голубушка, от времени до времени себя проверять. Потом – на Невский – послушать, как надорванные людишки надорванным голосом вопиют: прочь бредни, прочь! А мы пройдем мимо, как будто не понимаем, чье мясо кошка съела. А вечером на свадьбу к городовому – дочь за подчаска выдает – вы будете посаженной матерью, я шафером. Выпьем по бокалу – и домой баиньки.

На четвертый день – дождик. Будем сидеть дома. На обед: уха стерляжья, filets mignons, [5] цыпленочек, спаржа и мороженое – вы, тетенька, корсета-то не надевайте. Хотите, я вам целый ворох "La vie parisienne"[6] предоставлю? Ах, милая, какие там картинки! Клянусь, если б вы были мужчина – не расстались бы с ними. А к вечеру опять разведрилось. Ma tante! да не поехать ли нам в "Русский Семейный Сад"? – Поехали.

На пятый день у тетеньки головка болит. Сидите вы, вся в прошивочках, и только плечики у вас вздрагивают. Ах, ma tante! как бы я хотел быть этою прошивочкой... вон той, которая сначала в бок, а потом все прямо, прямо, прямо... Да улыбнитесь же, голубушка! И вдруг... вы погрозили пальчиком... "Шалун!" Да кто же, милая, шалун-то? Я ли, шестидесятилетний вертопрах, или пальчик... ах, этот пальчик! Но вы только вздыхаете в ответ и вспоминаете... Помните, тетенька, как лейб-гвардии кирасирского полка штабс-ротмистр Лев Полугаров ("к сему заемному письму" и т. д.) посадил вас на ладонку, да так к брачному алтарю и доставил? Вот вы когда еще "бредить"-то начали! Но оставим прошлое и обратимся к действительности. Тетенька! как бы я хотел быть вашим чулочком... Mais vous finitez par prononcer le mot: caleçons... mauvais sujet![7] возмущаетесь вы...

Однако ж, хоть вы и возмущаетесь, но, в сущности, ведь не сердитесь... Ведь не сердитесь, милая? За что же тут сердиться – ведь нынче все можно! В таких разговорах проходит день до вечера, а там – опять баиньки!

Шестой день. "Сегодня я хочу кутить!" говорите вы, и мы отправляемся в «Самарканд». Но там застаем драку. Выбегает к нам сам хозяин и говорит: "Это ничего! Это офицеры купца бьют! сейчас кончат!" Заказываем обед, спрашиваем шампанского и смотрим друг на друга. Припоминаем, какие бывают на свете «разговоры», и никак припомнить не можем. Наконец я говорю: а может быть, в эту самую минуту какая-нибудь комиссия без шума, без хвастовства, заботится об нас, благополучие наше созидает? – Finissez![8] – Что? не нравится вам это напоминание, тетенька? все еще, видно, "бредни"-то в головке ходят! Ну, нечего делать, коли не нравится, едем домой и – баиньки.

На седьмой день мы все слова перезабыли. Сидим друг против друга и вздыхаем. Сверх того, я лично чувствую, что у меня во всем теле зуд. Господи! да уж не кузька ли на меня напал?

Вот вам целая неделя. Ежели мало, можно и другую такую же подобрать.

Это подробности, а вот и общие правила:

1) Никогда не спрашивать: можно ли? Это тривиально и запоздало. Нынче – все можно.

2) О «бреднях» лучше всего позабыть, как будто их совсем не было. Даже в «антибредни» не очень азартно пускаться, потому что и они приедаться стали. Знаете ли, милая тетенька, мне кажется, что скоро всех этих искателей и лятеелей будут в участок брать, а там им, вытрезвления ради, поясницы будут дегтем мазать?

Приезжайте, голубушка!

#### ПИСЬМО ВТОРОЕ

Вот, тетенька, какая вы милая! Побывали в Петербурге и сами убедились, как у нас хорошо. Все именно так и произошло, как я в прошлом письме проектировал. И сидели мы, и ходили, и стояли – как кто хотел. А из публичных действий, побывали в «Самарканде», катались по островам, у дочери городского на свадьбе присутствовали и проч. И никто нас за это не забранил. Как приехали вы к нам, так и уехали – на собственном иждивении, без провожатого. А отчего? – оттого, голубушка, что такое нынче общее правило: питать доверие даже относительно таких лиц, которые, судя по их антецедентам, отнюдь доверия не заслуживают.

Предполагается, что жизнь со всеми "сыграет штуку". Одних – «образумит» окончательно, других – ежели и не «образумит», то заставит глотать «бредни», притворяться, подплясывать, произносить вымученные, исполненные антибредней professions de foi.[9] Именно сама жизнь это сделает, а совсем не околоточные. Жизнь испуганная, перевернутая вверх дном, замученная, мечущаяся под гнетом паники. А мы с вами будем сидеть и радоваться. Ибо ничто так не веселит, как вид человека, приведенного к одному знаменателю. Все нутро у него колотится и стонет, а он пляшет... ха-ха! Никто его вещественной плеткой не понуждает, а он сам собой кричит: Эй, жги, говори! – ха-ха! Значит, понимает, чье мясо кошка съела... ха-ха! Помилуйте! да одной этой забавы по горло достаточно, чтоб распотешить не весьма требовательных зрителей! А ежели к этому, в виде обстановки, прибавить толпы скалящих зубы ретирадников, а вдали, "у воды", массы обезумевших от мякинного хлеба «компарсов» – просто со смеху умереть можно! Особоливо ежели в домашнем обиходе нет ни наук, ни искусств, ни промышленности, ни денег, ни дела...

А второе нынешнее правило: не стеснять действий, кои бесспорно человеческому естеству свойственны. Как например: пить чай с филипповскими калачами, ходить по улице, даже не имея уважительных для передвижения причин, и т. п. А так как мы с вами именно только такие действия и совершали, то никто нас в бараний рог и не согнул: пускай гуляют. Но ежели бы мы увлеклись и вздумали напомнить, что "errare humanum est", [10] то нам объяснили бы, что это пословица, вышедшая из употребления, и что не только ссылаться на нее, но и сомнений по ее поводу возбуждать не надлежит. Просто-напросто надо позабыть. Это, тетенька, третье нынешнее правило, и оно так существенно, что я позволю себе остановиться на нем несколько подробнее.

Родоприсхождение этого третьего общего правила, как и всего вообще, чем красна наша жизнь, до крайности просто. «Надоело» – это во-первых. Тошно смотреть (а по другим: "взбесить может"), как люди путаются – пусть лучше прямой дорогой в Демидрон [11] идут. Во-вторых, и хлопот с errare [12] много: одних новых околоточных сколько потребуется. А в-третьих, по нынешнему времени, не errare нужно, а "внушать доверие". Только и всего. Вспомните древних римлян: заблуждались они да заблуждались (они и пословицу-то эту выдумали), а что из того вышло? – вышло сначала падение западной римской империи, а потом и восточной. А если б они не заблуждались, но ездили в «Самарканд», то римская-то империя и поднесь, пожалуй, процветала бы; вандалы же, сарматы и скифы и сейчас гоняли бы Макаровых телят и в лесах Германии, и на низовьях Дуная и Днепра.

Все это так умно и основательно, что не согласиться с этими доводами значило бы навлекать на себя справедливый гнев. Но не могу не сказать, что мне, как человеку, тронутому «бреднями», все-таки, по временам, представляются кое-какие возражения. И, прежде всего, следующее: что же, однако, было бы хорошего, если б сарматы и скифы и доднесь гоняли бы Макаровых телят? Ведь, пожалуй, и мы с вами паслись бы в таком случае где-нибудь на берегах Мьи? [13]

Похоже на то, что паслись бы. Как ни ненадежна пословица, упразднившая римскую империю, но сдается, что если б она не пользовалась такую популярностью, то многое из того, что ныне заставляет биться наши сердца гордостью и восторгом,



Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) развилось бы совсем в другом направлении, а может быть, и окончательно захирело бы в зачаточном состоянии. Могло ли бы, например, состояться призвание варягов, если бы «errare» своевременно не повредило восточную римскую империю и через то не заставило бы ее околоточных смотреть на этот факт сквозь пальцы? А если бы не состоялось призвание варягов, то не было бы удельного периода, не было бы боярина Кучки и основания Москвы, не было бы основания города Санкт-Петербурга и учреждения института урядников. Вот что наделало *errare humanum est*. Имеем ли же мы право так строго относиться к нему?

Вообще ничто в мире не пропадает даром, милая тетенька. В сущности, и восточная римская империя не пропала, а только места, насиженные «порфирородными» и «багрянородными», заняли "Мохамедовы сыны". "Порфирородные"-то ушли, а восточные римляне и при "Мохамедовых сынах" остались при прежних занятиях, с тем лишь изменением, что уж не «багрянородные», а Мохамедовы сыны мужей обратили в рабство, а жен и дев (которые получше) разобрали по рукам. Но, бог даст, и Мохамедовы сыны уйдут, а на их месте явятся или Георг греческий, или Карл румынский, или Милан сербский, или, наконец, Баттенбергский принц. А восточные римляне по-прежнему останутся при своих занятиях, и, по-прежнему, Баттенбергский принц мужей обратит в рабство, а жен и дев уведет в плен. И все это совершится при помощи *errare humanum est*.

Но, может быть, вы скажете: урядники-то могли бы возникнуть и независимо от *errare humanum est*... Совершенно с вами согласен. Как могли бы возникнуть? – да так, как-нибудь. Тут «тяп», там «ляп» – смотришь, ан и «карабь». В ляповую пору да в типовых головах такие ли предприятия зарождаются! А сколько мы липовых пор пережили! сколько типовых голов перевидели!

Но этого мало. Оставим в стороне события мирового значения и обратимся к нашей обыкновенной, будничной действительности. И тут мы на каждом шагу убеждаемся, какие глубокие следы повсюду оставило после себя *errare humanum est*. Эти прелестные ботинки, которые так обаятельно держат в плену вашу ножку, – они плод заблуждений, потому что «башмачник» бесчисленное множество столетий заблуждался, плетя лапти или выкраивая из сырых кож безобразные пироги, покуда, наконец, дошел до того перла создания, который представляет собой современная изящная ботинка. Эти прошивочки, сквозь которые пробивается нечто пленительно-розовое, – и они плод заблуждений, потому что трудно даже представить себе, милая тетенька, что вышло бы, если бы горькая необходимость заставила вас украсить вашу грудку первыми кружевами, сплетенными первой кружевницей (говорят, будто в Кадниковском уезде плетут хорошие кружева, не верьте этому, голубушка!). Эти отлично выпеченные, мягкие как пух булки, которые мы едим, – плод заблуждений; ибо первый хлебник непременно начал с месива, которого в наше время не станет есть даже "торжествующая свинья" (см. "За рубежом", гл. VI). Даже малороссийское сало – уж на что гаже! – и то плод заблуждений, потому что прототип его есть сало, которым современные нам кабатчики смазывают оси своих «купецких» тележек. А у нас с вами оси патентованные (смазываемые особым составом), потому что мы ездим в изящных каретах, первообраз которых, однако ж, представляет собою... телега!

Когда все это, и мировое и будничное, представляется уму во всех деталях и разветвлениях и когда, в то же самое время, в ушах звенят клики околоточной литературы, провозглашающей упразднение девиза, благодаря которому мы имеем крупковские пушки, ружья-шасспо и филипповские калачи, – право, становится жутко. Так вот и кажется, что сейчас принесут корыто с месивом и скажут: лакай! Или заставят бежать в лес и там собственными зубами зайцев ловить. Изловим, перекусим косому горло, в крови перепачкаемся да так сырьем все нутро до самой мездры и выедем! И потеряем при этом и ощущение холода, и ощущение стыда; будем мчаться по горам и по долам без перчаток, с нечищеными ногтями, с обвислыми животами (вспомните: в старину москвичи называли рязанцев «кособрюхими» – стало быть, такой пример уж был), с обросшими шерстью поясницами, а быть может, и с хвостами! Потому что все это: и ощущение холода, и ощущение стыда, и упругие животы, и выхоленные поясницы – все это последствия *errare humanum est*.

Таковы соображения, которые возникают во мне при мысли о третьем нынешнем общем правиле. И не могу не сознаться, что при существовании их подчинение этому правилу становится делом очень тяжелым, почти несносным.

\* \* \*

Тем не менее, как ни жаль расставаться с тем или другим излюбленным девизом, но

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) если раз признано, что он «надоел» или чересчур много хлопот стоит – делать нечего, приходится зайцев зубами ловить. Главное дело, общая польза того требует, а перед идеей общей пользы должны умолкнуть все случайные соображения. Потому что общая польза – это, с одной стороны... а впрочем, что бишь такое общая польза, милая тетенька?

В старину мы были не особенно сильны по части определений и в большинстве случаев полагали так: общая польза есть польза квартальных надзирателей. Или, говоря другими словами, общая польза есть то, что приносит надзирателям доход (безгрешный) или обеспечивает их спокойствие. Но ныне это учение признается уже неудовлетворительным, и сами участковые надзиратели откровенно заявляют, что не ради их общая польза существует, а, напротив того, они ради общей пользы получают присвоенное содержание. Подобно сему должны мыслить и прочие обыватели, хотя бы и без надежды на получение содержания.

Именно так я и поступаю. Когда мне говорят: надоело! – я отвечаю: помилуйте! хоть кого взбесит! Когда продолжают: и без errare хлопот много – я отвечаю: чего же лучше, коли можно прожить без errare! когда же заканчивают: не заблуждаться по нынешнему времени приличествует, а внушать доверие! – я принимаю открытый и чуть-чуть легкомысленный вид, беру в руку тросточку и выхожу гулять на улицу.

Теперь лето, и на петербургских улицах пропасть рабочего люда. Необходимо, чтоб эти люди питали доверие. Бредет какой-нибудь Радимич или Корела, с лопатой и киркой на плече, и непременно вздыхает (и об чем это они все вздыхают?). И вот навстречу его вздохам сорвался с цепи человек, у которого на лбу так и горит: "в надежде славы и добра"... Смотрит на него Корела и долго ничего не понимает. Однако ж постепенно окриляется, окриляется – и вдруг мысль: ведь это значит, что недоимки простят! И что же! куда разом все подевалось: и вздохи, и задавленный вид! Пошел Корела как ни в чем не бывало лопатой поковыривать, киркой постукивать... Бог в помощь, Корела!

Вы скажете, может быть, что это с его стороны своего рода "бредни", – так что ж такое, что бредни! Это бредни здоровые, которые необходимо поощрять: пускай бредит Корела! Без таких бредней земная наша юдоль была бы тюрьмою, а земное наше странствие... спросите у вашего доброго деревенского старосты, чем было бы наше земное странствие, если б нас не поддерживала надежда на сложение недоимок?

На днях я зашел в курятную лавку и в одну минуту самым простым способом всем тамошним «молодцам» бальзам доверия в сердца пролил. "Почем, спрашиваю, пару рябчиков продаете?" – Рубль двадцать, господин! – Тогда, махнув в воздухе тросточкой, как делают все благонамеренные люди, когда желают, чтобы, по щучьему велению, двугривенный превратился в полуимпериал, я воскликнул: "Истинно говорю вам: не успеет курица яйцо снести, как эта самая пара рябчиков будет только сорок копеек стоить!"

Почему я это сказал и каким образом оно у меня вышло – я сам не могу объяснить. Вероятнее всего, что я солгал (нынче общее правило: лгать, покуда не уличат). Но надо было видеть, как эти простодушные люди при моих словах встрепенулись и ободрились. "Да мы всей душой!", "да для нас же лучше!", "да у нас тогда отбоя от покупателей не будет!" – только и слышалось со всех сторон. И заметьте, что я ни одним словом об «таксе» не намекнул. Ибо «такса» напоминает отчасти о социализме, отчасти о бывшем министре внутренних дел Перовском и отчасти о водевиле Каратыгине, который в водевиле «Булочная» возвел учение о «таксе» в перл создания. *Tout se lie, tout s'enchaîne dans ce bas monde!*[14] – как сказал некогда Ламартин.

Такова программа всякого современного деятеля, который об общей пользе радеет. Не бредить, не заблуждаться, а ходить по лавкам и... внушать доверие. Ибо ежели мы не будем ходить по лавкам, то у нас, пожалуй, на вечные времена цена пары рябчиков установится в рубль двадцать копеек. Подумайте об этом, тетенька!

Только уж само собой разумеется, что если мы решаемся "внушать доверие", то об errare надо отложить попечение и для себя и для других. Потому что, в противном случае, возьмет «молодец» в руки счеты, начнет прикладывать да высчитывать, и окажется, что ничего дешевого у нас в будущем, кроме кузьки да гессенской мухи, не предвидится.

\* \* \*

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) Таким образом, оказывается, что "внушать доверие" значит перемещать центр «бредней» из одной среды (уже избредившейся) в другую (еще не искусленную бредом). Например, мы с вами обязываемся воздерживаться от бредней, а Корела пусть бредит. Мы с вами пусть не надеемся на сложение недоимок, а Корела – пусть надеется. И все тогда будет хорошо, и мы еще поживем. Да и как еще поживем-то, милая тетенька!

Но что же нужно сделать для того, чтобы забредило такое подавленное суровую действительностью существо, как Корела? – Очень немного: нужно только иметь наготове запас фантастических картин, смысл которых был бы таков: вот радости, которые тебя впереди ожидают! Или, говоря другими словами, надобно постоянно и без усталости лгать.

Отсюда, новый девиз: *humanum est mentire*, [15] которому предназначено заменить вышедшую из употребления римскую пословицу, и с помощью которой мы обязываемся на будущее время совершать наш жизненный обиход. Весь вопрос заключается лишь в том, скоро ли нас уличат? Ежели не скоро – значит, мы устроились до известной степени прочно; ежели скоро – значит, надо лгать и устраиваться сызнова.

Задача довольно трудная, но она будет в значительной мере облегчена, ежели мы дисциплинируем язык таким образом, чтобы он лгал самостоятельно, то есть как бы не во рту находясь, а где-нибудь за пазухой.

Мы всегда были охотники полгать, но не могу скрыть, что между прежним, так сказать, дореформенным лганьем и нынешним такая же разница, как между лимоном, только что сорванным с дерева, и лимоном выжатым. Пржнее лганье было сочное, пахучее, ядреное; нынешнее лганье – дряблкое, безуханное, вымученное.

Дореформенные лгуны составляли как бы особую касту (не всякий сознавал себя достаточно одаренным), вроде старинных "явных прелюбодеев" или нынешних рассказчиков из народного быта. Они лгали не от нужды, а потому, что "веселие Руси есть лгати". Поэтому лганье их было восторженное, художественно-образное и чуждое всякой тенденциозности. Память о лгунах нашей черноземной полосы жива и поднесь; но увы! старые тамбовцы-лгуны постепенно вымирают, а потомки их, пропившиеся и прогоревшие, довольствуются невнятным бормотанием.

Я помню, как при мне однажды тамбовский лгунице рассказывал, как его (он говорил: "одного моего друга", но, по искажениям лица и дрожаниям голоса, было ясно, что речь идет о нем самом) в клубе за фальшивую игру в карты били. Сначала вымазали горячей котлеткой лицо; потом приклеили к голой спине бубнового туза; потом, встряхнув, поставили на колени и велели прощения просить и, наконец уж, начали настоящим образом бить. Кто-то крикнул: вымазать ему, мерзавцу, дегтем спину! – но тут уж полицеймейстер вступился. Передавая эти потрясающие подробности, рассказчик видимо переживал незабвенные минуты, о которых повествовал. Когда речь шла о котлете – его лицо сжималось и голова пригибалась, как бы уклоняясь от прикосновения постороннего тела; когда дело доходило до приклейки бубнового туза, спина его вздрагивала; когда же он приступил к рассказу о встряске, то простирали руки и встряхивал ими воображаемый предмет. Одним словом, выходило и образно и талантливо. Но в то же время было несомненно, что он, по крайней мере, на две трети налгал. Взавши в основу истинное происшествие, он постепенно увлекался художественными инстинктами (а может быть, и состраданием к самому себе) и доходил до небывлиц. Скажи он просто: били! – право, этого было бы совершенно достаточно, чтоб пробудить жалость во всех сердцах. Но у него горело воображение, но сердце его учащенно билось и накопившие слезы просились наружу. Все нутро подстрекало его, кричало: мало! мало! мало!

Так что в заключение, позабыв, что рассказывает о друге, и отождествив себя с ним, он воскликнул:

– Вот она, ключица-то! это мне ее в ту пору переломили! Чисто отделили... а?

Смотрим: ключица как ключица – целехонька! Ах, Иван Иваныч!

Словом сказать, еще немного – и эти люди рисковали сделаться беллетристами. Но в то же время у них было одно очень ценное достоинство: всякому с первого же их слова было понятно, что они лгут. Слушая дореформенного лжеца, можно было рисковать, что у него отсохнет язык, а у слушателей уши, но никому не приходило

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) в голову основывать на его повествованиях какие-нибудь расчеты или что-нибудь серьезное предпринять.

Нынче на сцену выступили лгуны малоталантливые, тусклые по форме и тенденциозные по существу.

По форме современное лганье есть не что иное, как грошовая будничная правда, только вывороченная наизнанку. Лгун говорит «да» там, где следует сказать "нет", – и наоборот. Только и всего, Нет ни украшений, ни слез, ни смеха, ни перла создания – одна дерюжная, черт ее знает, правда или ложь. До такой степени "черт ее знает", что ежели вам в глаза уже триста раз сряду солгали, то и в триста первый раз не придет в голову, что вы слышите триста первую ложь.

По существу, современное лганье коварно и в то же время тенденциозно. Оно представляет собой последнее убежище, в котором мудрецы современности надеются укрыться от наплыва развивающихся требований жизни; последнее средство, с помощью которого они думают поработить в свою пользу обезумевшее под игом злоключений большинство.

Дерюжность формы в особенности делает нынешнюю ложь опасною. Она отнимает возможность выяснить цели лганья, а стало быть, и устережся от него. Сверх того, лжец новой формации никогда не интересуется, какого рода страдания и боли может привести за собою его ложь, потому что подобного рода предвидения могли бы разбудить в нем стыд или опасения и, следовательно, стеснить его свободу. Раз навсегда сбросив с себя иго напоминаний и укулов, он лжет нагло, бессердечно и самодовольно, так что даже достаточно проницательные люди внимают ему в недоумении или же, в крайнем случае, видят в его лганье простую бессмыслицу.

Представьте себе, что вы в первый раз очутились в Петербурге и желаете знать, каким образом пройти, например, в Гороховую улицу. И вот первый лжец посылает вас на Обводный канал, а по прибытии туда вас принимает второй лжец и говорит: надо идти на Выборгскую сторону. Вы измучились, погубили пропасть времени, вы в изумлении спрашиваете себя: зачем понадобилась эта мистификация? – а в эту самую минуту к вам подходит третий лжец и советует поискать Гороховую в окрестностях Екатерингофа. Спрашивается: какой имеете вы резон не последовать этому совету? и вы опять губите время, опять изнуряетесь, не понимаете, что такое случилось?

Вот нынешние лгуны каковы.

Я не спорю, что всю эту процедуру охотно проделал бы и дореформенный лгун; но, выполняя ее, он был бы искренно убежден, что это значит "дураков учить". И долго бы заливался смехом при мысли, "какую рожу дурак состроит, когда в Екатерингоф припрет". Нынешний лгун даже подобными неумными мотивами не задается. Он лжет на всякий случай, но лжет не потому, что у него в горле застряла случайная бессмыслица, а потому, что ложь сделалась руководящим принципом его жизни, исходным пунктом всей его жизнедеятельности. Или, говоря другими словами, он лжет потому, что, по нынешнему времени, нельзя назвать правду по имени, не рискуя провалиться сквозь землю.

Мне кажется, что в последних, подчеркнутых мною, словах заключается вся разгадка современного лганья. Прежде мы лгали, потому что была потребность скрасить правду жизни; нынче – лжем потому, что боимся притронуться к этой правде. Как будто в самом воздухе разлито нечто предостерегающее: "Смотри! только пикни! – и все эти основы, краеугольные камни и величественные здания – все разлетится в прах!" Или яснее: ежели ты скажешь правду, то непременно сквозь землю провалишься; ежели солжешь – может быть, время как-нибудь и пройдет.

Понятное дело, что последнее все-таки выгоднее.

\* \* \*

Вероятно, вы удивитесь моим опасениям относительно основ и краеугольных камней. Возможное ли дело, скажете вы, чтоб им угрожала какая-нибудь опасность, коль скоро в каждом городе заведено по исправнику, а в каждом селении по уряднику, которые только и делают, что наблюдают за неизбежностью краеугольных камней? Да, наконец, и ежечасный опыт ужели не убеждает...

Убеждает, голубушка, и не только убеждает, но даже сомнения не оставляет. Лично я всегда верил в краеугольные камни и продолжаю верить. Нельзя не верить, когда

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) ежечасно собственными глазами видишь, как потрясателя на веревочке ведут в участок и когда ежедневно узнаешь из газет, как ловко с ихним братом распоряжаются в судебных инстанциях. Но согласитесь, что ежели на каждой российской сосне сидит по вороне, которые все в один голос кричат: посрамлены основы! потрясены! – то какую же цену может иметь мнение человека, положим, благонамеренного, но затерянного в толпе? И притом такого, который, вопреки всем вороньим свидетельствам, утверждает, что никогда околоточные надзиратели не были так деятельны, никогда основы не стояли так прочно и незыблемо, как теперь? Ведь человек-то этот, пожалуй, подозрительный! Ведь он-то, пожалуй, самый потрясатель и есть!

А сверх того, право, дело совсем не в защите основ и даже не в том, незыблемо ли они стоят или шатаются. Очень это нужно вороньему роду! Ему нужно одно: чтобы в общественном сознании произошел оптический переполюс, благодаря которому и незыблемо стоящие основы казались бы расшатанными и неогражденными. Потому что переполюс развязывает им руки и сообщает их крикам авторитетность. Увы! нынче даже в нашей небогатой численным персоналом литературе (еще недавно столь гадливой) завелись целые рои паразитов, которые только и живут, что переполюсами да неплатежом арендных денег.

Несомненно, что эти каркающие мудрецы – просто-напросто проходимцы. Но они знают, какого рода карканье требуется в данный момент на рынке, – и это обеспечивает им успех. Не факты действительного грабежа и вопиющего предательства священнейших интересов страны приводят их в негодование, но попытки отнестись к этим фактам сознательно и указать их значение в связи с общим жизненным строем. Подобные указания для них – нож вострый, потому что, когда их формулируют, то они сами сознают себя Юханцевыми и Вагонами и начинают мучиться опасениями, как бы не разгадали их игры. Что же удивительного, что они надседаются, каркая: посрамлены основы! потрясены! Это не крик сердца, а только предумышленный отвод глаз. А простодушные люди проходят мимо и думают: должно быть, и действительно наше дело плохо, коль скоро весь сосновый бор поголовно закаркал! И чувствуют, как постепенно ими овладевает оторопь.

Ложь, утверждающая, что основы потрясены, есть та капитальная ложь, которая должна прикрыть собой все последующие лжи. Вот почему прочная постановка этой лжи прежде всего необходима каркающим мудрецам.

Как истинно русский человек, и я не изъят от простодушия и соединенных с ним предрассудков, а потому воронье карканье и на меня наводит суеверную оторопь, сопряженную с ожиданием грозящей опасности. Помилуйте! ведь от этих распутных птиц всего ждать можно! Ведь их нельзя ни убедить, ни усювестить, потому что они сами себя заранее во всем убедили и простили. Они не чувствуют потребности ни в одной из тех святынь, которые для каждого честного человека обязательно хранить в своем сердце. Нет для них ничего дорогого, заветного, так что даже с представлением об отечестве в их умах соединяется только представление о добыче – и ничего больше. Все это сообщает их деятельности такой размах, такую безграничность свободы, какая обыкновенному смертному совсем недоступна. С неизреченным злорадством набрасываются эти блудницы на облюбленную добычу, усиливаясь довести ее до степени падали, и когда эти усилия, благодаря общей смуте, увенчиваются успехом, они не только не чувствуют стыда, но с бесконечным нахальством и полнейшею уверенностью в безнаказанности срамословят: это мы сделали! мы! эта безмолвная, лежащая во прахе падаль – наших рук дело!

И мы с вами должны сложить руки и выслушивать эти срамословия в подобающем безмолвии, потому что наша речь впереди. А может быть, ни впереди, ни назади – нигде нашей речи нет и не будет!

Конечно, и это карканье, и его постыдные последствия могли бы быть легко устранены, если б мы решились сказать себе: а нуте, вспомните почтенную римскую пословицу, да и постараемся при ее пособии определить, отчего приплод Юханцевых с каждым годом усиливается, а приплод Аристидов в такой же прогрессии уменьшается? Но, к сожалению, не от нас с вами зависит осуществление этого разумного проекта. Воспоминание о падении римской империи так огорошило воображение простодушных россиян, что, несмотря на то, что после того состоялось открытие Америки и изобретение пороха, они все-таки лучше решаются лгать, нежели заблуждаться.

А как бы хорошо-то было, голубушка! Блуждали бы мы да блуждали, а некоторые из

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) нас, может быть, нашли бы и просветы. А основы тем временем стояли бы себе да стояли; архистратиги же, препоставленные для наблюдения за нами, записывали бы наши блуждания на бумажке и сносили бы эти бумажки в комиссию. В какую комиссию? – это безразлично. Зайдите в любой казенный дом – везде хоть какую-нибудь комиссию да найдете. Так вот туда. А в комиссии бумажки наши рассортировали бы, наклеили бы на картонные листы, предмет к предмету, и затем...

Дальнейший ход дела известен. Но какие бы решения комиссия ни приняла, во всяком случае, дело обошлось бы тихо, благородно. В самом крайнем случае, если б не последовало даже никаких решений, то ведь и это уж был бы результат громадный. Во-первых, удовлетворена была бы благородная (*humanum est* – что может быть этого выше!) потребность блуждания; во-вторых, краеугольные камни были бы основательно ошупаны, и оказалось бы, что они целехоньки...

И что ж! вместо всего этого мы предпочитаем городить какую-то фантастическую чепуху на том только основании, что заблуждения, дескать, могут что-то подорвать, а в лганье якобы заключается творческая сила!

Однако я замечаю, что на каждом шагу впадаю в противоречия. С одной стороны, я очень хорошо понимаю, что, ввиду общей пользы, необходимо отказаться от заблуждений; но, с другой стороны, как только начну приводить это намерение в исполнение, так, незаметно для самого себя, слагаю заблуждениям панегирик. Но, право, это зависит не от меня. Вся обстановка нашего существования такова, что никаким образом от двоегласия не убежишь. В молодости за нами наблюдали, чтоб мы не предавались вредной праздности, но находились на государственной службе, так что все усилия наши были направлены к тому, чтоб в одном лице совместить и человека и чиновника. Это ли было не двоегласие? Теперь от нас требуют, чтоб мы исключительно об общей пользе радели, а между тем далеко ли время, когда в «бреднях» (упразднение крепостного права – разве это не величайшая из «бредней»?) не только ничего потрясательного не виделось, но и прямо таковые признавались благопотребными и споспешествующими? Как тут сообразить?

Знаю я, голубушка, что общая польза неизбежно восторжествует и что затем хочешь не хочешь, а все остальное придется «бросить». Но покуда как будто еще совестно. А ну как в этом «благоразумном» поступке увидят измену и назовут за него ренегатом? С какими глазами покажусь я тогда своим друзьям – хоть бы вам, милая тетенька? Неужто ж на старости лет придется новых друзей, новых тетенок искать? – тяжело ведь это, голубушка!

Некоторые полагают, что ренегатам живется хорошо и что они двойные оклады за свое ренегатство получают. Право, это не так. Конечно, по нужде и ренегата иногда чествуют, но внутренне его все-таки презирают. И те презирают, которых он предал, и те, в пользу которых совершил предательство. Последние, впрочем, не столько презирают, сколько спешат надругаться. Они не могут забыть, что ренегат когда-то был их противником, и потому, как только он сбежал из первоначального лагеря, так сейчас его забирают в лапы: попался! теперь только держись! Один подойдет – в лицо плюнет, другой подойдет – плюху даст. А ренегат притворяется, будто не понимает. Но чего ему это притворство стоит... ах, тетенька! Итак, рассказы о двойных окладах и о том, будто бы ренегатов под образа сажают, положительно принадлежат к области баснословия. Общее правило таково: баловать ренегата лишь до тех пор, пока не успеют выкупать его в помоях; когда же убедятся, что он по уши погрузился в золото и что возврат в первобытное состояние для него уж немыслим, то ограничиваются скудными подачками и изобильными пинками. Ренегат, прочно утвердившийся на высоте, – редкость; но и такому обыкновенно, по смерти, втыкают в могилу осиновый кол.

Впрочем, все, что я сейчас об ренегатах сказал, – все это прежде было. А впредь, может быть, и действительно их будут кормить брусничкой, сдобренной тем медом, о котором в песне поется. Ничего – съедят. Недаром же масса кандидатов на это звание с каждым днем все увеличивается да увеличивается.

И все-таки рано или поздно, а придется «бросить». Ибо жизненная машина так премудро устроена, что если не «бросишь» *motu proprio*, [16] то все равно обстоятельства тебя к одному знаменателю приведут. А в практическом отношении разве не одинаково, отчего ты кувыркаешься: оттого ли, что душа в тебе играет, или оттого, что кошки на сердце скребут? Говорят, будто в сих случаях самое лучшее – помереть. Но разве это разрешение?

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)  
Итак, во имя "общей пользы"! Воспряньте, тетенька, и будемте лгать! Господи, благослови!

Прежде всего установим исходный пункт: основы потрясены. Повторяю: это будет ложь несомненная, но она необходима для прикрытия всех остальных лжей. Она огорошит общество и сделает его способным принимать небылицы за правду, действительность накарканную за действительность реальную. А это для нас – самое важное.

Что нужды, что основы и не думают шататься, – пускай простодушные люди верят, что они не только шатаются, но и окончательно посрамлены. Это поразит их воображение, а нам поможет из них веревки вить. Пускай они мечутся в нелепом переполохе – мы скажем им, что это переполох спасительный, в конце которого стоит торжество "общей пользы". Пускай в слепом недоумении они остервенятся ввиду всякой попытки ввести в жизнь элемент сознательности – мы поощрим эти остервенения, потому что как только мы допустим вторгнуться элементу сознательности, так тотчас же, вслед за этим вторжением, исчезнет все наше обаяние, и мы сойдем на степень обыкновенных огородных пугал.

Вот, милая тетенька, что такое та общая польза, ради которой мы с таким самоотвержением обязываемся применять к жизни творческую силу лганья. Предоставляю вашей проницательности судить, далеко ли она ушла в этом виде от тех старинных определений, которые, как я упомянул выше, отождествляли ее с пользой квартальных надзирателей. Я же к сему присовокупляю: прежде хоть квартальные «пользу» видели, а нынче...

Подумайте только! пара рябчиков рубль двадцать копеек стоит – надо же чем-нибудь этот факт объяснить! Хорошо, что я нашелся, предсказав, что не успеет курица яйцо снести, как та же самая пара рябчиков будет сорок копеек стоить (это произвело так называемое «благоприятное» впечатление); но, во-первых, находчивость не для всех обязательна, а во-вторых, коли по правде-то сказать, ведь я и сам никакой пользы от моего предсказания не получил. И на другой день с меня те же рубль двадцать взяли, и на третий, и так до сих пор. Стало быть, надо утешить и меня. А чем же целесообразнее можно утешить, как не утверждением, что всему причина – потрясение основ?

Или еще: стонут Древляне, оголтели Радимичи, а Корела даже не помнит, с которых пор одной пушниной питается. Надо утешить и их: успокойся, Корела! дай только с основами управиться, и все будет: и мамон чистым хлебом набьешь, и недоимки очистишь!

Покуда Корела верит в страшные слова, покуда ее можно ошеломлять упоминанием о "потрясенных основах", надо пользоваться ее простодушием. Надо, чтоб она постоянно видела впереди благополучные перспективы, всеминутно верила, надеялась и ждала, но под одним непременным условием: что все сие лишь тогда совершится, когда краеугольные камни будут утверждены.

\* \* \*

Одно только смущает меня, милая тетенька. Многие думают, что вопрос о пользе "отвода глаз" есть вопрос более чем сомнительный и что каркать о потрясении основ, когда мы отлично знаем, что последние как нельзя лучше ограждены, – просто бессовестно. А другие идут еще дальше и прямо говорят, что еще во сто крат бессовестнее, ради торжества заведомой лжи, производить переполох, за которым нельзя распознать ни подлинных очертаний жизни, ни ее действительных запросов и стремлений.

Несмотря на то, что адепты "общей пользы" грозят заполнить вселенную, мнения об их бессовестности от времени до времени еще прорываются в обществе и, признаюсь, порядочно-таки колеблют мою готовность плыть по течению. Сущность этих мнений заключается в том, что потрясательная практика должна быть тщательно отделена от общего хода жизни и что ведать этой практикой надлежит людям особенным, нарочито к тому приспособленным. Пускай они ловят потрясателей, но пускай эта ловля не препятствует естественному росту жизни...

Не знаю, может быть, я и не прав, но эта теория мне по душе, и кажется, что невдолге она восторжествует. Поэтому даже могу подать вам благой совет. Ежели ваш урядник обратится к вам с просьбой: "вместо того, чтобы молочными-то скопами заниматься, вы бы, сударыня, хоть одного потрясателя мне изловить пособили!", то

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) смело отвечайте ему: "мы с вами в совершенно различных сферах работаем; вы – обязываетесь хватать и ловить, я обещаюсь о преуспевании молочного хозяйства заботиться; не будем друг другу мешать, а останемся каждый при своем!" Я положительно убежден, что сам исправник, ежели только ему верно будет передан ваш ответ, – и тот скажет, что вы правы.

Потому что, ежели мы все бросимся хватать и ловить, то кончится тем, что мы друг друга переловим и останемся в дураках.

И не будет у нас ни молока, ни хлеба, ни изобилия плодов земных, не говоря уже о науках и искусствах. Мало того: мы можем очутиться в положении человека, которого с головы до ног облили керосином и зажгли. Допустим, что этот несчастливый и в предсмертных муках будет свои невзгоды ставить на счет потрясенным основам, но разве это облегчит его страдания? разве воззовет его к жизни?

А лгуны – где они будут тогда? придут ли они на помощь к погибающему? принесут ли ему облегчение? Нет, не придут и не принесут, потому что им незачем приходить и нечего принести. Совершивши свое неистовое дело, они поспешат уйти прочь, чтобы продолжать пропаганду человеконенавистничества дальше и дальше.

Весь запас, который они могут предложить на предмет дальнейшего существования, ограничивается ранами, скорпионами и лексиконом неистовых восклицаний: держи! лови! Этот запас представляет единственную правду, которую каркающие мудрецы имеют за собой. Все остальное – и угрозы, и перспективы – все это не более как лганье, пущенное в ход ради переполоха, имеющего дать им возможность ловить рыбу в мутной воде.

Но можно ли жить с одними скорпионами, хотя бы и сдобренными лганьем?

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ  
Милая тетенька!

Вы упрекаете меня в молчании, а между тем, право, более аккуратного корреспондента, нежели я, едва ли даже представить себе можно. Свидетели могут подтвердить, что я ежемесячно к вам пишу, но отчего не все мои письма доходят по адресу – не знаю. Во всяком случае, это так меня встревожило, что я отправился за разъяснениями к одному знакомому почтовому чиновнику и, знаете ли, какой странный ответ от него получил? "которые письма не нужно, чтоб доходили, – сказал он мне, – те всегда у нас пропадают". Но так как этот ответ не удовлетворил меня и я настаивал на дальнейших разъяснениях, то приятель мой присовокупил: "никаких тут разъяснений не требуется – дело ясно само по себе; а ежели и существуют особенные соображения, в силу которых адресуемое является равносильным неадресованному, то тайность сию, мой друг, вы, лет через тридцать, узнаете из "Русской старины".

С тем я и ушел, что предстоит дожидаться тридцать лет. Многолько это, ну, да ведь ежели раньше нельзя, так и на том спасибо. Во всяком случае, теперь для вас ясно, что ваши упреки мной не заслужены, а для меня не менее ясно, что ежели я желаю переписываться с родственниками, то должен писать так, чтобы мои письма заслуживали вручения.

Ясно и многое другое, да ведь ежели примешься до всего доходить, так, пожалуй, и это письмо где-нибудь застрянет. А вы между тем уж и теперь беспокоитесь, спрашиваете: жив ли ты? Ах, добрая вы моя! разумеется, жив! Слава богу, не в лесу живу, а тоже, как и прочие все, в участке прописан!

Вообще я нынче о многом сызнава передумываю, а между прочим и о том: отчего наши письма, от времени до времени, не доходят по адресу? – и знаете ли, к какому я заключению пришел? – сами мы во всем виноваты! Письма надо писать кратко и складно, чтобы сразу можно было понять, в чем суть, а мы пишем пространно и нескладно; в письмах надобно излагать лишь нужные предметы, а остальное посвящать родственным излияниям, а мы наши письма наполняем околичностями, а об родственниках чувствах умалчиваем. Вот как, по-настоящему, следует писать: "милая тетенька! я, слава богу, жив и здоров, чего и вам от души желаю! Вчера был день рождения покойного дяденьки, и я надеюсь, что вы провели оный в молитве! Но отчаиваться, однако, не следует, а надо помнить, что мы не для сего рождены!! живите – не бойтесь! но, главное, старайтесь находиться в мире с соседями.



Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) Потому что всё это сведущие люди. [17] И я тоже живу, не боюсь, но стараюсь быть в ладу с дворниками. И, слава богу, веду себя, кажется, хорошо!! На днях призывал меня наш околоточный и говорит: вы так хорошо себя ведете, что ожидайте публичной похвалы!! В чем же, говорю, оная похвала будет состоять?! Однако ж он не открыл, а только усмехнулся и молвил: лучше, как сами своевременно сей сюрприз узнаете. И не велел отлучаться из дома, дабы похвалы не прозевать. И я сижу теперь в ожидании!!! Братцам и сестрицам потрудитесь передать мой сердечный привет: я думаю, выросли. А у нас всё благополучно, только говядина сильно вздорожала, так что вынуждены мы с сим продуктом обходиться осторожно. Вообще, у кого аппетит хорош, тот должен ныне или сокращать оный, или же стараться как можно чаще в гостях обедать. Но тогда те, к коим начнем «запросто» учащать, могут вознегодовать. Затем, целуя ваши ручки, остаюсь любящий вас племянник" и т. д. В таком виде письмо, наверное, ни в огне не сгорит, ни в воде не потонет, а так-таки целёхонькое и дойдет по адресу.

Но ведь вы у меня такая любопытная, что, наверное, спросите: что же заключалось в том письме, которое до вас не дошло? – Но этого-то именно я и не могу вам открыть, потому что если начну открывать, то и это письмо непременно не дойдет. Скажу только, что письмо было длинное, и содержание его было интересное. Тем не менее, если б мы с вами жили по ту сторону Вержолова (разумеется, оба), то несомненно, что оно было бы вами получено. Я, впрочем, крепко надеюсь на "Русскую старину": когда-нибудь она это письмо напечатает. Но во всяком случае вы можете быть уверены, что я основ не потрясал.

Вы мой образ мыслей знаете, а дворники знают, сверх того, и мой образ жизни. Я ни сам с оружием в руках не выходил, и никого к тому не призывал и не поощрял. Когда я бываю за границей, то многие даже тайные советники меня, в этом отношении, испытывают и остаются довольны. "Но отчего же у вас такая репутация?" – спрашивал меня на днях один из них в Париже. – Не могу знать, ваше превосходительство, – отвечал я, – так что-нибудь... И так я был счастлив, голубушка, что мог хоть сколько-нибудь поправить свою репутацию в глазах этих могущественных людей! Хотел было, в знак благодарности, несколько сцен из народного быта им рассказать, но вдруг отчего-то показалось подло – я и промолчал.

Как бы то ни было, но в пропавшем письме не было и речи ни о каких потрясениях. И, положа руку на сердце, я даже не понимаю.. Но мало ли чего я не понимаю, милая тетенька?.. Не понимаю, а рассуждаю.. все мы таковы! Коли бы мы понимали, что, не понимая... фу, черт побери, как, однако же, трудно солидным слогом к родственникам писать!

Нынче вся жизнь в этом заключается: коли не понимаешь – не рассуждай! А коли понимаешь – умеи помолчать! Почему так? – а потому что так нужно. Нынче всё можно: и понимать и не понимать, но только и в том и в другом случае нельзя о сем заявлять. Нынешнее время – необыкновенное; это никогда не следует терять из виду. А завтра, может быть, и еще необыкновеннее будет, – и это не нужно из вида терять. А посему: какое пространство остается между этими двумя дилеммами – по нем и ходи.

Помнится, впрочем, что я всю жизнь по этому коридору ходил и всё старался, как бы лбом стену прошибить. Иногда стена как будто и подавалась – ах, братцы, скорее за перья беритесь! Но только что, бывало, начнет перо по бумаге скользить – смотришь, ан и опять твердыни вокруг. Ах, тетенька, что такое мы с вами? всем естественном мы люди несвоевременные, ненужные, несведущие! Натурально, что мы можем только путать и подрывать. Однако странно, какая у этих ненужных людей сила. Шутя напутают, а краеугольные камни, смотришь, в опасности.

\* \* \*

Вы спрашиваете, голубушка, хорошо ли мне живется? Хорошо-то хорошо, а всё-таки не знаю, как сказать. Притеснений – нет, свобода – самая широкая; даже трепетов нет – помните, как в те памятные дни, когда, бывало, страшно одному в квартире остаться – да вот поди ж ты! Удивительно как-то тоскливо. Атмосфера словно арестантским чем-то насыщена, света нет, голосов не слышать; сплошные сумерки, в которых витают какие-то вялые существа. Куда бредут эти существа и зачем бредут – они и сами не знают, но, наверное, их можно повернуть и направо, и налево, и назад – куда хочешь. Всем как-то всё равно. В самых интимных кружках разговоры ведутся какие-то прошлогодние, а иногда и прямо нелепые, а когда идешь вечером по улице, то просто даже оторопь берет. Такого обилия неосвященных окон никто не

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) запомнит: точно все собрались говеть. А если и видишь где-нибудь в окне огонек, то, наверное, там, при трепетном свете керосиновой лампы, какой-нибудь современный Пимен строчит и декламирует:

Еще одно облыжное сказанье,  
И извещение окончено мое...

Тихо, тетенька! чересчур уж тихо. Не то чтобы что-нибудь непосредственно грызло, как, помните, в то время, когда всякий сам перед собой исповедовался, а просто самая жизнь как будто оборвалась. Коли хотите, и среди этой тишины, от времени до времени, раздается полемика, но односторонняя и как-то чересчур уж победоносная. Захрюкает вдруг свинья, или кто-нибудь из подсвинков и поросят – и сразу победят. Налгут, наябедничают и, не вызвавши возражений, потонут в собственном навозе. И никто не удивляется, что только изъеденные трихинами голоса свободно раздаются в пространстве; напротив, все как бы убедились, что это единственно подходящая формула, которую способна была отыскать для себя торжествующая современность.

Такая же тоскливая вялость и в литературе. Трихинные-то голоса, по преимуществу, в ней и раздаются. В былое время только один хлев на всю литературу полагался, а нынче их считают десятками. И везде раздаются победоносное хрюканье, везде кого-нибудь чавкают. Мысль потускнела, утратила всякий вкус к «общечеловеческому»; только и слышишь окрики по части благоустройства и благочиния. Страстность заменена животненной злобой, диалектика – обвинениями в неблагонадежности... может ли быть что-нибудь более омерзительное? И, право, никто, кажется, не жалеет, что уровень литературы так низко пал. Напротив того, и на улицах, и в распивочных домах без всяких околичностей провозглашают: давно пора на эту паскудную литературу намордник надеть! На днях захожу в ресторан закусить – смотрю, Расплюев около буфета так и закатывается! Хлещет литературу по чем попало, да и шабаш. "Расплюев! – говорю я ему, – да вы вспомните, что у вас на лице нет ни одного места, на котором бы следов человеческой пятерни не осталось!" А он в ответ: "Это, говорит, прежде было, а с тех пор я исправился!" И что же! представьте себе, я же должен был от него во все лопатки удирать, потому что ведь он малый серьезный: того гляди, и в участок пригласит! Но воображаю я, кабы выискался молодец, который сказал бы в Англии, во Франции или в Германии, что на литературу намордник надеть надо, сколько бы он в один день постороннего кала съел!

Я знаю многих, которые утверждают, что только теперь и слышатся в литературе трезвенные слова. А я так, совсем напротив, думаю, что именно теперь-то и начинается в литературе пьяный угар. Воображение потухло, представление о высших человеческих задачах исчезло, способность к обобщениям признана не только бесполезною, но и прямо опасною – чего еще пьянее нужно! Идет захмелевший человек, тыкаясь носом в навозные кучи, а про него говорят: вот от кого услышим трезвенное слово.

Да, хоть и ладно, по-видимому, живется, а все-таки думаешь: куда бы от этой жизни деваться? Злости чересчур уж много завелось – никогда столько не бывало. Иной совсем ничего не смыслит, а тоже, глядя на других, злобствует. И нет этой бессодержательной злобе отпора. Ругаются, пасквильантствуют, ханжат, брызжут бешеной пеной, стучат пустыми дланями в пустые перси, грозят очами и – что всего ужаснее – хранят полную уверенность, что противная сторона будет безмолвствовать. Обвинения сыплются как из рога изобилия, обвинения бессмысленные, которые сам обвинитель ни объяснить, ни поддержать не может, но которые тем не менее считаются непререкаемыми. Возражают на это, что ведь и последствий ошутительных от этих обвинений нет... Однако ведь это смотря по тому, что разуметь под именем "ошутительных последствий". Для иного ведь и то уж «ошутительно», что этим паскудным обвинениям нет отпора...

Иногда мне представляется вопрос: поддастся ли наше общество наплыву этого низкопробного озлобления, которое до остервенения набрасывается на все, выходящее за пределы хлевой атмосферы, или же оно будет только наружно окачено им, внутренне же останется верным тем инстинктам порядочности, которая до сих пор, от времени до времени, прорывалась в нем? – И знаете ли, к какому я пришел убеждению? – непременно останется верным порядочности. Как ни запугано наше общество, как ни слабо развито в нем чувство самостоятельности, но несомненно, что внутренние сочувствия его направлены в сторону доброго и плодотворного дела. Это единственное – и, надо сказать, весьма доброкачественное – утешение, которое представляется человеку, осужденному безмолвно стоять, в качестве обвиняемого,

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) перед сонмищем невежественных и злых уличных лоботрясов.

Но спрашивается: насколько подобные утешения могут поддерживать в человеке охоту к жизни?

Однако, чего доброго, вы упрекнете меня в брюзжании и преувеличениях. Вы скажете, что я нарисовал такую картину жизни, в которой, собственно говоря, и существовать-то нельзя. Поэтому спешу прибавить, что среди этой жизни встречаются очень хорошие оазисы, которые в значительной мере смягчают общие суровые тоны. Один из таких оазисов устроил я сам для себя, а следовательно, и всем прочим не препятствую последовать моему примеру.

Все прошлое лето, как вам известно, я проштатался за границей (ужасно, что там про нас рассказывают!) и все рвался оттуда домой. А между тем ведь там, право, недурно. Какие фрукты в Париже в сентябре! какие рестораны! какие магазины! какая прелестная жизнь на бульварах!

Утром, натурально – газеты. Нарочно выбираешь самые зазорные, думаешь: надо же за границей все заграничные чувства испытать, а между прочим и чувство петролейщика. То есть не то чтобы сделаться оным, а так, сидя за кофеом, вдруг воскликнуть: а! так вот оно что! Но, к удивлению, читаешь-читаешь и, после двухчасового шуршанья газетной бумагой, испытываешь только одно чувство: что в голове сумбур. Тогда принимаешься за свои родные газеты (их почта приносит несколько позднее): тут сумбура нет, а только как будто ничего не читал.

Смотришь, утро-то и прошло. Вечером – в театре. Дают: «Niniche», [18] "La biche au bois", [19] «DivorGons»... [20] Жюдик в купальном костюме... ах! А в "La biche au bois" – сразу до полутораэта почти обнаженных женских тел на сцену брошено! Какой это производит эффект, можно судить по тому, что подле меня один русский сведущий человек сидел, так он ногтями всю бархатную обивку на кресле ободрал и все кричал: пошевеливай! Затем, выйдешь из театра – опять во все стороны праздник. Идешь сплошной линией освещенных ресторанов; потребитель на тротуары высыпал; повсюду – гул мужских и женских голосов; повсюду – свет, движение, довольство... Целые снопы огней льются на улицу, испещренную движущимися фонарями фиакров, а над головой темное, звездное небо, и кругом – теплая, влажная сентябрьская ночь. Право, хорошо. Красиво, весело и, что важнее всего, точно как будто это так и быть должно... И все-таки идешь в свой отель и только одну думу думаешь: господи! да когда же домой-то, домой!

Приехали. Уж в Вержболове мне показалось, точно я в рай попал. Представьте себе: желтенькие бумажки берут! Что стоит порция рябчика? – шесть гривен. – Вот тебе желтенькая. Берут и... сдачи два двугривенных дают! Ну, а на это что купить можно? – оказывается, что можно выпить два стакана чаю с лимоном и с булками... И все это пресерьезно, точно в самом деле меню производят: ты мне деньги даешь, а я тебе товар отпускаю... Вот что значит отвычка! видишь поступки самые правильные – и глазам не веришь... Все думаешь: как это так? пять минут назад на желтенькую бумажку и смотреть никто не хотел, а тут с руками ее рвут! Ах, немцы, немцы! если б вы только знали, какое будущее этой бумажке предстоит – вы бы... Но нет, лучше до времени помолчим...

Народы завистливы, мой друг. В Берлине над венскими бумажками насмеются, а в Париже – при виде берлинской бумажки головами покачивают. Но нужно отдать справедливость французским бумажкам: все кельнера их с удовольствием берут. А все оттого, как объяснил мой приятель, краснохолмский негодник Блохин (см. "За рубежом"), что "у француза баланец есть, а у других прочих он прихрамывает, а кои и совсем без баланцу живут".

Но вот, наконец, и Петербург. Приехали, сыскали рыдван – ах, да не возили ли в нем ослепших? – ну, с богом, трогай! Едем: на улицах чуть брезжит, сверху изморозь, лошади едва ногами перебирают, кнут так и стучит по крышке кареты. Стой! подкова у одной лошади свалилась... И вдруг мысль: а ведь в Париже сегодня "Le monde ou l'on s'ennuie" [21] дают... Эх, хорошо бы в обратный путь! Конечно, это ложный позыв, но кто же может поручиться в настоящее загадочное время, где кончается действительное желание и где начинается ложный позыв?

Наконец, однако ж, приехали: тпру-у, ка-торж-ные! Лестница освещена, в квартире

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) топлено, на столе – самовар и мягкие филипповские булки. Хорошо, что и говорить. Вот это-то именно и мелькало в Париже, когда так страстно звенела в голове мысль: домой! В представлении о самоваре есть что-то до того ласкающее и притягивающее, что многие связывают с ним даже представление о прочности семейного союза. Как бы то ни было, но цыганским скитаниям – конец. Конец отелям, с их сомнительным проплеванным комфортом, конец нелепой еде в ресторанах и за таблодами, конец разноязычному говору! Спокойствие, тишина, простор, тепло, настоящий письменный стол, собственные постели, домашняя кухня, пироги... Брусники-то наварили ли? посолили ли рыжичков?

Оказывается, что и насолили и наварили. Да вот еще тетенька отварных белых грибов из деревни прислала!.. ах, тетенька! И какие грибки – один к одному! Шляпки – смуглые, корешки – под самую шляпку срезаны... проказница вы, право! И еще оказывается, что в лавках уж с неделю как кислая капуста оказалась – стало быть, завтра к обеду можно будет кислые щи соорудить, а пожалуй, и пирог с свежей капустой затеять... Целую ночь я жил этой надеждой, да и на другой день утром, разбирая бумаги, все думал: а вот уж щи из кислой капусты подадут!

Вот тихие удовольствия, которые встречают вас дома с первых же шагов и пользованию которыми никто в целом мире, конечно, не воспрепятствует. Но раз вы дали им завладеть собой, тон всей последующей жизни вашей уж найден. И искать больше нечего. "Дворникам-то, дворникам-то дали ли на водку?" – С приездом, вашескорodie! – "Благодарю! вот вам три марки!" – У нас, вашескорodie, эти деньги не ходят!.. – Представьте себе! "Ну, так вот вам желтенькая бумажка!" – Счастливо оставаться, вашескорodie!

Ну-с, господа домочадцы, давайте теперича жить. Кушайте, гуляйте... что бишь еще? Ну, да, впрочем, там видно будет! А куда кушайте и гуляйте! С дворниками не ссорьтесь, ибо начальство уважать надо. Иностранных слов на улице и в публичных местах не употребляйте, ибо это наводит простодушных слушателей на размышления о сокрытии образа мыслей. Я-то, конечно, знаю, что образ мыслей у вас самый благонадежный, но надобно, чтоб и другие это знали. Поэтому говорите внятно, не торопясь, точно перлы нижете. Пускай слушают.

Кажется, на первый раз довольно, да ведь пора уж и баиньки. Ехали-ехали трое суток, не останавливаясь, – авось заслужили! "Господа дворники! спать-то допускается?" – Помилуйте, вашескорodie, сколько угодно! – Вот и прекрасно. В теплой комнате, да свежее сухое белье – вот она роскошь-то! Как лег в постель – сразу качать начало. Покачало-покачало – и вдруг словно; в воду канул.

А на другое утро чай с булками и газеты. А нуте, рассказывайте, что у вас там? Представьте себе, тетенька, всё отлично. Так, впрочем, я и ожидал. Одно только огорчило: письмо мое к вам на почте пропало – ну, да ведь я и другое могу написать. Сел, написал – смотрю: ах, ведь и это должно пропасть! Давай писать третье – и вот оно! А не посмотреть ли в окно, что делается на улице? Дети! бегите! покойника везут! Везут его четверкой под балдахин, впереди несут на подушках ордена, сзади, непосредственно за колесницей, следуют огорченные родственники, за ними – бесконечная вереница карет. Кого хоронят? – тайного советника и кавалера. Только что начал было надежды подавать – взял да и умер. Четыре дня тому назад был совершенно здоров, утром ездил с визитами, убеждал в необходимости утвердить потрясенные основы, предлагал средства, понравился и воротился домой бодрый, сияющий, обнадеженный. Но, к несчастью, к обеду пришел другой тайный советник, и для дорогого гостя подали к закуске грибов. Оба покушали, но другой-то тайный советник превозмог, а этот – не превозмог. И вот теперь другой тайный советник идет за гробом и рассказывает:

– И всего-то покойный грибов десяток съел, – говорит он, – а уж к концу обеда стал жаловаться. Марья Петровна спрашивает: что с тобой, Nicolas? а он в ответ: ничего, мой друг, грибов поел, так под ложечкой... Под ложечкой да под ложечкой, а между тем в оперу ехать надо – их абонементный день. Ну, не поехал, меня вместо себя послал. Только приезжаем мы из театра, а он уж и отлетел!

Проехала печальная процессия, и улица вновь приняла свой обычный вид. Тротуары ослизли, на улице – лужи светятся. Однако ж люди ходят взад и вперед – стало быть, нужно. Некоторые даже перед окном фруктового магазина останавливаются, постоят-постоят и пойдут дальше. А у иных книжки под мышкой – те как будто робеют. А вот я сию дома и не робею. Сию и только об одном думаю: сегодня за обедом кислые щи подадут...

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)

И представьте себе, даже совсем забыл о том, что мне еще придется свой образ мыслей в надлежащем свете предъявить! Помилуйте! щи из кислой капусты, поросенок под хреном, жаркое, рябчики, пирог из яблоков, а на закуску: икра и балык – вот мой образ мыслей!

Полагаю, что этого совершенно достаточно, чтобы заслужить похвалу!

Но вот наконец, послышались очаровательные звуки расставляемых тарелок и стаканов... Еще четверть часа – и на столе миска, из которой валит пар... Тетенька! простите меня, но я бегу... Я чувствую, что в моей русской груди дрожит русское сердце!

\* \* \*

Если б во всех квартирах существовали подобные оазисы – это был бы идеал общежития. Сообразите одно: какое последует сокращение переписки и как обрадуются дворники! И я твердо убежден, что так это и будет, только не надобно торопиться, а тем менее понуждать. Надобно так это дело вести, чтобы всякий человек как бы добровольно, сам от себя сознал, что для счастья его нужны две вещи: пирог с капустой и утка с гурдьями. А к этому, разумеется, и прочая обстановка: приличная мебель, удобный экипаж, возможность принять двух-трех приятелей и как следует напиться, а вечером пулька или две по маленькой. Но долгов все-таки делать не надлежит.

Само собой понимается, что осуществление подобного идеала доступно преимущественно для культурного человека, ибо для того, чтоб иметь возможность выбирать между уткой с гурдьями и поросенком с кашей, нужно иметь вольный доход. У кого есть имение – тот пусть с имения получает; кто в разных местах дивидендами пользуется... пусть получает дивиденды. Однако можно и трудовыми деньгами благородно жить и даже рассчитывать в перспективе на хорошее будущее. Получил за работу рубль: полтину проживи, а полтину за процент отдай. Только и всего. Сколько таких полтин в год наберется! да еще проценты на них! А нынче, тетенька, деньги всякому нужны, стало быть, и процент за них сообразный идет. Тут только не зевай.

Конечно, вы, живя в деревне, можете возразить: не всякому, мой друг, доступно полтинники-то откладывать, потому что есть очень многочисленный класс людей... Угадываю я, милая, про какой вы класс говорите, да ведь я этого "класса людей" и не имею в виду. Я и сам это возражение, за границей, тайному советнику дыбе сделал – и знаете ли, что он мне ответил? "А прочие пусть пребывают в трудах" – только и всего! Именно так оно на практике и происходит. Есть люди, которые имеют специальностью физический труд, и ежели эта задача выполняется ими исправно, то больше ничего от них и не требуется. Ведь и мы с вами работаем, только в другой сфере, и предки наши тоже работали, а мы теперь пользуемся плодами от трудов их праведных. Таким образом, при правильном порядке вещей, оно и идет: мы – свое дело делаем, а люди физического труда – свое. Но и последним не возбраняется благополучие свое потихоньку воздвигать – и воздвигают. Примеры налицо: Разуваев, Колупаев, а у вас, вы пишете, финагеич процвел.

А кто этот финагеич? – не больше, как бывший ваш дворовый человек, который, еще при покойном деденьке, у вас в доме буфетчиком служил. Помните, бывало, он говорил: я, по милости барской, сыт, обут и одет – никакой мне воли не надобно! А между тем оказывается, что он откладывал и все об воле мечтал. Маленькое тогда полагалось буфетчикам жалованьишко – рублей шесть в год, – а он и его уберегал, да найдет, бывало, гривенничек на полу – и его к числу прочих присовокупит. Поедет покойный деденька в дальнюю оброчную вотчину побывать, финагеича с собой возьмет, а он там сбереженья свои хорошему мужичку за процент отдаст. И делал он это так тихо и благородно, что деденька так и умер, не зная, что у него в буфете капиталист сидит. Помните, он однажды повеситься хотел, чуть живого из петли вынули – это оттого, как он мне потом сознался, что ему вдруг с чего-то показалось, будто барин об его капитале узнал. Только эмансипация и успокоила его; она же и сказала, что у финагеича коко с соком припасено. Зато он теперь и орудует. Когда яйца в ходу – яйца скупает; когда шерсть нипочем – шерстью занимается. А не то подстерегает, когда с мужичков подати требовать начнут. Кабачок тоже в Ворошилове держит, лавочку. Да и вашей старинной ласки не забывает: на книжку всякую мелочь по домашности отпускает и никакими требованиями об уплате не досаждает. Только вы не очень все-таки "книжку"-то запусайте, потому что, не ровен час, и не увидите, как ворошиловское-то ваше

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)  
гнездо к финагеичу в руки перейдет.

Вы в восхищении от финагеича, а я и того больше, потому что для меня он пример и доказательство. Я всегда говорил: для того чтоб сделаться финагеичем, нужно только уметь «подстергать», а кому же и кто в этом препятствие полагал? А если и встречается препятствие, то оно не от чьей-нибудь воли исходит, а есть следствие естественной и ни от кого не зависящей игры экономических законов. Эта игра не допускает, чтобы все держали кабаки, все торговали яйцами, все подстерегали мужичка. И не допускает правильно, потому что если бы все-то подстерегали, тогда и подстергать было бы некого. Но повторяю: никто в этом не причинен, а само собою оно так делается. Пути никому не заказаны, а успевает, разумеется, тот, кто острым разумом одарен. Помните вашего Ваньку-форейтора? – так пред ним хоть все двери настезь отворите, он все-таки мимо пройдет. На днях приходит, по старой памяти, ко мне – ну, так ослаб, так ослаб, что на ногах не стоит! Жил прежде в извозчиках, а теперь ни один хозяин даже в этой скромной должности его держать не хочет. Ну, и я, с своей стороны, не только ничего ему не дал, а, напротив, сказал: пеняй, братец, сам на себя! Но пеняет ли он после моего поучения или не пеняет – это уж я сказать не умею.

Однако ж, кажется, я увлекся в политико-экономическую сферу, которая в письмах к родственникам неуместна... Что делать! такова уж слабость моя! Сколько раз я сам себе говорил: надо построже за собой смотреть! Ну, и смотришь, да проку как-то мало из этого самонаблюдения выходит. Стар я и болтлив становлюсь. Да и старинные предания в свежей памяти, так что хоть и знаешь, что нынче свободно, а все как будто не верится. Вот и стараешься болтовней след замести.

В сущности, когда, по прибытии из-за границы, я, обращаясь к домочадцам, сказал: кушайте и гуляйте – я именно настоящую ноту угадал. Но когда я к тому прибавил: а дальше видно будет – то заблуждался. Ничего не будет видно.

На днях, пообедавши, достал я старинные книжки: Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Полежаева, еще кой-кого – и стал читать. Хорошо – слова нет, но как-то странно... Для чего все это писалось? Блестящие мысли, раздражающие подстрекательства, мечты, бредни, а трезвенных слов – ни одного. Скажите, разве современному человеку мечты нужны? нет, ему гораздо приятнее знать, снабжены ли городские свистками и бодрствуют ли дворники. Ежели снабжены и бодрствуют – он спокоен; ежели не снабжены и спят – он дрожит. Не до Пушкиных нам. Вот когда все устроится прочно, когда во всех сердцах поселится уверенность, что с внутренней смутой покончено, – тогда и опять за Пушкина с Лермонтовым можно будет взяться. Ибо, в сущности, они писали недурно – этого нельзя отрицать.

Не дальше как вчера я эту самую мысль подробно развивал перед общим нашим другом, Глумовым, и представьте себе, что он мне ответил! "К тому, говорит, времени, как все-то устроится, ты такой скотиной сделаешься, что не только Пушкина с Лермонтовым, а и фета с Майковым понимать перестанешь!" Но что всего обиднее: сказать-то не поцеремонился, а обедать остался. За обедом, однако ж, я стал требовать от него объяснения, в каком смысле слова его понимать нужно, и как бы, вы думали, он объяснился? "Да ты, говорит, подойди к зеркалу да и посмотри на себя!" Ну, и домочадцы тут же пристали: посмотришь да посмотришь! Делать нечего, встал, посмотрелся – ан из глаз-то у меня поросенок под хреном глядит!!

\* \* \*

Но обществу до всех этих глумовских превыспренности дела нет; общество хочет жить. Я не знаю, как вам это объяснить, милая тетенька, но именно одна эта идея и господствует над всем. То есть идея об ограждении человеческой породы от могущих угрожать ей случайностей исчезновения. В одно прекрасное утро вы выходите на улицу и видите, что все живущее съезжилось. Вот это-то самое и означает, что «общество» вознамерилось оградить себя от напрасной смерти. Оно не высказывается прямо ни относительно людей, зараженных «бреднями», ни относительно дворников, но как-то уж чересчур проворно перебегают с одной стороны улицы на другую, как только завидит возможность сомнительной встречи. Вы видите целую массу обуреваемых жаждою жизни людей и только удивляетесь храбрости, с которою они рискуют попасть под колеса конножелезнодорожных вагонов и скачущих взад и вперед экипажей.

Да, есть и у трусости своего рода храбрость. Недаром компетентные люди рассказывают, что встречаются субъекты, которые, имея в перспективе завтрашнее

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)  
сражение, предпочитают накануне покончить с собой при помощи удавки...

Я вовсе не хочу сказать этим, что господствующий в современном обществе тон – предательство и вероломство. Я говорю только, что над общественным организмом, в каких бы условиях существования он ни находился, всегда тяготеет непереносимое желание жить. При благоприятных условиях это желание выражается свободно, естественно; при условиях неблагоприятных – спутанно и уклончиво. Если б можно было ходить по улице "не встречаясь", любой из компарсов современной общественной массы шел бы прямо и не озираясь: но так как жизнь сложна и чревата всякими встречами, так как «встречи» эти разнообразны и непредвиденны, да и люди, которые могут «увидеть», тоже разнообразны и непредвиденны, – вот наш компарс и бежит во все лопатки на другую сторону улицы, рискуя попасть под лошадей.

На мой вкус, эта храбрость не симпатична; однако не могу не сказать в ее оправдание, что при известных условиях она принимает почти обязательный характер. В отношении к отдельным и выдающимся личностям излишнее чувство самосохранения, конечно, не должно считаться особенно похвальным качеством, но общество, взятое в целом, руководится в этом случае совсем иными правилами. Оно обязывается сохранить себя даже ценою временного обезличения. Так что, ежели вы видите массы компарсов, перебегающих с одной стороны улицы на другую, под влиянием общественного переполоха, то это совсем не значит, что общество изменило своим симпатиям и антипатиям, а значит только, что оно не сознает себя достаточно сильным, чтобы относиться самостоятельно к дворницкому игу.

Эпохи, в которые с особенной силой проявляется это общественное двоегласие, суть эпохи очень печальные и, может быть, даже безнравственные. Но нельзя, не впадая в крайнюю несправедливость, относить к обществу то чувство негодования, которое при этом возбуждается. Не оно тут на первом плане, а тот воздух, те миазмы, которыми оно дышит. Ведь оно дышит этими миазмами не добровольно; не потому, что признает их здоровыми, а потому, что деваться от них некуда. А между тем, повторяю, на нем, на этом еле дышащем обществе, лежит фаталистическая обязанность жить. Жить, то есть оградить будущее идущих за ним поколений.

Наше общество немногочисленно и не сильно. Притом, оно искони идет вразброд. Но я убежден, что никакая случайная вакханалия не в силах потушить те искорки, которые уже засветились в нем. Вот почему я и повторяю, что хлевное ликование может только наружно окатить общество, но не снесет его, вместе с грязью, в водосточную яму. Я, впрочем, не отрицаю, что периодическое повторение хлевных торжеств может повергнуть общество в уныние, но ведь уныние не есть отрицание жизни, а только скорбь по ней.

То же самое явление обезличения несчетное число раз отражалось и на нашей литературе, и именно по преимуществу на той ее части, которая провозглашала принципы человечности и была наиболее предана интересам родины. Бывали для этой литературы времена очень тяжкие, и длились они беспросветно и бессрочно, но она и за всем тем никогда не умолкала. Как бы инстинктивно чувствовала она, что на ней лежит обязанность оберечь будущее человеческой мысли, будущее лучших человеческих стремлений, и что если она хоть на минуту смолкнет, то молчание это будет равносильно смерти. Благодаря этому, она живет и доднесь. Серая, чахлая, еле дышащая, но живет.

Нет зрелища, более надрывающего человеческое сердце, как зрелище общего уныния, общей скорби по жизни. Но все-таки не надо думать, что общество когда-нибудь погибнет под гнетом этого уныния и что оно вынуждено будет воспринять хлевные принципы в свои нравы. Надо гнать прочь эту мысль даже в том случае, ежели она выступает вперед назойливо и доказательно. Надо всечасно говорить себе: нет, этому нельзя стать! не может быть, чтоб бунтующий хлев покорил себе вселенную! Не следует забывать, что хлевные принципы обязаны своим торжеством лишь совершенно исключительным обстоятельствам, которым общество ни в каком случае непричастно. Но ведь должна же когда-нибудь настоящая, правильная жизнь вступить в свои права. И она вступит. И компарсы, так усердно, под гнетом паники, перебегающие через дорогу, дабы уйти от компрометирующих встреч, вновь почувствуют присутствие оживляющих искорок и сумеют отличить тех, которые в минуты уныния поддерживали в обществе веру в жизнь, от тех, которые вносили в него только язву междоусобия.

Я твердо верю, что такой момент наступит и что так называемые «бредни» ежели и

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) не восторжествуют вполне, то, во всяком случае, будут иметь свое значение на весах будущего. Поэтому и вас, милая тетенька, прошу: не ослабевайте! Кушайте, гуляйте, почивайте! но все-таки помните, что прошлое обязывает. И ежели ваш урядник будет вас убеждать: сударыня! послушайте, какой приятный лай с Москвы несется – не присоедините ли и вы к нему своего собственного? – то отвечайте кратко, но твердо: во-первых, я не умею лаять, а во-вторых, если б и умела, то предпочла бы лаять самостоятельно.

"Бредни" слишком разнообразны по своим целям, чтобы та или другая могла претендовать на непосредственное и всецелое осуществление. Но важно то, что у всех у них основной принцип один: человечность. Подробности и даже некоторыми существенными чертами можно и поступиться, но если даже только одно общее представление о человечности найдет себе достаточно прозелитов, то и это уже значительный шаг вперед. Человечность прольет в жизнь бальзам умиротворения, сообщит ей смягчающие тоны, удалит трепеты и сделает ее способною развиваться.

Повторяю: я убежден, что честные люди не только пребудут честными, но и победят, и что на стороне человеконенавистничества останутся лишь люди, вконец раздавленные личными интересами. Я, впрочем, отнюдь не отрицаю ни силы, ни законности личных интересов, но встречаются между ними столь низменные и даже столь подлые, что трудно найти почву, на которой можно было бы примириться с ними. Вот эти-то подлые инстинкты и обладают человеконенавистниками.

Будьте же бодры, голубушка, и не смущайтесь духом при виде компарсов, проворно улепетывающих ввиду непредвиденных встреч. Но кстати: так как вы жалуетесь на вашего соседа Пафнутьева, который некогда вас либеральными записками донимал, а теперь поговаривает: "надо же, наконец, серьезно взглянуть в глаза опасности...", то, относительно этого человека, говорю вам прямо: опасайтесь его! ибо это совсем не компарс, а корифей. Давно уж он "сведущим человеком" смотрит, давно протягивает руку к трубе, и в настоящую минуту, быть может, уже подносит ее к губам, чтобы вострубить.

Вообще эти земские грамотеи глубоко мне не по душе. Орфографии не знают, о словосочинении – никогда не слыхивали, знаки препинания – ставят *ad libitum*, [22] а непременно хотят либеральные мысли излагать. Да и мысли-то какие – по грошу пара! Когда-нибудь я подробнее с вами об этих корифеях поговорю, а теперь только повторяю: опасайтесь Пафнутьева, ибо у него в голове засело предательство. Это корифей, который только для прилику задумчивость на себя напускает, а в действительности он уж давно что следует разрешил, куда следует перебежал и теперь охорашивается. Таких людей нынче очень много развелось, и все они во что-то "серьезно вглядываются", в чаянии, что их куда-то призовут, хоть в переднюю посидеть. Но, право, мне кажется, что подождет-подождет ваш Пафнутьев, а его так-таки никуда и не призовут: пускай в Торопце изнывает! Тогда он и опять к вам с либеральной запиской приедет, – только уж вы, сделайте милость, прикажите его в ту пору в три шеи по лестнице гнать, потому что он, в противном случае, весь ваш дом запакостит. Уряднику, разумеется, об его вольнодумстве не доносите – это нехорошо, – а просто собственными средствами распорядитесь.

Помните ли вы тот вечер, когда Пафнутьев в нашем маленьком кружке (тут были: вы, я, маркиз Шассе-Краузе, Иванов, Федотов и в качестве депутата от крестьян ваш сельский староста Прохор Распротаков) прочитал свою первую либеральную записку: "Имей уши слышати да слышит"? Помните, как, по окончании чтения, вы отозвали меня в сторону и сказали: "ах, все мое существо проникнуто какою-то невыразимо сладкою музыкой!" А я на это (сознаюсь: я был груб и неделикатен) ответил: не понимаю, как это вы так легко по всякому поводу музыкой наполняетесь! просто дрянцо с пыльцой. Ах, как вы тогда на меня рассердились! Назвали неверующим, бессердечным, *un homme qui ne comprend pas la poesie du coeur*... [23]

И я был глубоко несчастлив, слушая ваши укоры, до того несчастлив, что готов был просить у вас прощения и поцеловать Пафнутьева в уста... А теперь, что источают эти уста? Чей суд был правее: ваш или мой?

Нет, ради бога, не смешивайте вероломного корифейства Пафнутьевых с тою гнетущею подавленностью, которую вы, от времени до времени, замечаете в обществе! Примиритесь с последнею и опасайтесь первого.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

А вот вам и еще оазис.



На днях стою у окна и вижу, что напротив, через улицу, в растворенном окне, вставши на подоконник и подоткнув платье, старушка перетирает стекла под зимние рамы. Беру бинокль, вглядываюсь и кого ж узнаю – Федосьюшку!

Помните ли вы Федосьюшку, которая при деденьке у вас в доме ключницей была? Еще странный такой случай с ней был: до сорока пяти лет, покуда крепостною была, ни на какие соблазны не сдавалась, слыла девицею, а как только крепостное право упразднили, так сейчас же забеременела? Помните, как покойный деденька стыдил ее, как ваш тогдашний батюшка, отец Яков, по просьбе деденьки, ее усовещивал: "ты думала любезно-верное ликование этим поступком изобразить, ан, вместо того, явила лишь легковерие и строптивость!" Зачем они ее стыдили и усовещивали – теперь я этого совершенно не понимаю; но тогда мне и самому казалось: ах, какую черную неблагодарность Федосьюшка выказала! Однако как ни стыдили Федосьюшку, а она взяла да и родила Домнушку. Теперь этой Домнушке невступно двадцать лет, только она уж не Домнушка, а Ератидушка и обладает очень серьезными женскими атурами, которыми распоряжается с большим тактом. Впрочем, не будем предупреждать события...

Понятно, что один вид Федосьюшки взбудоражил во мне все дорогие воспоминания прошлого. До такой степени взбудоражил, что я не воздержался и на всю улицу крикнул:

– Федосьюшка! ты?!

Сначала она испугалась и чуть на мостовую не грохнулась; но когда увидела мои распростертые руки, то и сама умилилась душой. А через несколько минут мы уже беседовали, как старые приятели.

Тетенька! представьте себе, у Федосьюшки есть шляпка и ротонда! Шляпка, правда, не совсем модная, но года два тому назад и вы охотно надели бы такую. С красным пером. Ротонда тоже не раз в чистке бывала, однако и теперь хоть статской советнице надеть не стыдно. Дома она ходит в чепце с оборками и в люстриновой блузе (исключая, однако ж, те случаи, когда моет окошки), но, идя ко мне, приделась, надела шелковый капот масака и, кажется, даже подмостила под него крахмальную юбку. Словом, старушка – хоть сейчас к любому столоначальнику в посаженные матери.

– Да какая же ты франтиха, Федосьюшка! – изумился я.

– А это меня дочка награждает, – отвечала она, – поносит-поносит, а потом мне отдаст. Кое я продам, а кое – перешью и донашиваю.

Стали мы с ней о прошлых временах вспоминать: оказывается, что она благодарная. О крепостном праве вспоминает с удовольствием, говорит, что только тогда и был настоящий страх божий. И об вас вспомнила и много расспрашивала: помните, говорит, вы с барышней соловьев в рошу слушать ходили? Призналась, что в повара Тимофея двадцать лет сряду была влюблена, но все не смела, а когда волю объявили, тогда осмелилась. Что, впрочем, совсем это не было с ее стороны строптивостью или желанием показать, что вот она теперь вольная, а надо же было когда-нибудь... А Тимофей, поживши на воле, сначала «ослаб», потом ослеп, а теперь поступил в богадельню. И она к нему раза два в месяц ходит, когда целковый, когда два снесет, да чайку, да сахарку: все же не чужие были!

– У кого же ты теперь живешь, Федосьюшка? – спросил я.

– А тут у дочки, насупротив вас, в квартире и живу. Да меня, признаться, Федосьей-то нынче уж не зовут, а Катериной, да еще Карловной. Да и Катериной-то зваться не велят, а Екатериной. И дочку из Домны в Ератиду переделали.

– Кто же это вас так окрестил?

– Все кавалеры наши... Ератидушка-то сразу к новому имени привыкла, а я долгонько-таки путалась. Пуще всего – анделов прежних жалко; я своему-то анделу двадцать девятого мая прежде праздновала, а нынче двадцать четвертого ноября праздновать велят.

– Господи! так, стало-быть, Домнушка-то...

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)

– Что уж! шила в мешке, видно, не утаишь! В какетках, сударь, она. Так и в участке прописана.

– Кокотка то есть?

– Какотка ли, какетка ли... кто их там разберет! А впрочем, ничего, живем хорошо: за квартиру две тысячи в год платим, пару лошадей держим... Только притесняют уж очень это самое звание. С других за эту самую квартиру положение полторы тысячи, а с нас – две; с других за пару-то лошадей сто рублей в месяц берут, а с нас – полтораста. Вот Ератидушка-то и старается.

– Да каким же образом она на эту дорогу попала?

– А как попала?.. жила я в ту пору у купца у древнего в кухарках, а Домнушке шестнадцатый годок пошел. Только стал это старик на нее поглядывать, зазовет к себе в комнату да все рукой гладит. Смотрела я, смотрела и говорю: ну говорю, Домашка, ежели да ты... А она мне: неужто ж я, маменька, себя не понимаю? И точно, сударь! прошло ли с месяц времени, как уж она это сделала, только он ей разом десять тысяч отвалил. Ну, мы сейчас от него и отошли.

– Ах! как же это вы так! – огорчился я за старика.

– Ну, что его жалеть! Пожил-таки в свое удовольствие, старости лет сподобился – чего ему, псу, еще надо? Лежи да поживай, а то на-тко что вздумал! Ну, хорошо; получили мы этта деньги, и так мне захотелось опять в Ворошилово, так захотелось! так захотелось! Только об одном и думаю: попрошу у барыни полдесятинки за старую услугу отрезать, выстрою питейный да лавочку и стану помаленьку торговать. Так что ж бы вы думали, Ератидушка-то моя? – зажала деньги в руку и не отдает!

Федосьюшка закручинилась и уронила слезу. Я хотел было эту слезу залучить в пузырек, чтобы потом подвергнуть ее химическому разложению и определить, сколько в ней частиц семейного союза содержится и сколько других примесей, но, к сожалению, она торопливо отерла глаза и продолжала свое повествование.

Оказывается, что ведь Домнушка-то – умница! Несмотря на свои шестнадцать лет, она сейчас же поняла, что до поры до времени ей незачем в деревню ехать.

Получивши от старика-купца десять тысяч, она рассудила, что это только начало и что в будущем ее молодость и красота должны дать ей гораздо больше. Поэтому, рискуя огорчить мамашу, она не только не отдала ей денег, но в короткое время рассорила их, по-видимому, самым непроизводительным образом. Наняла французенку, танцмейстера, учительницу музыки и целых полгода себя «обнатуривала», так что теперь и канкан может станцевать и на фортепианах побренчать, и "La chose" пропеть. Зато во всем прочем выказала бережливость самую рассудительную. "Бывало (сказывала мне Федосьюшка), извозчик двугривенный просит, так она ему никогда больше пятиалтынного не даст". И когда почувствовала, что совсем готова, то начала похаживать по гостиному двору.

Это был решительный шаг, которым она еще раз доказала, какая она умница. Она отлично поняла, что хотя у купцов шпор нет, но зато у них есть лавки и в них всякий товар. Стало быть, деньги деньгами, а материи, вещи и бакалея – само собой. И точно: скоро ей и опять хороший случай вышел. Купец, да на этот раз уж молодой, встретился с ней на Крестовском и сразу понял, что она умница. И что ж бы вы думали, тетенька! другая, на ее месте, непременно продешевила бы (прежние-то деньги под исход уж шли), а она выдержала себя: дай, говорит, десять тысяч! Привезли они с мамашей этого купца к себе на квартиру и напоили его пьяного... И, должно быть у купца легкая рука была, потому что с тех пор Домнушке так и повалило. Дальше да больше, так что теперь меньше как с «сотельной» и не приступайся к ней.

Купцам она, во-первых, потому нравится, что хоть она и русская, а по-французскому так и «ржот»; во-вторых, потому, что она из их сословия не выходит, а в-третьих, потому, что уж очень чисто себя держит. Федосьюшка сначала была того мнения, что для гостиного двора чистота – пустое дело, но теперь и она убедилась, что купцы чистоту понимать могут. Одним словом, Домнушке нет отбоя от гостинодворских Меркуриев. По вечерам у нее, часов с девяти, почти всегда

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
компания: пьют, в тринку играют, песни поют. Однако дебоширства или политических разговоров, а тем паче превратных толкований, Домнушка не допускает: сиди смирно, благородно, а не то и дворника велит мамаше познать.

И всегда она считается в части с тем, кто в тринку выигрывает, А в час, или много в половине второго ночи, уж ни одного огня в квартире не видно. Так что и соседи, видя, как Ератидушка солидно ведет себя, не нарадуются на нее.

В настоящее время мать и дочь живут душа в душу. Сначала Федосьюшка обижалась тем, что Домнушка не дает ей капиталом распорядиться, но теперь поняла, что она умница. От времени до времени, впрочем, она получает от дочери то два, то три рубля и вот из этих-то денег побаловывает Тимофея. Одно время старушка домогалась, чтобы ей предоставлен был доход с карт, но Домнушка и тут очень рассудительно отказала ей, сказав, что доход этот должны делить между собой горничная (она же и за лакея) и кухарка. Зато прислуга обожает ее. Да и как не обожать! ведь, сверх карт, купцы, как подопьют, немало и на пол денег роняют – и это тоже прислуге достается. Словом сказать, в самое короткое время даже прислуга в такое блестящее положение пришла, что хоть сейчас кабак открывай!

Но, по-моему, главная заслуга Домнушки все-таки в том состоит, что она гостиному двору не изменяет. Согласитесь сами: ей всего двадцать лет, кругом усы, на каждом шагу палаши, шпоры – долго ли до греха! Были такие, которые и подсылали, а она подумает, подумает: "нет, скажет, коли уж на какую линию попала, так и надо на этой точке вертеться!" Федосьюшка сказывала мне, что она и к тому купцу с повинною ездила, который ей первые десять тысяч подарил. Ничего, принял радушно, увел в кабинет, погладил и сказал: я и сам на твоём месте так же бы поступил. С тех пор она к нему во все большие праздники ездит, и он всякий раз ей две сотенных подарит. Но вот что удивительно: сам-то он уж нынче ногами не владеет, а возит его в коляске по комнатам девица Агриппина, так даже эта Агриппина к Домнушке никакой зависти не чувствует. Совсем напротив, от времени до времени даже посещает ее и заимствуется от нее обращением. Вот как умеет Домнушка всех в свою пользу расположить!

Одно только горе у нее: до сих пор ни одного жида не успела к себе залучить. Но грек уже есть. Такой грек, который, по словам Федосьюшки, торгует орехами, да всё грецкими. И ей, старушке, по фунту и по два дарит.

Сколько успела Домнушка денег в течение пяти лет накопить – этого Федосьюшка доподлинно не знает. Но знает верно, что «умница» отнюдь не намерена бессрочно в «какотках» оставаться: еще годиков пять – и будет. Тогда она выйдет замуж за статского советника (даже и подыскала уж такого!), опять назовется Домной (болярыня Домна Тимофеевна – право, это звучит хоть куда!), и купит имение. Статского советника и теперь все в доме принимают, как родного, кормят пирогами и изредка позволяют посмотреть в замочную скважину, как Домнушка одевается. Но в свои комнаты «умница» допускает его редко и то когда нет гостей; в прочее же время предоставляет его в распоряжение мамашы, которая уводит его в свою комнату, и там они вчетвером, с горничной и кухаркой, дуются в свои козыри.

Но знаете ли, какая еще неотвязная мысль смущает Домнушку? – Это мысль – во что бы то ни стало приобрести у вас Ворошилово. Разумеется, тогда, когда уж она будет статской советницей и болярыней. Хоть она была вывезена из Ворошилова пятилетком, так что едва ли даже помнит его, но Федосьюшка так много натвердила ей о тамошних «чудесах», что она и спит и видит поселиться там.

– Еще годков пять помыкаемся, – говорила мне Федосьюшка, – да выдем замуж за Ивана Родивоныча, а там и укатим в свое место. Беспременно она у барыни всю усадьбу откупит. Уж ты сделай милость, голубчик, напиши тетеньке-то, чтоб она годков пять покрепилась, не продавала. Слышали мы, что она с финагеичем позапуталась, так мы и теперь можем сколько-нибудь денег за процент дать, чтобы ее вызволить. А через пять лет и остатние отдадим – ступай на все четыре стороны!

– Да ведь доходы-то с Ворошилова... – сболтнул было я, но, к счастью, она сама меня прервала.

– И насчет доходу не сумлевайся, – сказала она, – это у тетеньки оно доходу не дает, а у нас – будет давать. Мы ведь по-другому хозяйство-то поведем, мы мужичка-то кругом окружим. Поцарствовали при тетеньке – и будет с них. И

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru  
финагеича сократим – будь спокоен! А то закопался там, старый пес, думает, что и  
управы на него нет. Да вот еще, милый барин, вы тетеньке что напишите: чтоб  
рощицу-то, которая против усадьбы, она поберегла. Уж такая эта веселая рощица!  
Березки всё да дубки, а грибов сколько – страсть! Вот и будет по ней Ератидушка  
с Иваном Родивонычем под ручку гулять!

И, помолчав с минуту, прибавила:

– А главная причина: храм божий в Ворошилове очень хорош! уж так-то хорош, ах,  
как хорош!

Я дословно передаю вам Федосьюшкину просьбу, милая тетенька, так как, по мнению  
моему, она заслуживает серьезного с вашей стороны внимания. Если нет у вас  
крайности, то действительно потерпите с Ворошиловым: Домнушка со временем  
хорошие деньги вам за него даст. Конечно, только контора Юнкера знает  
положительно, сколько у «умницы» денег, а я могу лишь предположенья на этот счет  
делать. Но предполагаю, что много. Ей же, во что бы то ни стало, хочется барыней  
быть и именно в том самом месте, которое ее мать видела в рабском состоянии. Уж  
и теперь она задумывается, как бы новый колокол для ворошиловского храма отлить,  
но куда еще сомневается, будет ли ее жертва угодна. Но когда она сделается  
статской советницей, тогда, наверное, жертва ее будет угодна. Притом же, у ней и  
план действий давно готов. Как только засядет она в Ворошилове, сейчас же  
откроет свой кабак, а при нем белую харчевню и лавку. финагеича вытеснит, так  
что мужички будут уж на нее одну работать. А статский советник будет на работы  
выходить и мужичков понуждать. Словом сказать, такую буколицу заведут, какая и  
Виргилию не снилась. Те поля, которые у вас остаются невозделанными и на которых  
ничего не растет, будут у ней и возделаны, и выхолены, и станут на них всякие  
злаки дыбом расти. И все эти результаты будут достигнуты ею за ничто: где за  
стакан водки, а где и просто: а нуте-ка, девушки, приходите ко мне гуляючи на  
денек пожать! Во всяком случае, повторяю: помимо того, что всякому приятно в  
родном месте пышным цветом расцвести, для нее и расчет купить Ворошилово;  
Федосьюшка будет тут ей действительно помощницей, потому что она всякую  
ворошиловскую былинку знает. Но, с другой стороны, имеются и слабые стороны у  
этих предположений. Пять лет – много, а тем временем финагеич, пожалуй, успеет у  
вас всю округу высосать. А Домнушка на этот счет прозорлива: заметит, что  
ворошиловский мужичок на ладан дышит, – возьмет да и купит усадьбу у Пафнутьева,  
а к вам будет только к обедне ездить да колокола лить. Так вы уж за  
финагеичем-то присмотрите да и коров-то своих, за год времени, подкормите –  
будто как настоящие коровы на скотном стоят. А вы еще пишете: финагеич, за  
старые услуги, просит ему десятинку сзади парка, против деревни, отрезать... И не  
думайте! он вас этой десятинкой так поработит, а ежели вы чуть противное слово  
скажете, так вас по судам из-за нее водить начнет, что рады-радехоньки будете,  
ежели вас только в места не столь отдаленные ушлют! А вы лучше вот что сделайте:  
«книжку», на которую вы у финагеича домашний припас забираете, сочтите и  
уведомьте меня, сколько в итоге окажется. Я и у Домнушки занимать не буду  
(воображаю, какой она процент возьмет!), а просто разыграю в вашу пользу  
лотерею.

Как бы то ни было, у вас теперь два покупщика в перспективе: финагеич и  
Домнушка. Что касается до меня, то я положительно на стороне Домнушки.  
Подумайте! чего один этот срам стоит: за долг по финагеичевой «книжке» (добро бы  
"по счету" мадам Изомбар!) отчину и дедину потерять!

Возобновивши знакомство с Федосьюшкой, я начал наблюдать за Домнушкиной  
квартирой, и могу только повторить: умница! умница! умница!

Каждое утро, в девять часов, стора в одном из окон ее спальни поднимается, и я  
вижу иногда брюнета, иногда блондина, но большею частью кавалера с проседью,  
который охорашивается перед трюмо и у которого на лице написано: в гостинный двор  
тороплюсь, отпираться пора! Умывается ли он – сказать не могу, но думаю, что  
ежели и умывается, то в лавке; но если и позабудет умыться, то никто на нем не  
взыщет. В одиннадцать часов поднимаются сторы и в других двух окнах, и у  
среднего, перед туалетом, появляется сама Домнушка, в кофте, порядочно  
растрепанная, с косичкой ("коса", покуда, покоится в картонке), болтающейся на  
плече. Лицо у нее утомлено; несколько минут она потягивается и зевает (и  
непреренно крестит рот при этом), и изредка заглядывает под кофту, все ли там  
благополучно. Потом подходит к другому окну, около которого стоит шкаф, и  
вынимает вчерашнюю выручку. Сотенные бумажки (одну, но иногда и больше)

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) присоединяет к сотенным, десятирублевые к десятирублевым и т. д. Но если накануне купцы в трынку играли, то попадают и рублевые. Затем, приведя в порядок финансы, защелкнув пачки в каучуковые кружки и записав на бумажке итог, она на целый час исчезает. В это время она пьет кофе, смывает с лица вчерашние поцелуи и делает распоряжения по содержанию себя в чистоте, так чтобы в течение дня уже не возвращаться к этому предмету.

Спальная у нее не роскошно, но очень прилично убрана палевым кретонем. Через четверть часа является горничная и прежде всего собирает разбросанные по стульям и креслам принадлежности женского туалета. Потом начинает убирать постель, меняет белье ("прачка каторжная одна чего стоит!" жаловалась мне Федосьюшка), и если заметит след какого-нибудь насекомого, то слегка посыпает матрац персидским порошком. Около половины первого Домнушка опять появляется и начинает отделявать себе голову и лицо. До двух часов она не отходит от туалета, то присядет, то привстанет, то отойдет подальше, то чуть не к самому стеклу зеркала лицом прильнет. В два часа лицо готово, и она подходит к окну – ну, точно сейчас распутившаяся роза, sprysnutaya росой! Ахайте, купцы!

С двух до трех – одеванье. Домнушка стоит перед трюмо и, выгнув голову, смотрится разом и в трюмо, и в туалетное зеркало, которое отражает ее атуры. Надевши корсет и обнаживши выхолненные плечи, она долгое время принимает самые разнообразные позы. То поднимет руки вверх, то опустит их, то перегнет стан на правый бок, то на левый, то вдруг быстро перевернется, как будто хочет сказать: а вот не поймашь! И все это ради гостиного двора! И во все время продолжается отделка лица, хотя я должен сознаться, что отделка эта большею частью в том состоит, что Домнушка помуслит пальчик и в одном месте притрет, а в другом – наведет. Не мастер я эволюции – то эти описывать, да многого и не знаю, а можно бы целую книжку написать, и очень была бы в наше время эта книжка полезна, чтоб от превратных толкований отдохнуть. В начале четвертого Домнушка окончательно готова; она опять подходит к денежному шкапу, забирает деньги и исчезает из спальни. У подъезда ее ждет коляска, запряженная парой добрых лошадей, и она, закутанная в соболя, отправляется кататься. Но прежде всего едет к Юнкеру и на вчерашнюю выручку покупает «верные» бумаги, потому что не хочет потерять ни одного дня процентов.

С шести часов сторы в спальне опускаются. Вероятно, в это время Домнушка, снявши корсет, обедает с мамашей, отдыхает и переодевается к вечеру. В девятом часу в гостиной собираются купцы. Организуется трынка или стуколка, ведется оживленный разговор, но, повторяю, политический элемент, даже в виде простых новостей, устранен раз навсегда. Вместо него введен элемент закусочный, так как с десяти часов на одном из столов появляются разнообразнейших сортов водки и бакалея. Иногда закуска бывает попроще, но иногда – очень богатая, смотря по тому, имеются ли в числе гостей бакалейщики и погребщики. Нужно, однако ж, сказать, что ежели и есть налицо бакалейщики, то Домнушка не всю привезенную ими бакалею ставит на стол, а половину откладывает. Так что ежели бы на другой день и ни один бакалейщик не пришел, то закуска все-таки подается приличная. Но зато случается, что всякий день целую неделю все бакалейщики ходят – тогда происходит избыток. Остатки относятся к статскому советнику, который небольшую часть сам съедает, а большинство продает в мелочную лавочку и из вырученных денег, с своей стороны, составляет капитал.

Однажды только я видел в окно, как чуть было не затеялась драка между купцами. Задрал, конечно, грек, который стал доказывать, что настоящая вера от греков пошла; а один из купцов вломился в амбицию и ответил, что спервоначалу, действительно, так было, но что истинный свет все-таки с Москвы воссиял. И вдруг, не успев грек и рта разинуть, как в одну секунду на обе щеки по плюхе получил. Однако Домнушка и тут нашлась. Потушила лампы и свечи и пригрозила послать за городовым. Купцы, разумеется, присмирели, а так как трынка была в самом разгаре и на столе было много денег, которые, во время смятения, перемешались, то общим советом было положено: отдать эти деньги Ератидушке. А она на другой день на них целую уйму облигаций от Юнкера привезла.

Во втором часу все кончается. Ужина не полагается, потому что купцы, и в течение вообще всей своей жизни, только закусывают, а настоящим образом есть не умеют. Огни во всех окнах потушены, и в квартире водворяется тишина. Кто-то гостит теперь там, за этими спущенными сторами: блондин или брюнет?

\* \* \*

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) Вот, стало быть, целых два оазиса. И много таких я мог бы вам описать, но для этого надо целую бесконечную серию писем. Ведь только слава, будто весь Петербург превратными толкователями начинен, а, в сущности, превратных толкователей только с горсточку, а все остальное – оазисы. Говорят, будто бы либералов много развелось – вот это, пожалуй, правда; но ведь и либерал тот же оазис, ибо и он от пирога с капустой не прочь – ну, и Христос с ним, пускай кушает! Я полагаю, что со временем и всё одни оазисы будут, только, как я уже прежде сказал, торопиться не надо. Принудительные меры никогда вождельных результатов не приносили, а вот ежели пара рябчиков, вместо рубля, будет тридцать копеек стоить, да поросенок до пятидесяти копеек в цене упадет – вот это настоящее дело будет! Тогда и либералы не устоят против очевидности. И все в один голос возопиют: посмотрите, какие результаты!

К сожалению, однако ж, я должен сознаться, что принудительные взгляды у нас и до сих пор в большом ходу в той кочующей части нашего общества, которая наполняет улицы и публичные места Петербурга. Только и слышишь кругом: в ежовых рукавицах держать надо, в бараний рог надо согнуть! Чудаки, право! не понимают, что если и могут быть результаты от ежовых рукавиц, то тех же самых результатов гораздо приятнее просто сытостью достигнуть можно! Да и как возможно не только целое общество, но даже отдельного человека в бараний рог согнуть? и про какие такие ежовые рукавицы идет речь? где они? откуда их взять? Словом сказать, явно пустое болтают, а проходящие между тем слушают, и мороз их по коже подирает.

Однако ж представьте себе такое положение: человек с малолетства привык думать, что главная цель общества – развитие и самосовершенствование, и вдруг кругом него точно сбесились все, только о бараньем роге и толкуют! Ведь это даже подло. Возражают на это: вам-то какое дело? Вы идите своей дорогой, коли не чувствуете за собой вины! Как какое дело? да ведь мой слух посрамляется! Ведь мозги мои страдают от этих пакостных слов! да и учителя в "казенном заведении" недаром же заставляли меня твердить:

Будь, человек, благороден!

Будь сострадателен, добр!

А вы спрашиваете: какое дело? Да опять и насчет вины. Почему я знаю, что вы разумеете под виною? Например, ежели я ничего не похитил из казенного пирога – по-моему, это хорошо, а по-вашему, может быть, это-то именно и есть «вина»? Или, например, я верю в добрую природу человека, по-моему – это хорошо, а по-вашему – это «вина», истинная же заслуга заключается в человеконенавистничестве... Ведь вы на этот счет молодцы: перекрестите лоб, да и думаете, что после этого можете свободно и клеветать, и красть, и убивать!

Но все это еще только полбеда: пускай горланы лают! Главная же беда в том, что доктрина ежовых рукавиц ищет утвердить себя при помощи не одного лая, но и при помощи утруждения начальства. Утруждение начальства – вот язва, которая точит современную действительность и которая не только временно вносит элемент натянутости и недоверия во взаимные отношения людей, но и может сделать последних неспособными к общежитию.

Я недостаточно подробно знаком с памятниками нашей старины, но очень хорошо помню, как покойный папенька говаривал, что в его время было в ходу правило: доносчику – первый кнут. Знаю также, что и в позднейшее время существовал закон, по которому лицо, утруждавшее начальство по первым двум пунктам, прежде всего сажали в тюрьму и держали там до тех пор, пока оно не представит ясных доказательств, что написанное в его доносе есть факт действительный, а не плод злопыхательной фантазии.

По моему мнению, это были правила поистине человеколюбивые, и не потому только, что они ограждали честных людей от подыскиваний своекорыстной ябеды, но и потому, что они воспитывали в обществе чувство гадливости к промышленникам доноса. Я помню, как утруждатели, застигнутые страхом тюрьмы, извивались, доказывая, что их доносы не суть доносы, но извещения, и как, по большей части, усилия их в этом смысле оставались просвещенным начальством без последствий. Я помню, с какою брезгливою чуткостью самое общество относилось к «шептунам». Прежде всего, никто не верил их искренности даже в том случае, когда они доказывали, что за их услугами скрывается очень хорошая специальность: утирать слезы. По-видимому, что может быть приятнее: утирать слезы! – однако ж общество

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru и на это занятие смотрело подозрительно и, во всяком случае, считало уместным присовокуплять: но не утруждая начальства! Одним словом, шептуны чувствовали себя настолько нехорошо, что отдавались этому ремеслу, по большей части, по легкомыслию или недоразумению. Если же впоследствии и упорствовали в нем, то лишь потому, что над ними уж тяготел фатум.

Шептунов из молодых людей почти совсем не было. В основе этого ремесла слишком ясно слышится нота вероломства и измены, чтобы живость и чуткость молодого чувства могли примириться с ним. Мало было и стариков: совершив все земное и до известной степени выжив из ума, старцы удалялись на покой, замаливали старые грехи и посвящали остаток дней своим писанию мемуаров. Главный контингент утруждавателей составляли личности средних лет, побитые и помятые, вроде Расплюева и Загорецкого, или блестящие, но несомненно прогоревшие, вроде Кречинского. Некоторые из последних, несмотря на внешний блеск, были общеизвестны, и на них указывали пальцами, но некоторые настолько искусно умели маскировать себя, что так и умерли неизвестными. Только впоследствии мемуары словоохотливых старичков восстановили этих «неузнанных» в надлежащем свете. Однако ж, во всяком случае, самая необходимость носить маску и скрывать свои действия доказывала, что ремесло утруждавателя не считалось ни полезным, ни безопасным.

Ныне, по-видимому, эти отличнейшие традиции приходят в забвение. Подавляющие события последнего времени вконец извратили смысл русской жизни, осудив на бессилие развитую часть общества и развязав руки и языки рыболовам мутной воды. Я, впрочем, далек от мысли утверждать, что в этом изменении жизненного русла участвовало какое-нибудь насилие, но что оно существует – в этом, кажется, никто не сомневается. Вероятнее всего, оно совершилось само собой, силою обстоятельств.

Я не говорю также, что известительная практика преуспевает, я говорю только, что она начинает входить в нравы. Но, по моему мнению, в этом-то и заключается главное зло, так что гораздо было бы лучше, если б эта практика преуспевала в виде особой статьи, нежели вторгалась в жизнь, в качестве одного из ее составных элементов. Появляться в обществе людей становится делом трудным и рискованным, ибо нетерпимость и желание зажать противнику рот достигли до высшей степени. И то, что вследствие этого происходит, не может даже назваться доносом в том смысле, в каком мы, люди отживающие, привыкли понимать это слово; нет, это не донос, но прямое приглашение к составлению протокола, с препровождением в участок на зависящее распоряжение. Допустим, что в участке разберут и отпустят, но как бы удивились мы в оные дни, если б нам сказали, что наступит время, когда участок (по-прежнему квартал, или съезжая) делается посредником в разрешении споров и недоумений по жизненным вопросам?

В особенности прискорбно смотреть на молодых людей: они совсем нынче отучились краснеть и потуплять глаза. Едва соскочив с школьной скамьи, юноша уже ни о чем другом не помышляет, кроме карьеры, и даже с дамочками устраивается мимоходом и как-то наскоро. Несколько чересчур быстро сделанных карьер вскружили головы и смутили молодые сердца. Каким образом достигнуть того, чего так легко достиг, например, N? Понятно, что действия скромные, сопряженные с трудом, не могут в этом случае представляться ни достаточно блестящими, ни достаточно доказательными. Мало того: эти действия почти подозрительны, потому что нынче, милая тетенька, даже в воздержании от рыкания уже усматривается что-то похожее на укрывательство. Стало быть, нужно рыкать. А еще будет целесообразнее, ежели прямо закричать: караул! – тогда уж дорога откроется сама собою. Вот они и рыкают, и караул кричат, не задавая даже себе вопроса: а дальше что?

Ах, да и дамочки нынче какие-то кровопийственные стали. Нагуливают себе атуры, потрясают бедрами – и, представьте, всё с целями внутренней политики! Прежде, бывало, придет краснощекий Амалат-бек, наговорит с три короба des jolis riens[24] и вдруг... А теперь дамочка Амалат-беку своему прежде всего говорит: сначала проливай кровь, а потом посмотрим... Право, мне кажется, что прежде лучше было.

И старики не отстают от молодых, но, конечно, по немощам своим они больше проекты по части оздоровления корней строчат, да кстате уж и иллюстрации к этим проектам присовокупляют. Иной даже об смерти позабыл, думает: поживу еще. А спросите-ка его, зачем ему жить понадобилось, так он, пожалуй, рассердится.

Что же касается до Расплюевых и Загорецких, то ими ныне все трактиры полны. Пьют

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) очищенную, клапшотсы делают и кричат "караул"...

До того дошло, что даже от серьезных людей случается такие отзывы слышать: мерзавец, но на правильной стезе стоит. Удивляюсь, как может это быть, чтоб мерзавец стоял на правильной стезе. Мерзавец – на всякой стезе мерзавец, и в былое время едва ли кому-нибудь даже могло в голову прийти сочинить притчу о мерзавце, на доброй стезе стоящем. Но, повторяю: подавляющие обстоятельства в такой степени извратили все понятия, что никакие парадоксы и притчи уже не кажутся нам удивительными.

Простите, милая тетенька, что письмо мое вышло несколько пестро: жизнь у нас нынче какая-то пестрая завелась, а это и на течение мыслей влияние имеет. Живется-то, положим, даже очень хорошо, да вдруг сквозь это хорошее житье что-то сомнительное проскочит – ну, и задумаешься. И делается сначала грустно, а потом опять весело. Весело, грустно; грустно, весело. Но приходиться в отчаяние все-таки не следует, покуда на конце стоит: весело.

ПИСЬМО ПЯТОЕ  
Милая тетенька.

Вы пишете: "а Пафнутьев из Петербурга воротился, да странный какой-то; приехал с визитом в Ворошилове во фраке, в белом галстухе, в круглой шляпе"... Ах, голубушка! да неужто ж вы не догадываетесь, что это он к вам прямо, как был в Петербурге в передней, так и явился!

Пафнутьев – земская косточка, а нынче правило: во все передние Пафнутьевых допускать. Представятся швейцару, расчеркнутся, шаркнут ножкой – и по домам. Видел? – ну, и будет с тебя. Ступай в деревню, разъезжай по соседям, хвастайся, а начальства не утруждай!

Я ничего не читал в газетах о подвигах вашего Пафнутьева, но слышал, что он был в Петербурге и нюхал. Сначала находил, что пахнет амбре, потом, по мере того как надежды на «проникновение» померкали, стал относиться к запахам с притворным равнодушием и, наконец, пустился в почтительное сквернословие. И так как Петербург нынче переполнен Пафнутьевыми, которые все приехали понюхать, чем пахнет, то у всех у них ваш Пафнутьев был с визитом и всем говорил, что надобно "взглянуть на положение вещей серьезно", и прежде всего начать с оздоровления корней.

Или точнее: с оздоровления самого же Пафнутьева, потому что корни – земство, а Пафнутьев – изблюбленный земский человек. Вот какая иногда выходит игра слов!

Знаю также, что, «отъявившись» где следует, он засел у себя в номере и стал «ждать». Ждал неделю, ждал другую, и, наконец, так ему захотелось у Палкина в трактире машину послушать, что он не выдержал и отлучился. А в это время, как на грех, кто-то за ним приходил и, узнав, что его дома нет, сказал: а в нем между тем есть настоятельная надобность. Затем, как ни добивался Пафнутьев, кто приходил, какого вида и роста, военный или статский, в одежде или без таковой, молодой или старик, – так ничего и не добился. «Он» же, с своей стороны, хотя и обещал опять прийти, но не пришел. А между тем, тетенька, ведь и серьезно могло так случиться, что было где-нибудь заседание, и вдруг некто вспомнил: отчего же Пафнутьева между нами нет? Туда-сюда. Послали звать, а его дома не оказалось, швейцар же говорит: к Палкину машину слушать ушли... Посмеялись, пожалели, а к следующему заседанию и аппетит к Пафнутьеву прошел. Пафнутьев! кто бишь это такой! Ба! да это не тот ли, который машину у Палкина слушает? – ну, и пускай слушает! Подумайте, милая, срам-то какой! Добро бы в Публичную библиотеку или в Академию наук, а то к Палкину машину слушать затесался!!!

Так он свое счастье и прозевал.

Прозевавши счастье, пустился во все тяжкие. Сперва начал по Милютиным лавкам ходить. Купит фунт изюму, а сам стоит и присматривается: кто бишь этот солидный мужчина, который указательным пальцем во всякой рыбине поковырял, понюхал, полизал и ничего не купил? А ну, как он к нему обернется: а! господин Пафнутьев! аншанте! вас-то нам и надо!.. Потом стал француженкам-кокоткам свой фотографический портрет рассылать: придет, мол, уж милый дружок, увидит, что на столе чья-то морда валяется... "Ба! да ведь это Пафнутьев! его-то нам и надо!" Потом начал по Невскому по ночам шататься, думал: наткнушь на скандал,



Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru свидетелем буду... А на другой день в газетах напечатают: случился скандал, при котором с особенно благородной стороны выказал себя свидетель Пафнутьев. А известие это кто следует прочтет и скажет: ба! да не тот ли это Пафнутьев, от которого особливой, по настоящим обстоятельствам, пользы ожидать надлежит?.. Словом сказать, все средства, и дозволенные и предосудительные, пускал в ход. Наконец, видит, что ничего не берет, взял да от нечего делать и заложил свое торопецкое имение в Обществе взаимного поземельного кредита.

И что ж бы вы думали, даже после этого не только не угомонился, но еще пуще прежнего духом возгорел.

Ему бы следовало сходить в баню и уехать в Торопец, а он, вместо того, вновь объехал всех земцев-нюхателей и уговорил их собраться у Палкина за общей трапезой для обмена мыслей. Протест, что ли, он затевал или прямо бунт – этого вам сказать не умею, но только не успели сотрапезники по первой мысли обменять, как их тут же, голубчиков, и накрыли. И что же потом оказалось? – что накрыли-то не настоящие накрыватели, а шутники из "Союза Недремлющих Лоботрясов", которые ехали по дороге в трактир «Самарканд» да и надумали: пугнем-ка, мол, Пафнутьевых! И пугнули. Только остальные-то Пафнутьевы разбежались, а наш между стульев запутался. Накрыватели же, сказав ему: счастлив твой бог! – простили и уехали. Но Палкин не прости и представил счет. И вынужден был Пафнутьев по этому счету сполна заплатить, потому что, в противном случае, Палкин-трактир угрожал обвинить его в "превратном толковании". На эту уплату ушла половина полученных облигаций, а другую половину он по дороге из Средней Мещанской в фонарный переулок обронил (даже околоточный по этому случаю сказал ему: стыдитесь, сударь!).

Вот вам и вся эпопея пафнутьевского пребывания в Петербурге. Рассказал мне ее один из недоноухавшихся нюхателей, который и в палкинском бунтовстве запевалой был, но успел счастливо ускользнуть, да вдобавок еще и ложку, впопыхах, в карман запрятал.

– Да вы бы хоть за свою-то часть заплатили Пафнутьеву! – уговаривал я его.

– И то надо заплатить...

Однако ж впоследствии я узнал, что он так, не заплативши, и уехал в Чебоксары. И ложку с собой увез, хотя рукоятка у нее была порыжелая, а в углублении самой ложки присохли неотмываемые следы яичных желтков. Вероятно, в Чебоксарах попу в храмовые праздники эту ложку будут подавать!

Что-то теперь будет Пафнутьев у вас, в Торопце, говорить! То-то, чай, станет хвастаться и лгать! Поэтому, на всякий случай, предупреждаю вас: что бы он ни рассказывал, ни одному его слову не верьте. Так-то спокойнее. Когда вперед знаешь, что человек врет, то слушать его иногда забавно, иногда скучно бывает, смотря по тому, кто и как врет; но когда человек врет, а собеседник его думает, что он правду говорит, тогда можно с ума сойти. Одному только верьте: что Пафнутьев свою Обираловку заложил и что в следующем году ему процентов нечем будет платить. Однако вы ему тогда денег взаймы не предлагайте, потому что он взять возьмет, а отдать не отдаст. А впрочем, что же я об этом хлопочу! ведь у вас и у самих денег-то нет!

Ах, тетенька, тетенька! как это мы так живем! И земли у нас довольно, и под землей неведомо что лежит, и леса у нас, а в лесах звери, и воды, а в водах рыбы – и все-таки нам нечего есть! А ведь и звери и рыбы – все это для того именно и создано, чтобы человека питать. Оглянитесь кругом – везде питание, да только до наших ртов оно почему-то не доходит, а другим мы сами давать не хотим. Сторожей держим, жалованье платим... Вот хоть бы голуби – сколько у вас их на мельницу летает! В Париже давно бы их заарестовали, откормили, на весь бы город соте из них понаделали! А у вас они так зря тощие летают. Поклюют-поклюют да в свое место и улетят. Но ведь их и тощих можно кушать. Я помню, однажды мне охотник голубя принес: витютень, говорит. Вижу, что голубь, однако ж перекрестился и съел за витютня. Тощёнок, а ничего. А вы к финагеичу обращаетесь: привези, голубчик, из городу говядинки, да вермишельцу, да селедочек, а курочка, мол, у нас своя есть. А какая же это курочка! Ей бы за искусство добывать пропитание, наравне с мужичком, премию нужно назначить, а мы ее в суп волокем!

Да и одни ли голуби! а воробьи? а караси в пруде? Правда, что по части невода у

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) вас слабо: старый сопрел, а новым не разжились, так попросите Афимьюшку – она и в подол наловит.

Вот от этой-то голодухи и земцы из своих нор в Петербург наползают. Был у нас когда-то мужик, так на этом мужике нынче Колупаев с Разуваемым поехали; была ссуда, были облигации, а куда они подевались, и ума не приложишь; наконец, осталась земля, а ее не угрызешь. О, горе нам, рожденным в свет!

\* \* \*

Вообще, что касается земства, я, пародируя стих Лермонтова, могу сказать: люблю я земщину, но странную любовью. Или, говоря прямее: вижу в земском человеке нечто двойственное. По наружному осмотру и по первоначальным диалогам каждый из них – парень хоть куда, а как заглянешь к нему в душу (это и не особенно трудно: стоит только на диалоги не скупиться) – ан там крепостное право засело.

Возьмем хоть мой родной уезд: там с самого начала и до настоящей минуты представителями земства бессменно служат: двое Дракиных, да двое Хлобыстовских, да аптекарь Карл Иванович, да крестьянин Огрызковской волости Матвей Григорьев, которого по фамилии, из учтивости, называют Вздошниковым. Из них только Вздошников сыт, да и то потому, что способен пустыми щами насыщаться. Дракины голодны, Хлобыстовские голодны, Карл Иванович – девичью кожу ест. Жалованье им идет хотя изрядное, но для наполнения дворянских желудков все-таки недостаточное, а у Карла Ивановича четырнадцать человек детей, и всех их надо к аптекарской должности подкормить. Один Вздошников вполне своим жалованьем доволен, но тут опять другая беда. С тех пор, как он сел наравне с господами, у него развилась страсть к накоплению богатств, и он почти все свое жалованье отдает за процент Хлобыстовским и Дракиным. А последние смотрят на это уже как на "воспособление средств" и, разумеется, никогда Вздошникову денег не отдадут.

Но как ни скудно житье Дракиных, однако все-таки благодаря жалованью и воспособлениям на зубах у них что-нибудь есть. Поэтому всякий раз, как наступит срок новых выборов, они начинают тревожиться и лебезить. Забаллотируй их земское собрание, им придется опять засесть по деревням, а ведь там, как вам известно, с самой «катастрофы», и земля перестала родить, и коровы перестали телиться, и помольцы перестали на мельницу ездить, а ездят подальше, к купцу Пузанову, у которого и без того пузо от щей с солониной росперло, но зато жернова хороши.

Спрашивается: какие идеалы могут волновать души этих людей? Очевидно, идеалы крепостного права. Какие воспоминания могут освещать их постылые существования? – очевидно, воспоминания о крепостном праве. При нем они были сыты и, вдобавок, пользовались ручным боем. Сытость представляла право естественное, ручной бой – право формальное, означавшее принадлежность к дирижирующему классу.

Каким образом и в силу чего Дракины и Хлобыстовские, с своими крепостными идеалами, вдруг явились в качестве представителей земли – этого я никогда выяснить себе не мог. Никаких деяний "благоразумной экономии", которые оправдывали бы их появление на арене земского хозяйства, они не совершили. При крепостном праве они были помещики, как все другие, то есть взымали денежные и натуральные дани, гоняли мужиков на барщину и т. д. По уничтожении крепостного права явили себя беспомощными и бесталанными. Самые, что называется, коренники деревенские, которые как вышли в отставку в корнетских доспехах, так и не выезжали из деревень, и те, с осуществлением эмансипации, сразу почувствовали себя способными и склонными скорее к городскому, нежели к деревенскому делу. Большинство сообразно с этим и поступило. Заручившись, насколько было возможно, ссудами, облигациями и результатами распродажи движимого и недвижимого, предоставили злакам свободно произрастать, где и как знают, а сами расселились по городам и бодро вступили в ряды бюрократии. Только самые слабые особи остались в насиженных гнездах, как бы во свидетельство, что крепостное право не вовсе умерло, а нечто и завещало. Вот, в силу этого-то завещания, Хлобыстовские с Дракиными и всплыли, когда наладилось «земство». Во-первых, они имели за себя самое широкое досужество, а во-вторых, в окрестности еще не утратилась привычка повторять их имена. Кого выбирать? – разумеется, тех, у кого досуга больше. А у кого же его больше, нежели у Никанора Дракина, который не только от дела, но и от еды свободен? И выбрали. А затем, Вздошников с Карлом Ивановичем пошли уж как бы на придачу, в виде гамбеттовских новых общественных слоев.

С тех пор Дракины кой-что едят. И если б они ограничились отпускаемой им малою едой, никто бы, конечно, за этим не погнался; но они хотят есть всё больше и

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) больше, а это неблагоприятно, потому что разыгрывающийся аппетит внушает им предосудительные мысли, а предосудительные мысли гонят их в Петербург.

Что все это именно так и случится – в этом я, с самого вступления Дракиных на арену земской деятельности, не сомневался; но публиковать о моих предвидениях, до настоящей минуты, остерегался. Во-первых, чуть, бывало, заикнусь в этом роде слово сказать, как уж со всех сторон вопиют: ах, что вы! дайте же укрепить нашим молодым учреждениям! Во-вторых, представьте себе, ведь тут и в самом деле штука случилась. Едва только занялись Дракины вплотную лужением больничных рукомойников (в этом собственно и состояла их «задача», так как «бесплодная» бюрократия даже с луженьем справиться не могла!), как вдруг пошли слухи, что этим самым они посевают в обществе недовольство существующими порядками и даже подрывают авторитеты!

Я знал, что земцы невинны, что они лудят от чистого сердца и ровно ничего не посевают, но мог ли я это доказывать? – Нет, ибо, доказывая, я рисковал двояко: или впасть в иронический тон, а следовательно, обидеть наши "неокрепшие молодые учреждения", или же предпринять серьезную защиту лудильщиков и в таком случае попасть в число их сообщников и укрывателей...

Разумеется, я предпочел молчать.

Но нынче наши "молодые учреждения" не только окрепли, но даже, можно сказать, обнаглели, так что не представляется уже никаких затруднений рассказать, в чем заключалась суть этих лудительных недоразумений.

Что земские люди были призваны для лужения рукомойников и для починки мостов – это они поняли вполне правильно. Но дело в том, что лудить можно двояко: или с предвзятым намерением, или чистосердечно, без намерения. Все равно, как лапти плести: можно с подковыркой, а можно и без подковырки. С подковыркой щеголеватее и прочнее, но зато крамолой припахивает; без подковырки – лапоть совсем никуда не годится, но зато о крамоле слухом не слышать!.. Ходи, корела, без подковырки!

Нечто в этом роде случилось и с нашими земцами. С первых же шагов они точно с цепи сорвались: давай, братцы, плести лапти с подковыркой! Источник этой решимости был очень хорош: желание оправдать доверие начальства; но так как дело было новое и неслыханное, то понятно, что оно должно было произвести некоторый шум. Бюрократы – недоумевали; «общество» – ликовало и подстрекало. Разрастаясь да разрастаясь, этот шум постепенно опьянил самих земцев. Им бы нужно было, не обращая внимания на подстрекательства «общества», скромно продолжать свое скромное дело, а они вместо того возмечтали. Вздумали лудить самостоятельно, из разрешения вывели право; начали иронически посматривать на администраторов и называть бюрократию бесплодной, но что всего хуже, допустили к участию в этой расправе женское сословие. Ни одного пирога в губернии не обходилось без ехидной полемики; ни одного бала – без скандалов. То польский, не дождавшись губернатора, водить начнут, то губернаторшу в мазурке в четвертую пару загонят (да еще с кем в паре? – с правителем канцелярии!), а какая-нибудь земская гласная, сверкая атласными плечами, в первой паре плывет. Одним словом, возобновились худшие времена дворянских выборов. Естественно, что их сейчас же остановили. Не право дано вам, внушили им, а разрешение. Право – это потом, когда бабушка будет произведена в дедушки, а до тех пор: луди, но оглядывайся!

Короче, едва успели обе силы встретиться, как тотчас же встали на дыбы. Стоят друг против друга на дыбах – и шашка. Да и нельзя не стоять. Потому что, ежели земство уступит – конец луженью придет, а ведь это заря наших будущих гражданских свобод. Если же Сквозник-Дмухановский уступит – начнется потрясение основ и колебание авторитетов. Того гляди, общество погибнет.

И шла эта распря, то замирая, то разгораясь, вплоть до наших дней. И надо сказать правду, что большая часть ее эпизодов разыгралась исключительно на боках земцев и к полному удовлетворению Сквозника-Дмухановского.

Но нынче все объяснилось. Администраторы самые заматерелые, и те догадались, что лужение есть лужение, и ничего больше; стало быть, если земские деятели в одном месте не долудили, а в другом перелудили, то это беда небольшая. Земцы же, с своей стороны, сознались, что они действительно уклонились (все только лудить да лудить – это хоть кого сбесит!) от своей задачи, но теперь принесут повинную и ходатайствуют об одном: чтобы, независимо от луженья, им разрешено было,

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) преимущественно перед прочими уполномоченными на сей предмет лицами, вопиять: страх врагам!

Вероятно, препятствий к удовлетворению этого ходатайства не будет; однако ж я все-таки считаю долгом заявить, что это новое расширение земских прав (особливо ежели земцы обратят его себе в монополию), по мнению моему, может вызвать в будущем некоторые очень серьезные недоразумения. А именно – как бы при этом не повторилась опять притча о лаптях с подковыркою, уже наделавшая однажды хлопот.

Если земцы будут кричать: страх врагам! чистосердечно и без преднамерения – это будет хорошо; но ежели они будут кричать с подковыркою, то есть увидят в этом кличе лишь средство удовлетворить некоторым тайным преднамерениям, и ежели, вслед за тем, Пафнутьев или Никанор Дракин, с свойственною им ловкостью, сперва обиняком, а потом громче и громче, пустят слух о необходимости перемещения центра тяжести правящей Руси, – тогда ожидайте больших хлопот в будущем. Заметьте, что никто в целом мире не только земцам, но и никому не воспрещал петь "страх врагам". Следовательно, если этот вопрос ныне выдвигается вперед, то он выдвигается принципиально. Именно, в смысле устранения бюрократии (раз навсегда!) от пирога и перенесения ее прав и обязанностей по отношению к пирогу на излюбленных земских людей. Вот какая махинация скрывается под наивным желанием петь: страх врагам!

Еще во времена лудильной распри, Пафнутьев под рукою пропагандировал, что бюрократия выветрилась и поражена бесплодием, а что, напротив того, обитающие в деревнях прапоры плодущи, свежи и хоть сейчас готовы преобразиться в земских ярыжек. Что темное «средостение», которое представляет собой непроницаемая масса бюрократического воинства, мешает видеть добрый русский народ, но что ежели то же самое средостение устроить из Дракиных и Хлобыстовских, то они не только не будут препятствовать видеть русский народ, но в самой скорости так его вышлифуют, что он и качества, и ребра свои как на ладонке покажет.

Благодаря бдительности Сквозника-Дмухановского, пафнутьевская пропаганда была временно приостановлена, но под леплом она все-таки тлелась, и едва ли я ошибусь, сказав, что нынешний набег земцев на Петербург имеет очень тесную связь с возобновлением этого вопроса.

Петь "страх врагам!" очень выгодно, а дирижировать при этом оркестром – и того выгоднее: Дракины это поняли. Поэтому-то они и поползли такую массой в Петербург, в чаянии доказать, что никто так ловко не сумеет за шиворот взять, как они. С помощью этой песни уже многие на Руси делишки свои устроили – отчего же не устроить себя тем же способом и Никанору Дракину? Поющий эту песню внушает доверие; доверие приводит за собой почести, а почести приближают к казенному сундуку...

Дракины, по природе и по преданию, гостеприимны и простодушны, но они невежественны, нерассудительны и, сверх того, любят урезать. Если поверит Разуваев на полштофа, они полштофа урежут, ежели на штоф поверит, то и на штоф согласны. Формальностей они – не терпят, разговоров и судоговорения – не допускают совсем. Винават? – сознавайся! Сознался – за мной полтинник! не сознаешься – запорррю! Так-то лучше, чем по-чиновничьи писать протоколы, из-за которых доброго русского народа не видно! Помните, какое у нас земство при крепостном праве было? – такое оно и теперь. Тоже без протоколов, как и тогда. Только голоднее, а идеалы всё те же: не то, чтобы что-нибудь, ограждения ради, придумать, а прямо за шиворот или руки к лопаткам.

Нет, вы представьте себе, что пафнутьевские мечтания сбылись, и Дракины, низложив Сквозника-Дмухановского, сделались исключительными вертоградарями провинциального русского эдема. Представьте себе, что вам приходится жить в одной из клеточек этого эдема. Все Дракины между собой родственники или свойственники, все сплелись и переплелись так, что и расплести невозможно. Вы одна не родственница и не свойственница никому из них. У всех у них свои общие интересы, свои общие сплетни и ненависти, свое общее свинство; все они в одну дудку дудят, все одну мысль в голове держат: как бы урезать, опохмелиться и урезать вновь. Вы одни не принимаете участия ни в сплетнях, ни в опохмелениях, ни в ненавистях их. Как вы думаете: съедят они вас или не съедят?

Что касается до меня, то я утверждаю: не только съедят, но предварительно еще отравят вашу жизнь своим дыханием. Ведь это только шутики шутят, называя Дракиных

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) излюбленными земскими людьми: в сущности, они и вам, и мне, и всей этой подлинной земской массе, которая кладет шары, даже не седьмая вода на киселе.

Как трудно будет жить в этом эдеме – это даже самое разнузданное воображение не в силах воспроизвести. Сообразите одно: целую массу Дракиных, оголтелых, голодных, ни на что не способных, придется пропитать, обогреть и всем удовлетворить. А сверх того, ведь шаг за околицу нельзя будет сделать, чтоб не натолкнуться на Дракина. Один Дракин – сам излюбленный, другой – его родственник, третий с излюбленным в одной казарме горе тыпал. И все хотят есть. Есть-то хотят, да, вдобавок, еще дело делать никому не дают. Скажут, свищут, гогочут, велят кричать: смерть врагам! Ах, какая это будет жизнь!

А мы-то с вами на Сквозника-Дмухановского жаловались! Ах, тетенька, ведь в нем все-таки хоть до некоторой степени теплится чувство ответственности! Была, разумеется, и отвага – без этого, какой же бы он был русский человек! – но было и представление о губернском правлении, об уголовной палате, а в особенности о секретарях и столоначальниках. Дракин, напротив, так заблиндировал себя репутацией свежести, что под звуки романса "смерть врагам" может дерзать все, что ему в голову вступит. И если ему вздумается, например, сжить вас со света (ах, как это нынче легко!), то вы уж не отделаетесь от него ни крестом, ни пестом. Он ничего не страшится, ни в чем не сомневается, ни перед чем не останавливается, дышит отвагой – и шабаш. Взятку возьмет – сейчас забудет, в зубы треснет – опять забудет. Все у него делается как-то мимоходом, не в зачет. А ежели его, наконец, изловят и приведут в суд, то он будет говорить: не знаю! не помню! пил мертвую, и что делал, ничего не помню.

Вот почему я так и обрадовался, узнав из вашего письма, что Пафнутьев воротился восвояси, не донюхавшись ни до чего. Авань-либо бог и просвещенное начальство защитят нас и присных наших от дракинских козней.

\* \* \*

Я отсюда вижу ваше удивление и слышу ваши упреки. Как, – восклицаете вы, – и ты, Цезарь (как истая смолянка, вы смешиваете Цезаря с Брутом)! И ты предпочитаешь бюрократию земству, Сквозника-Дмухановского – Пафнутьеву! Из-за чего же мы волновались и бредили в продолжение двадцати пяти лет? Из-за чего мы ломали копыя, подвергались опалам и подозрениям?

Совсем не из-за этого, милый друг. По крайней мере, я вовсе не бредил об том, чтоб бог привел мне дожить до поглощения Дракиным всех отраслей правящей деятельности, и ежели этому суждено сбыться, то уж, конечно, не я по этому поводу воскликнул: "Ныне отпускаеши..."

А сверх того надобно и оговориться: речь идет совсем не об любви к Сквознику-Дмухановскому, а о том, что все в мире относительно. Всякая минута имеет свою опасность, и в настоящую минуту эту опасность представляет Никанор Дракин. Он слишком суетится, слишком назойливо стремится выказать Сквозника-Дмухановского в смешном свете, чтобы можно было сомневаться, что ему хочется вскочить на место последнего. Но при этом он совсем не на том настаивает, что, в случае успеха своей затее, пойдет разными путями с Сквозником-Дмухановским, а только на том, что он превзойдет его. И он действительно превзойдет. Вот это-то и нужно непременно иметь в виду, ибо ежели надоел Сквозник-Дмухановский, то Дракин, с своим желанием «превзойти», надоест вдвое больше.

Если б дело шло о расширении области дракинского лужения, это тронуло бы меня весьма умеренно. Но Пафнутьевы говорят не о лужении, а об том, чтобы проникнуть в сферу шиворота и выворачиванья рук к лопаткам. Вот почва, на которой мы стоим в настоящее время и которую не должны терять из виду, ежели хотим рассуждать правильно.

Было время, когда меня ужасно волновал вопрос, какие исправники благороднее: те ли, которые служат по выборам дворянства, или те, которые определяются от короны. Иногда казалось, что выборные исправники благороднее, иногда – что благороднее исправники коронные. Ах, тетенька! какое это странное время было! и какие изумительные вопросы волновали тогда умы! Однако ж, взвесив все доводы pro и contra, я кончил тем, что сходил в баню и порешил: забыть об этом вопросе навсегда. И забыл.

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) И вот теперь приходится опять об нем вспоминать, потому что провозглашатели «средостений» и «оздоровлений» почти силком ставят его на очередь. И вновь перед глазами моими, одна за другой, встают картины моей молодости, картины, в которых контингент действующих лиц в значительной мере наполнялся куроцапами. То было время крепостного права, когда мы с вами, молодые, здоровые и довольные, ходили рука в руку по аллеям парка и трепетно прислушивались к щелканью соловья...

Слышишь, в роще зазвучали  
Песни соловья;  
Звуки их, полны печали,  
Молят за меня...

Так пели и вздыхали мы с вами, отнюдь не подозревая, что окружающий нас мир есть мир куроцапов. Были тогда куроцапы оседлые, которые жили в своих гнездах и куроцапствовали в границах, указанных планами генерального межевания, и были куроцапы кочующие, облеченные доверием, которые разъезжали по дорогам и наблюдали, чтобы основы оседлого куроцапства пребывали незыблемыми. Ничего мы этого не понимали, потому что совсем не об том соловей нам пел. Мы стояли, как очарованные, и всё слушали и слушали, покуда, наконец, потеряв ручкой то место, где у куколок полагается желудочек, вы не произносили: а не пойти ли на скотную к Анфисе сливок покушать? И мы уходили... но как хороша была старая Анфиса, когда, подавая чашку, наполненную палевой массой, она восклицала: кормильцы вы наши! А оттуда в оранжерею: персики, сливы, вишни – всего вдоволь! и опять старый садовник Архип (ах, как он был хорош!): кормильцы вы наши! Но вот наконец и обед. "Сонечка! не лучше ли супцу тебе покушать? У тебя, кажется, животик болит!" Ах, нет, тамап, я – ботвиньи!.. Милая вы моя! ну, точно сейчас все это вижу!

И все это счастье, всю эту сытость, мир и благоволение охраняли и обеспечивали нам облеченные доверием куроцапы, зорко следившие за тем, чтобы Анфисушка называла нас именно кормильцами, а не идолами. И помнится, что в числе тогдашних странствующих куроцапов находился и Никанор Дракин или, по крайней мере, старший его братец. Так вот он еще когда в стране шиворота полным хозяином распоряжался! Затем он вдруг стушевался и уступил свое место Сквознику-Дмухановскому. Сдал должность беспрекословно, но сладкие воспоминания все-таки сохранил. И даже тогда, когда перед ним, в виде воспособления, открылась безграничная область лужения, – даже и тут не забыл об утраченном куроцапстве, но втайне роптал: вот кабы опять в страну шиворота заглянуть!

Понятно, что с тех пор он пользуется всяким случаем, чтоб возвратить прежнее куроцапствующее значение. Хвастается, лжет, шляется по передним, сочиняет записки, печатает в Берлине брошюры, которых в Россию иначе, как под полюю, отнюдь провезти нельзя. – Что у тебя под полюю? – А это... – А! понимаю! ступай с богом! Но не ошибайтесь, тетенька! когда Пафнутьев говорит об земстве, то это значит, что речь идет именно только об нем самом, а когда он прибавляет, что земство лучше свои интересы может устроить, то это значит, что он, совместно с Дракиным, гораздо тверже против Сквозника-Дмухановского знает, где курам вод.

Словом сказать, стоит только оплошать – и крепостное право вновь осенит нас крылом своим. Но какое это будет жалкое, обтрепанное крепостное право! Парки вырублены, соловьи улетели, старая Анфиса давно свезена на погост. Ни волнующихся нив, ни синеющих вдаль лесов, ни троек с малиновым звоном, ни кучеров в канаусовых рубашках и плюсовых безрукавках – ничего нет! Одни оголтелые Дракины, голодные, алчущие и озлобленные, образовали союз, с целью рыскать по обездоленным палестинам, хватать, ловить...

Не забудьте при этом, что в настоящее время в понятиях о шивороте существует такой хаос, что Дракин и сам едва ли разберет, в каком случае он явит себя молодцом и в каком только негодяем. Легко сказать: лови превратного толкователя! но где же руководство, в котором были бы точно указаны признаки этого вредного существа? Благодаря этой неясности, большинство простецов приурочивает к этому сословию всякого, кто, по своим понятиям, воспитанию и привычкам, стоит несколько выше общего нравственного и умственного уровня туземцев. А затем каждый отдельный простец уже дифференцирует эти признаки согласно с требованиями своего личного темперамента. Ханжа считает превратным толкователем того, кто вместе с ним не бьет себя в грудь, всеу призывая имя господне; казнокрад – того, кто вместе с ним не говорит, что у казны-матушки денег много; прелюбодей – того, кто безразлично относится к "чуждых удвольтвий любопытству"; кабатчик – того, кто не потребляет сивухи, а в особенности того, кто и другим советует от нее

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) воздерживаться; невежда – того, кто утверждает, что гром и молния не находятся в заведовании Ильи-пророка. И все эти люди, каждый имея в виду свой особый предмет, составят один общий хор, который будет гласить: хватай! лови! Понятное дело, что Дракину среди этого сумбура предстоит не житье, а масленица...

Но скажите по совести, стоит ли, ради таких результатов, отказаться от услуг Сквозника-Дмухановского и обращаться к услугам Дракина? Я знаю, что и Сквозник-Дмухановский не бог знает какое сокровище (помните, как слесарша Пошлепкина его аттестовала!), но зачем же возводить его в квадрат в лице бесчисленных Дракиных, Хлобыстовских и Забиякиных? Помилуйте! нам и одного его по горло было довольно!

Но я иду еще дальше и без обиняков говорю, что если уж мы осуждены выбирать между Сквозником-Дмухановским и Дракиным, то имеются очень существенные доводы, которые заставляют предпочесть первого последнему. А именно:

Во-первых, Сквозник-Дмухановский – постылый, а Дракин – излюбленный. Сквозник-Дмухановский пришел ко мне извне и висит над моей головой яко меч дамоклов; об Дракине же предполагается, что я сам себе его вынянчил. Сквозника-Дмухановского я не люблю, и ни для кого это не кажется удивительным. Я иду к нему, потому что иначе деваться мне некуда, и он знает это. Знает, что я не целоваться к нему пришел (ах, тетенька!), а потому, что он может или разрешить мою нужду, или не разрешить. Иной Сквозник-Дмухановский прямо предъявляет таксу; я уплачиваю по ней и ухожу обнадеженный; буде же не имею чем уплатить, то стараюсь выполнить мою нужду так, чтобы меня не увидели. Другой Сквозник-Дмухановский говорит: я взятки не беру, а действую на основании предписаний – тогда я ухожу, получив шиш. Но и в том, и в другом случае отношения между нами вполне ясны. И не я один, все эту ясность одинаково сознают. Никто, идя к Сквознику-Дмухановскому, не голосит: ах, хоть бы мне на него, на родимого, глазком взглянуть! но всякий, идучи, втайне произносит: ах, распостылый! Поверьте, что это удивительно облегчает. Ибо когда человек находится в плену, то гораздо для его сердца легче, если его оставляют одного с самим собой, нежели если заставляют распивать чай с своими стражниками. Совсем другое дело – Дракин. Идя к нему, я постоянно должен думать: а черт его знает, почему-нибудь да сказывают же, будто он у меня на лоне возлежал! И, установив себя на этой точке, я обязываюсь поступать по слову его не токмо за страх, но и за любовь. Он будет надоедать мне, преследовать меня по пятам с нелепыми требованиями, будет лезть ко мне с поцелуями, истязать меня дружелюбием, а я должен говорить ему слогом Песни Песней: лоно твое – как чаша благовонная, и нос твой – как кедр ливанский! И что он ни скажет в ответ, я должен выполнить без ропота, не потому, что нахожусь у него в плену (этого я и допустить не смею), потому, что у него пупок – как кубок, а груди – как два белых козленка. Вот он какой! И жаловаться на него я не могу, потому что, прежде чем я разину рот, мне уже говорят: ну, что, старичок! поди, теперь у вас не житье, а масленица! Смотришь, ан у меня при таком приветствии и язык пресекается. Никогда я его не излюблял, а все мне говорят: излюбил! Никогда я его не выбирал, а только шары клал, а мне говорят: выбрал! С юных лет я ничего не слыхал ни об любвях, ни об выборах, с юных лет скромно обнажал свою грудь и говорил: ешь! Ели ее и Сквозник-Дмухановский, и Держиморда, и Тяпкин-Ляпкин; недоставало Дракина – и вот он – он! Неужто ж я бы его возлюбил, зная наперед, что он будет меня есть? – Неправда это.

Во-вторых, меня значительно подкупает и то, что Сквозников-Дмухановских, сравнительно, немного, тогда как Дракин на каждом шагу словно из-под земли вырост. Еще при крепостном праве мы жаловались, что станового никак залучить нельзя, а теперь, когда потребность приносить жалобы удесят�ерилась, беспомощность наша чувствуется еще сильнее. Зато Дракины придут в таком количестве, что недра земли содрогнутся. После упразднения крепостного права, у них только одно утешение и оставалось: плодиться и множиться. Вот они и размножились, как кролики, и в то же время оголтели, обносились и обнищали. Чаю по месяцам не пивали! говяжьего запаху не нюхивали! Понятно, что они придут все, целым кагалом. И званные и незванные, и облеченные доверием и не облеченные. И отцы и дети, и матери и дочери, и племянники и внуки – все тут будут. Одни будут действовать, другие – содействовать. Проходу никому не дадут. Станут рыскать во всех направлениях, станут кричать "ого-го!" и уверять, что спасают общество. И вот попомните мое слово: до поры до времени Пафнурьев еще смирен, но как только возьмет он палку в руки, так немедленно глаза у него, как у быка, кровью нальются. Надоест он вам; и он надоест, и жена его надоест, и дети надоедят. Все

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) будут о «средостениях» говорить и палкой помахать.

В-третьих, Сквозник-Дмухановский, как человек пришлый, не всю статистику вверенного ему края знает. Не только то, что скрывается в недрах земли, не всегда ему известно, но и то, что делается поблизости. Поэтому недра земли остаются иногда непоруганными, а обыватели имеют возможность утаить в свою пользу: кто – яйцо, кто – поросенка. Напротив того, Дракин, как местный старожил, всю статистику изучил до тонкости. Он знает, сколько у кого запуталось в кошеле медяков; знает, у кого курица яйцо снесла, у кого опоросилась свинья. А сверх того, знает, где именно нужно «шарить», чтоб обрести. И все эти сведения он употребит на пользу себе, а не излюбившим его. Так что ежели с выступлением Дракиных на арену, вам случится печь в доме пирог, то так вы и знайте, что середка принадлежит излюбленному, а края – домочадцам и присным его. Сообразите теперь, сколько затем останется от пирога для вас и ваших присных?

Есть у меня и другие доводы, ратующие за Сквозника-Дмухановского против Дракина, но покуда о них умолчу. Однако ж все-таки напоминаю вам: отнюдь я в Сквозника-Дмухановского не влюблен, а только утверждаю, что все в этом мире относительно и всякая минута свою собственную злобу имеет. И еще утверждаю, что если в жизни регулирующим началом является пословица: "Как ни кинь, все будет клин", то и между клиньями все-таки следует отдавать преимущество такому, который попритупился.

ПИСЬМО ШЕСТОЕ  
Милая тетенька.

Бывают минуты, когда в общий обиход вдруг начинает входить "хорошее слово". Все горячо и радостно за него хватаются, все повторяют его, носятся с ним, толкуют на все лады, особливо, если "хорошее слово" имеет ближайшее отношение к современной действительности, к тем болям, которые назрели у каждого в душе и ждали только подходящего выражения, чтобы назвать себя. В особенности, в последнее время явилась какая-то жгучая потребность в "хорошем слове". Жить, что ли, в сумерках надоело, но все только об том и думают: ах, хотя бы откуда-нибудь блеснул луч и пронизал сгустившийся туман! И вот, в ответ на эти сетования, появляется "хорошее слово". Все довольны, у всех лица расцветаются улыбкой. Люди самые пришибленные начинают смотреть бодрее; люди самые непонимающие хотя продолжают не понимать, но тоже, глядя на других, радуются. Большинство целуется, поздравляется. Даже заведомо злокозненные мудрецы, которые обыкновенно, яко лев рыкаяй ходят, иский кого поглотити, и те стихают, как бы молчаливо преклоняясь перед силой вещей. Но, в сущности, они совсем не притихли, а только обдумывают, как бы им примоститься к "хорошему слову", усыновить его себе.

И усыновляют. Покуда простодушные и верующие люди обнимаются (нельзя не обниматься-то, милый друг! уж очень в этой дерюжной действительности тошно!), в природе происходит некоторое волшебство. Мудрецы уже воспрянули и примостились. "Хорошее слово" удержалось в обращении, но от него уже пахнет тлением. Обычная удачливость мудрецов и на этот раз сказалась во всей силе, ибо им достаточно было одной минуты общего увлечения, чтобы, в глазах публики, в несчетный раз проделать самый заурядный и всем надоевший фокус. Видели в руке червонец? – Видели. – Ну, теперь смотрите! клац! ничего в руке нет!

Вспомните прожитое прошлое и ответьте по совести: не такова ли именно была история всех наших "хороших слов"? И ведь нельзя сказать, чтоб у них было мало сочувственников; нельзя даже сказать, чтоб эти сочувственники были оплошники или ротозеи; и все-таки дело как бы фаталистически принимало такой оборот, что им никогда не удавалось настолько оградить "хорошее слово", чтобы в сердцевину его, в самое короткое время, не заползли козни мудрецов. Обыкновенно неудачи подобного рода принято сваливать на увлекающихся: они, дескать, своими увлечениями всякое начинание компрометируют; но ведь мы-то с вами, тетенька, отлично знаем и увлечения, и самых увлекающихся. Право, не опасные это люди были, а только, быть может, чересчур верующие, и даже несколько легковверные. Отчего же не им, верующим, удавалось "хорошее слово" закрепить за собою, а удавалось тем, которые это слово от души ненавидели?

Нечто подобное повторяется на наших глазах с словом «содействие», которое нынче в большом ходу. Несомненно, что это слово принадлежит к числу «хороших», но не менее несомненно и то, что едва успело оно сказаться и войти в обращение, как



Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) около него уже выросло чуть не целое столпотворение. И как-то особенно быстро это нынче случилось. Прежде хоть колебание было заметно – трудность задачи, что ли, смущала, или сила сопротивления была значительнее, – а нынче так-таки сразу нет ничего. Не успели простодушные люди наахаться вволю, как "хорошее слово", перейдя через множество предательских уст и согласованное с целой массой хищнических appetitov, уж истрепалось, выпачкалось и провоняло. Так что, слушая современные уличные толки по поводу этого слова, не без испуга спрашиваешь себя: куда же девался первоначальный его смысл?

Но для того, чтобы для вас вполне уяснилась процедура этого превращения и чтобы в то же время вы поняли, в какой безнадежной пустоте вращается современная жизнь, допустим на минуту следующее (совершенно, впрочем, произвольное) предположение.

Представим себе, что мы получили дар компетентности по части устранения насущных злоб дня и приступаем к выполнению нашей задачи. Разумеется, первый вопрос, с которым придется нам встретиться на этом поприще, будет следующий: живы ли мы, в силу чего мы живы, и все ли вокруг нас благополучно? И еще более разумеется, что ежели мы люди добросовестные, то, не особенно долго думая, ответим на этот вопрос так: живы-то мы живы, но в силу чего – не знаем и назвать благополучием то, что вокруг нас происходит, – не можем.

Отсюда второй вопрос: как поступить, чтоб окружающее нас злополучие обратилось в благополучие? от кого получить полезные на этот счет сведения и указания? В былые времена ответ на этот вопрос был вполне определенный: предписать Сквознику-Дмухановскому; но нынче в магическую силу чиновничества уже изверились. Во-первых, оно прозевало краеугольные камни, а во-вторых, не приняло соответствующих мер к ограждению основ.[25] Каких еще более разительных фактов бессилия и ротозейства нужно, чтоб убедиться, что на Сквозника-Дмухановского надежда плоха?

Существует ли, однако ж, среда, помимо чиновничества, от которой бы можно было получить ответы на тревожащие нас вопросы? Да, говорят нам, такая среда существует. Это среда свежих, непочатых и неиспорченных сил, к которым никогда еще не пробовали обращаться, но у которых, наверное, на все про все трезвенное слово готово. Некоторые называют эту среду народом, другие – обществом, третьи – земством. А околоточные и городовые называют «публикой» ("надо же для публики удовольствие сделать", говорят они). Вот к этой-то непорченной среде и следует обратиться с требованием содействия. Что ж, коли так, то лучшего и желать нельзя. Ну те, господа непочатые! распоясывайтесь! Содействуйте! признавайтесь, какие такие за вами трезвенные слова состоят!

Тетенька! пожалуйста, вы, однако, не подумайте, что я вас в какую-нибудь нелепую авантюру увлекаю. Боже меня сохрани! Я очень хорошо понимаю, что никакой подобной затеи мы с вами не только предпринять, но и в мыслях держать не должны, да и незачем нам, голубушка, потому что мы и без «содействий» отлично проживем. Я ведь не для пропаганд, а только *exempli gratia*[26] предположение мое строю, и притом в письме к родственнице... Право, мне кажется, это можно?

Во всяком случае, продолжаю.

Вот тут-то именно и происходит то волшебство, о котором я упоминал выше. Мы с вами наивно ждали, что на наш клич явятся или Прохор Распротаков, как представитель народных нужд, или Александр Андреич Чацкий, как выразитель аспирации общества; а вышло совсем не так. Оказывается, что Распротаков с утра пахать ушел, а к вечеру оборонять будет (а по другим свидетельствам: ушел в кабак и выйти оттуда не предполагает), а об Чацком я уже вам писал, что он нынче, ради избежания встреч, с одной стороны улицы на другую перебегает и на днях даже чуть под вагон впопыхах не попал. И вот, вместо них... господи! да неужто ж опять «они»? Они, Пафнутьевы, Дракины, Хлобыстовские, которые уж в качестве лудильщиков успели наполнить вселенную воплями? Тетенька, да разве они «свежие»? помилуйте! ведь от них уже с которых пор несвежей провизией припахивает!

Но припахивает или нет, а они явились. До них одних своевременно дошел наш клич; они одни с полной готовностью прислушались к нему и, разумеется, как люди бывалые, прежде всего обратили внимание на то, нельзя ли в произнесенном нами хорошем слове "интересные сюжеты" сыскать?

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) и сыскали. На эти сюжетцы прямо указало им их прошлое. В старину, когда было в ходу слово «опора», они эксплуатировали в свою пользу «опору», теперь, когда вместо «опоры» произнесено слово «содействие», они не прочь процвести и под сению «содействия». Тем более что в исконном дракинском толковом словаре слово это объясняется так: "Содействовать, то есть наяривать, жарить, хватать за шиворот, гнуть в бараний рог". Все это Никанор в качестве «опоры» давным-давно проделывал и даже только об одном этом и по сей день не забыл. Не естественно ли, после того, что в голове его созревает мысль: да кто же лучше меня всю эту процедуру выполнит?

И вот непорченные, но припахивающие содействователи выползают из своих нор и сползаются в Петербург. Принохиваются, прислушиваются, наполняют вздором казенные и частные квартиры и даже на половых в трактирах наводят уныние.

– Такие это распостылые господа, – жаловался мне на днях один половой, – всех гостей у нас распугали. Придет, станет посеред комнаты, жует бутерброд и все в одно место глядит... Ну, промежду гостей, известно, тревога: кто таков и по какой причине?

Да ведь это и естественно. Люди ходят в трактиры для того, чтоб пить, есть и по душе разговоры вести, а совсем не для того, чтобы доставлять кандидатам в сведущие люди "отголоски трактирных мнений" по интересующим их вопросам.

Однако ж делать нечего. Уж если мы кликнули клич, то обязаны и ответы выслушать. И вот начинается процессия содействовательских показаний.

Первым выступает, разумеется, Иванов, ибо где же нет Иванова? – в каждой комнате он есть! Выходя из той мысли, что "потрясение основ" спрятано у кого-нибудь в кармане, он предлагает всех поголовно обыскать. Даже свои собственные карманы выворачивает, сапоги вызывает с себя снять: вот, мол, как должен поступать всякий, кто за себя не боится! А за себя лично он действительно не боится, потому что, с одной стороны, душа у него чиста, как сейчас вычищенная выгребная яма, а с другой стороны, она же до краев наполнена всякими готовностями, как яма, сто лет не чищенная. Следом за Ивановым появляется Федоров – этот когда-то был высечен своими крепостными людьми и никак не может об этом забыть. Понятно, что он утверждает, что только власть сильная и вооруженная карами может удержать Россию на краю пропасти. За Федоровым выходит Пафнутьев (тоже был своевременно высечен) с обширной запиской в руках, в которой касается вещей знаемых (с иронией) и незнаемых (с упованием на милость божию), и затем, в виде скромного вывода, предлагает: ради спасения общества гнилое и либеральничающее чиновничество упразднить, а вместо него учредить пафнутьевское «средостение», споспешествуемое дракинским "оздоровлением корней". Пафнутьева сменяет захудавший дворянин Кубышкин, который просит немногого: дабы, до приведения в порядок мыслей, немедленно все учебные заведения закрыть! И в заключение совершенно неожиданно прибавляет: "Изложив все сие по сущей совести, повергаю себя и свою семью, из собственных малолетних детей и сирот-племянниц состоящую, на усмотрение: хотя бы места станového удостоиться, то и сим предволен буду". За Кубышкиным идут разных шерстей ублюдки. Во-первых, маркиз Шассе-Круазе, которого только в прошлом году княгиня Букиазба воссоединила в лоно православной церкви и который теперь уж жалуется, что, живя в курском имении ("приданое жены моей, воспитанницы княгини Букиазба"), только он с семьей да с гувернанткой-немкой и посещает храм божий; "народ же, под влиянием сельского учителя" и т. д. Во-вторых, барон Ферфлюхтер, который ни на что особенно не сетует, а только излагает факты. И в заключение не без язвительности спрашивает: отчего ничего подобного до сих пор не было в лояльном Остзейском крае, "но будет непременно и там, ежели не смиритъ своеволие латышей". И наконец князь Мирза-Мамай-Тохтамышев, который, будучи честнее прочих, говорит кратко: ннэпаннэмаю!

Вот вам вся процедура «содействия». Смысл ее однообразен: наяривай, жарь, гни в бараний рог! Да ведь мы всё это слышали и переслышали! – восклицаете вы. А чего же, однако, вы ожидали? Посмотрите-ка на Дракина: он, еще ничего не видя, уже засучивает рукава и налаживает кулаки.

Жарь! – вот извечный секрет непочатых, но уже припахивающих тлением людей, секрет, в котором замыкается и идея возмездия, и идея поучения. Всех жарь, а в том числе и их, прохвостов, ибо они и своей собственной шкуры не жалеют. Что такое шкура! одну спустишь – нарастет другая! Эта уверенность до такой степени

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) открывает их, что они подставляют свои спины почти играючи...

Но мы, кликавшие клич, что же мы-то будем с этими «содействиями» делать? Начнем ли воздвигать, с помощью их, величественное здание общественного благоустройства или прямо их в помойную яму свалим? По-моему, в помойную яму – ближе. А потом что? Подумайте, ведь нам и после все-таки надобно жить!

В этом-то и заключается горечь современного положения, что жить обязательно. А как жить – ответа на этот вопрос ниоткуда нет. Чиновники только предписания посылают да донесений ждут; а излюбленные люди – изрекают истрепанные дореформенные слова да рукава засучивают...

Но вы, пожалуй, возразите: да неужели же в плотной массе Ивановых не найдется таких, которым небезызвестны и другого рода слова? – Не спору; вероятно, где-нибудь такие Ивановы и водятся, так ведь это, мой друг, Ивановы неблагонамеренные, которых содействие, уж по заведенному исстари порядку, предполагается несвоевременным. Каким же образом они найдутся, коль скоро их не ищут?

Тетенька! да сознайтесь же, наконец! ведь и мы с вами, когда кликали клич, разве мы имели в виду этих Ивановых? разве мы не тревожились, не молились по секрету: ах, кабы бог пронес! ах, кабы эти беспокойные люди пропустили наш клич мимо ушей! И вот бог услышал наше моление: никто из «беспокойных» не явился, а мы лицемерим, притворяемся огорченными! Говорим: вот вам ваш Чацкий, ваш Евгений Онегин, ваши Рудин, Инсаров! Вот как критиковать да на смех поднимать – так они тут как тут, так и жужжат, а как трезвенное слово сказать приходится – тут их и нет!

Заметьте раз навсегда: когда кличут клич, то всегда из нор выползают только те Ивановы, которые нужны, а те, которые не нужны – остаются в норах и трепещут. Это само собою так делается, ибо таков естественный закон благоустройства и благочиния. И надо прибавить, закон очень целесообразный, потому что он устраняет разномыслие и подтверждает единение, с присовокуплением (в небольшой дозе) «средостения» и (больше чем нужно) "оздоровления корней". Благодаря этому закону трепещущие Ивановы безмолвствуют, а дерзающие – славословят. И затем, так как только одни славословия и слышны, то совокупность их и составляет то «содействие», которым мы обязываемся удовольствоваться.

Очень возможно, однако ж, что это объяснение покажется вам ничего не объясняющим... "Ведь это наконец какая-то необъяснимая путаница! – воскликнете вы, – мы кличем клич и потом оказываемся в какой-то нелепой стачке с Пафнутьевыми и Дракиными!" Ах, голубушка, да разве я не понимаю, что объяснения мои и запутанны и загадочны! Но что же мне делать, коли нет у меня других? У меня ли у одного подлинных речей нет или у всех вообще – я даже и этого объяснить не могу. Не знаю. Ничего я не знаю, кроме одного: что надобно жить...

Одним только утешаюсь: лет через тридцать я всю эту историю, во всех подробностях, на страницах "Русской старины" прочту. Я-то, впрочем, пожалуй, и не успею прочитать, так все равно дети прочтут. Только любопытно, насколько они поймут ее и с какой точки зрения она интересовать их будет?

\* \* \*

Впрочем, дети еще туда-сюда: для них устные рассказы старожиллов подспорьем послужат; но внуки – те положительно ничему в этой истории не поверят. Просто скажут: ничего в этой чепухе интересного нет.

Сообразите же теперь, какое горькое чувство, ввиду такой перспективы, должен испытывать современный бытописатель этих волшебств и загадочных превращений. Уже современники читают его не иначе, как угадывая смысл и цель его писаний и комментируя и то и другое каждый по-своему; детям же и внукам и подавно без комментариев шагу ступить будет нельзя. Все в этих писаниях будет им казаться невозможным и неестественным, да и самый бытописатель представится человеком назойливым и без нужды неясным. Кому какое дело до того, что описываемая смута понятий и действий разливала кругом страдание, что она останавливала естественный ход жизни и что, стало быть, равнодушно присутствовать при ней представлялось не только неправильным, но даже постыдным? И что при сем ясность, яко несвоевременная и т. д. Не легче ли разрешить все эти вопросы так: вот странный человек! всю жизнь описывал чепуху да еще предлагает нам читать свои

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)  
описания... с комментариями!

Вот когда вы войдете в кожу такого бытописателя, тогда вы и поймете, какая злая ирония звучит в этих немногих словах: надо жить!

\* \* \*

Представьте себе, тетенька, кого я на днях встретил? – Ноздрева! Помните Ноздрева, с которым мы когда-то у Гоголя познакомились? Не пугайтесь, однако ж; это далеко уж не тот буйан Ноздрев, которого мы знавали в цветущую пору молодости, но солидный, хотя и прогоревший консерватор. Штука в том, что ему посчастливилось сделать какой-то удивительно удачный донос, который сначала обратил на себя внимание охранительной русской прессы, а потом дальше да шире – и вдруг с ним совершился спасительный переворот! Теперь он пьет только померанцевку, говорит только трезвенные слова, трактиры посещает исключительно ради внутренней политики, и обе бакенбарды содержит одинаковой длины и одинаковой пушистости. И вдобавок, не дожидаясь, чтоб другие назвали его патриотом, сам себя называет таковым. Словом сказать, стоит на высоте положения и нимало этим не отягощается.

Встретились мы с ним на Невском, и, признаюсь, первым моим движением было бежать. Однако вижу, что человек совсем-таки переродился – делать нечего, подошел. Прежде всего, разумеется, старину помянули. Вспомнили, как мы с ним да с Чичиковым (вот истинный-то охранитель был! и как бы его сердце теперь радовалось!) поросенка на постоялом дворе ели; потом перешли к Мижугеву.

Ах, тетенька, какое это волшебное время было! Вообразите, тогда можно было поросенка под хреном на постоялом дворе достать! А если верить старику Державину, то можно было видеть мужика, который у всех на глазах "ел добры щи и пиво пил"! Ведь это, по-нынешнему, все равно, что шпаги глотать! Где это было? в какой губернии? в каком уезде? и кто в то время становым приставом в том месте был? Признаюсь, у меня даже голос дрогнул при мысли, что все эти факты прошли у нас перед глазами, что они возникли и осуществились без малейшего участия земства, единственно по магию волшебника-станового – и ничего-то мы своевременно не заметили!

Много тогда таких волшебников было, а нынче и вдвое против того больше стало. Но какие волшебники были искуснее, тогдашние или нынешние, – этого сказать не умею. Кажется, впрочем, что в обоих случаях вернее воскликнуть: как только мать – сыра земля носит!

Разумеется, Ноздрев сейчас же увлек меня в трактир, и там, за порцией селянки, мы разговорились. Увы! ряды стариков ужасно как поредели! Чичиков, Плюшкин, Петух, генерал Бетрищев, Костанжогло, отец и благодетель города полицеймейстер, прокурор, председатель гражданской палаты, дама просто приятная и дама приятная во всех отношениях – все это примерло и свезено на кладбище. Остались в живых лишь немногие. Собакевич, который, по смерти феодулии Ивановны, воспользовался ее именем и женился на Коробочке, с тем, чтоб и ее именем воспользоваться. Супруги Маниловы, которые живут теперь в Кобеляках, в ужаснейшей нищете, потому что фемистоклюс промотал все имение и теперь сам служит в швейцарах в трактире Лопашова. Губернатор, который вышивал по канве и впоследствии блеснул было на минуту на горизонте, но чего-то не предусмотрел и был за это уволен. Теперь он живет в Риме, получая присвоенное содержание и ежегодно поднося папе римскому туфли своей собственной работы *de la part d'un homme d'etat russe*. [27] И, наконец, Мижугев, который служит мировым судьей и ужасно страдает, потому что жена его (тетенька! представьте себе даму, которая на карточках пишет: рожденная Ноздрева!) открыто живет с чичиковским Петрушкой, состоящим при Мижугеве в качестве письмоводителя.

– Ну, а вы-то сами как... служите? – прервал я его.

– Покуда состою председателем земской управы, – ответил он скромно, – а дальше что бог даст!

– В Петербург присмотреться приехали?

– Да, хотелось бы... посодействовать...

И он изложил мне свою теорию "содействия"...

А знаете ли, голубушка, ведь Ноздрев – то умный! Покуда Пафнутьевы, Дракины да Ивановы одно и то же долбят: наяривай! жарь! – он очень скромно, но твердо и с достоинством говорит: как угодно! Конечно, с точки зрения практических последствий, нельзя наверное определить, насколько подобное содействие может счесться плодотворным, но, во всяком случае, в смысле карьеры, со стороны Ноздрева это прием удивительно ловкий.

Ничто так не располагает нас к человеку, как выражаемое им нам доверие. Иногда мы и сами понимаем, что это доверие нимало не выводит нас из затруднения и ровно никаких указаний не дает, но все-таки не можем не сохранить доброго воспоминания о характере доверяющего.

– Так как же, старик? По-твоему, "как угодно"?

– Как угодно, вашество! Ах, вашество!

– Ну-ну-ну, старик, успокойся! будем иметь в виду! Вот, господа! добрые-то всегда так говорят!

И впоследствии, когда где-нибудь откроется вакансия смотрителя, эскутера или эконома, память невольно напоминает нам о добром старике, который, не мудрствуя лукаво, принес нам свое ноздревское сердце и заветную думу всей своей жизни выразил в одном восклицании: как угодно!

– Определить Ноздрева... этот не выдаст!

А Ноздрев, с тех пор, как удачный донос сделал, только о том и мечтает, как бы местечко смотрителя или эконома получить, особливо ежели при сем и должность казначея в одном лице сопрягается. Получив эту должность, он годик-другой будет оправдывать доверие, а потом цапнет куш тысяч в триста, да и спрячет его в потаенном месте. Разумеется, его куда следует ушлют, а он там будет жить да поживать, да процентики получать.

Вот он нынче каков стал: всё только солидные мысли на уме. Сибири не боится, об казне говорит: у казны-матушки денег много, и вдобавок сам себя патриотом называет. И физиономия у него сделалась такая, что не всякий сразу разберет, приложимо ли к ней "оскорбление действием" или не приложимо.

Основания ноздревской теории содействия очень просты. По мнению его, такие слова, как: наяривай, жарь, гни в бараний рог! – имеют чересчур императивный характер и в этом смысле могут представлять хотя благонамеренную, но очень серьезную опасность. Сами по себе взятые, они заслуживают поощрения и похвалы, но ежели их начнут выкрикивать поголовно все Пафнутьевы, то из совокупности этих криков образуется вой, который будет свидетельствовать уже не о содействии, а о разнузданности страстей. Да притом же, наяривание и не всегда осуществимо. Иногда оно признается неудобным ввиду некоторых деликатных вейний; иногда для подобной операции не имеется достаточно опытных исполнителей; иногда исполнители и нашлись бы, но содержание их потребует новых расходов... А между тем «содействователи» сбились в косяк и воют. Ведь этак, пожалуй, в самих «содействователей» придется палить, лишь бы из затруднения выйти!

Ноздрев доказывал даже – и небезосновательно, – что все вообще глаголы, употребляемые в повелительном наклонении, имеют революционный характер. Они всегда декретируют целую систему, и притом декретируют устами таких людей, которые до тех пор ели из одного корыта с поросятами. Понимают ли эти люди значение произносимого ими возгласа, могут ли они уяснить себе, сколько непредвиденных расходов потребует его осуществление, – это более чем сомнительно. По крайней мере, Ноздрев думает, – и я в этом вполне доверяю его опытности, – что они потому только выкрикивают: наяривай, что вспомнили, как они то же самое слово провозглашали, *pro domo sua*, [28] на конюшнях и псарнях. Но они решительно не понимают, что требование, выраженное в форме столь резкой и даже неучливой, должно стеснить свободу воздействия, и потому отнюдь не может быть терпимым. Ибо стоит лишь стать на покатошь, а там оно уж и само собой под гору пойдет. Сначала воют: наяривай! а потом, пожалуй, начнут выть: довольно наяривать! будет! Понятно, что подобная перспектива не может не тревожить таких опытных знатоков человеческого сердца, как Ноздрев.

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) Словом сказать, развивая свою теорию, Ноздрев обнаружил и недюжинный ум, и замечательную чуткость в понимании средств к достижению желаемого. Так что ежели судить с точки зрения "лишь бы понравиться" (самая это отличнейшая точка, милая тетенька!), то лучше теории и выдумать нельзя.

Но я все-таки попытался сделать некоторые возражения.

– Ноздрев! – сказал я ему. – Я уважаю вас, как человека искренно убежденного. Но именно потому, что я уважаю вас, я и решаюсь высказать, что с некоторыми вашими положениями согласиться не могу. Я уступаю вам, что, в смысле свободы действия, выражение "как угодно" не оставляет желать ничего лучшего, но сознайтесь, однако ж, что действительного «содействия» все-таки из него не выжмешь. Коли хотите, это почтительное подтверждение накопленной веками мудрости, это прекрасный порыв благодарного чувства – но и только. Ведь и для "свободы действия" необходимо какое-нибудь содержание, так как в противном случае она перейдет в разгул, а от разгула до потрясения основ рукой подать. Это до такой степени чувствуется всеми, что именно поиски за содержанием и составляют характеристическую черту современности. Допустим, что слово «наяривай» не стоит выеденного яйца, но все-таки оно нечто дает. Допустим, что оно невежливо по форме и глупо по содержанию, но и это следует приписать не предвзятости намерения, а незаконченности наших бытовых форм, невыработанности обывательской фразеологии и недостатку воображения. Нельзя, однако ж, за это одно подвергать простодушных людей расточению, яко революционеров. Неполитично и несогласно с справедливостью отталкивать от себя детей природы, хотя бы последние, по незнанию орфографии и знаков препинания, и допустили некоторые невежества. Пусть лучше в воздухе нехорошо попахнет, нежели огорчать невинных людей, которые чем богаты, тем и рады. Ибо ежели мы таковых от себя отженем, то на ком же будем осуществлять опыты «средостения» и с кем предпримем труд "оздоровления корней"? Ах, Ноздрев, Ноздрев! давно ли вы сами стояли с прочими поросятами у корыта и кричали: наяривай! а вот теперь, как получили надежду добраться до яслей, то мечтаете, что оттуда горизонты увидите! Ничего вы, мой друг, ниоткуда не увидите, кроме фиги, которую и прочие фиговидцы видят. И помяните мое слово...

Но, дойдя до этих пределов, я вдруг сообразил, что произношу защитительную речь в пользу наяривательного содействия. И, как обыкновенно в этих случаях бывает, начал прислушиваться, я ли это говорю или кто другой, вот хоть бы этот половой, который, прижав под мышки салфетку, так и ест нас глазами. К счастью, Ноздрев сразу понял меня. Он был, видимо, взволнован моими доводами и дружески протягивал мне обе руки.

– Вы победили меня! – сказал он. – Но мне кажется, что и я не совсем неправ. Во всяком случае, выйти из этого затруднения довольно легко. Стоит только сблизить обе формулы и составить из них одну: "наяривай... а, впрочем, как угодно!" И все будет в порядке.

Нет, как хотите, а он умный!

\* \* \*

Вообще нынче содействия в ходу, и между ними много таких, о которых даже говорить стыдно. Все нынче как-то врозь пошло, все норовит, под видом содействия, междоусобие произвести. И у всех при этом один двигатель: карьера. Может быть, я подробнее напишу вам об этом явлении, но, может быть, и совсем не напишу. Всяко может случиться. В последнем случае придется опять возложить надежду на "Русскую старину"... через тридцать лет. Но как невыносимо обязательное безмолвие ввиду этой нелепой суеты – этого я даже выразить вам не могу...

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ  
Милая тетенька.

Все это время я был необыкновенно расстроен. Легкомысленные приятели до того надоели своими жалобами, что просто хоть дома не сказывайся... Положим, что время у нас стоит чересчур уж серьезное; но ежели это так, то, по мнению моему, надобно и относиться к нему с такою же серьезностью, а не напрашиваться на недоразумения. А главное, я-то тут при чем?.. Впрочем, судите сами.

Приходит один.

– Представь, какая штука со мною случилась! Сажусь я сегодня у Покрова на конку,  
Страница 46

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru вынимаю газету, читаю. Только газету-то, должно быть, не ту, какую на конке читать приличествует... И вдруг, слышу монолог: "Такое, можно сказать, время, а господа такие, можно сказать, газеты читают!" Молчу. Однако чувствую, что соседи около меня начинают ежиться. Монолог продолжается. "А в этих газетах – вот в этих – именно самый яд-то и заключается. Где первоначало всему? – в газете! где источник-корень зла? – в газете! А господа вместо того, чтобы подействовать: вот, мол, господин газетчик, как мы тебя тонко понимаем! – а они, между прочим, даже других в соблазн вводят". И по мере того как монолог развивается, соседи всё пуще и пуще ежатся; одна дама встает и просится выйти; я сам начинаю сознавать, что молчать больше нельзя. Осматриваюсь: наискосок сидит старичок. В потертом пальто, в ваточном картузе, нос красный. Ясно, что был в питейном у Покрова и теперь едет в питейный на Сенную. – Вы это про меня, что ли? – спрашиваю. "Вообще про господ либералов"... – Ну? – "Помилуйте, господин, да неужто ж свои чувства выразить нельзя? Да я, коли у меня чувства правильные..." Кабы я был умен, надо бы мне сейчас уйти, а я остался, начал калякать. Дальше да больше – история. Не успели до Юсупова сада доехать, как уж всем нам оставался один исход: участок... Какова штука! вот уж именно нелегкая понесла по конке ездить!

– Чего же ты жалуешься, однако! ведь в участке, конечно, тебя рассудили, оправдали и выпустили?

– Скажите на милость! да разве я в участок ехал? ведь я по своим делам ехал, а вместо того в участке целое утро провел!

– Послушай! зачем же ты ехал? разве не мог ты дома посидеть?

– Конечно, мог бы, да ведь думается...

– А думается, так не ропщи. Не умел сидеть дома – посиди в участке.

Приходит другой.

– Вот так штука со мной сегодня была! Зашел я в трактир закусить, взял кусок кулебяки и спросил рюмку джина. И вдруг сбоку голос: "А наше отечественное, русское... стало быть, презираете?" Оглядываюсь, вижу: стоит «мерзавец». Рожа опухшая, глаза налитые, на одной скуле ушибленное пятно, на другой – будет таковое к вечеру; голос с перепоею двоится. Однако покуда молчу. А «мерзавец» между тем продолжает: "Нынче все так: пропаганды проповедуют да иностранные образцы вводить хотят, а позвольте узнать, где корень-причина зла?" Кабы я умен был, мне бы заплатить, да и удрать, а я, вместо того, рассердился. – Ты это мне, что ли, пьяное рыло, говоришь? – Смотрю, а в буфетную уж штук двадцать женихов из Ножовой линии напоззло. Гогочут. И буфетчик тоже, не то чтоб смеется, а как-то стыдливо опускает глаза, когда в мою сторону смотрит. "Однако, господин, – это «мерзавец» опять говорит, – ежели всякий будет пьяным рылом называть, а я между тем об себе понимаю, что чувства мои правильные..." Словом сказать, протокол. Все женихи в один голос показали: "Господин Расплюев правильные чувства выражали, а господин (имярек) его за это "пьяным рылом" обозвали". Написали, подписали и сегодня же этот протокол к мировому судье отправляют...

– И поделом. Зачем в трактир ходишь! – невольно вырвалось у меня.

– И сам, братец, теперь вижу: черт меня дергал в трактир ходить! Водка – дома есть, а ежели кулебяки нет, так ведь и селедкой закусить можно!

– Еще бы! Но, впрочем, позволь, душа моя! из-за чего ты, однако, так уж тревожишься! Ведь мировой судья, наверное, внемлет, и рано или поздно, а правда все-таки воссияет...

– Чудак ты! да разве я для того в трактир ходил, чтоб правда воссияла? Положим, однако ж, что у участкового мирового судьи правда и воссияет, – а что, ежели Расплюев дело в мировой съезд перенесет? А ежели и там правда воссияет, а он возьмет да кассационную жалобу настроит? Сколько времени судиться-то придется?

Стали мы рассчитывать. Вышло, что ежели поискуснее кассационные поводы подбирать да, не балуячи противную сторону, сроки наблюдать, то годика на четыре с хвостиком хватит. Но когда мы вспомнили, что в прежних судах подобное дело наверное протянулось бы лет девяносто, то должны были согласиться, что успех

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru все-таки большой.

И точно: у мирового судьи судоговорение уж было, и тот моего друга, ввиду единогласных свидетельских показаний, на шесть дней под арест приговорил. А приятель, вместо того, чтоб скромненько свои шесть дней высидеть, взял да нагрубил. И об этом уже сообщено прокурору, а прокурор, милая тетенька, будет настаивать, чтоб его на каторгу сослали. А у него жена, дети. И все оттого, что в трактир, не имея "правильных чувств", пошел!

Приходит третий.

– Ах, голубчик, какая со мной вчера штука случилась! Сажу я в «Пуританах», а рядом со мной в кресле мужчина сидит. Доходит дело до дуэта... помните, бас с баритоном во все горло кричат: loyalta, loyalta![29] Испокон веку принято в этом месте хлопать, и вчера стали хлопать и кричать bis!.. И я грешным делом хлопнул. Только и невдомек мне, что сосед, покуда я хлопал да bis кричал, как-то строго на меня посмотрел. Ну, повторили дуэт, а я опять кричу: bis! bis! Он и не выдержал: "понравилось?" – говорит. Я туда-сюда; вспомнил, что loyalta-то вместо liberta[30] поставлено – и рад бы хлопанцы-то свои назад взять, ан нет: ау, брат! не воротишь! Наступил антракт, вижу, мужчина мой в проходе остановился, и около него кучка собралась. Поговорят, поговорят, да на меня глазами и вскинут. Не то чтоб очень строго, а вроде как бы хотят сказать: ах, молодой человек! молодой человек! Потом, вижу, начинает мой мужчина пробираться к выходу и вдруг... исчез! Я за ним, вхожу в коридор: одевается, хочет уезжать. Увидел меня: "вам, говорит, молодой человек, необходимо благой совет дать: ежели вы в публичном месте находитесь, то ведите себя скромно и не оскорбляйте чувств людей, кои, по своему положению..." Сказал, и был таков. Я было за ним, но тут уж полицейский вступился. "Позвольте, говорит, и мне вам благой совет подать: не утруждайте его превосходительства!" Так я и остался... Ну, скажи на милость, на кой черт мне эти «Пуритане» понадобились?

– Это уж, братец, твое дело. Я и сам говорю: вместо того, чтоб дома скромненько сидеть, вы все, точно сбесились, на неприятности лезете! Но не об том речь. Узнал ли ты, по крайней мере, кто этот мужчина был?

– Да бесшабашный советник Дыба, сказывали...

– Дыба! ах, да ведь я с ним в прошлом году в Эмсе преприятно время провел! на Бедерлей вместе лазали, в Линденбах, бывало, придем, молока спросим, и Лизхен... А уж какая она, к черту, Лизхен? поясница в три обхвата! Всякий раз, бывало, как она этой поясницей вильнет, Дыба молвит: вот когда я титулярным советником был... И крякнет.

– Ах сделай милость, выручи!

– Да ведь он и фамилии твоей не знает?

– То-то, что знает. На беду, капельдинер человек знакомый попался.

– Гм... стало быть, Дыба расспрашивал?

– В том-то и дело, что расспрашивал. И когда ему мою фамилию назвали, то он оттопырил губы и произнес: а! это тот самый, который... Нет, ты уж выручи!

Делать нечего, пришлось выручать. На другое утро, часу в десятом, направился к Дыбе. Принял, хотя несколько как бы удивился. Живет хорошо. Квартира холостая: невелика, но приличная. Чай с булками пьет и молодую кухарку нанимает. Но когда получит по службе желаемое повышение (он было перестал надеяться, но теперь опять возгорел), то будет нанимать повара, а кухарку за курьера замуж выдаст. И тогда он, вероятно, меня уж не примет.

– А! господин сопацент! помню! помню! какими судьбами?

– Да вот, вашество, поблагодарить пришел... Внимание ваше... Бедерлей... Линденбах... Так мне тогда лестно было!

– Что ж, очень рад! очень рад! Что от меня зависело... весьма, весьма приятно время провели! Только, знаете, нынче неприятности-то уж не те, что прежде были...



Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)

– Ах, вашество! да неужто ж я этого не понимаю! неужто я не соображаю! нынешние ли приятности или прежние! Прежние, можно сказать, были только предвкушением, а нынешние...

– То-то, то-то. Так вы и соображайте свои поступки. Прежние приятности – сами по себе, а нынешние – преимущественно...

Ждал я, что он и мне велит чаю с булками подать, но он не велел, а только халат слегка запахнул. Тем не менее дело у нас шло настолько гладко, что он повел меня квартиру показывать: однако ж ни кухни, ни кухаркиной комнаты не показал. Но когда я приступил к изложению действительной причины моего визита, то он нахмурился. Сказал, что пора серьезно на современное направление умов взглянуть; что мы всё либеральничали, а теперь вот спрашиваем себя: где мы? и куда мы идем? И знаете ли что, милая тетенька? – мне даже показалось, что, говоря о либералах, он как будто бы намекал на меня. Потом сказал, что он, к сожалению, уж кого следует предупредить, и теперь неловко... И только тогда, когда я неопровержимыми доводами доказал, что спасти невинно павшего никогда для великодушного сердца не поздно, – только тогда он согласился "это дело" оставить.

Можете себе представить радость моего приятеля, когда я ему объявил об результате моего предстательства! Во всяком случае, я теперь уверен, что впредь он в театр ни ногой; я же буду иметь в нем человека, который и в огонь и в воду за меня готов! Так что ежели вам денег понадобится – только черкните: я у него выпрошу.

Приходит четвертый.

– Вообрази, какая со мной штука случилась! Пошел я вчера, накануне Варварина дня – жена именинница, – ко всеобщей. Только стою и молюсь...

Приходит пятый.

– Вот так штука! Еду я сегодня на извозчике...

Приходит шестой.

– Нет, да ты послушай, какая со мной штука случилась! Прихожу я сегодня в Милютины лавки, спрашиваю балыка...

Приходит седьмой.

– Коли хочешь знать, какие штуки на свете творятся, так слушай. Гуляю я сегодня по Владимирской и только что поравнялся с церковью...

Приходит восьмой; но этот ничего не говорит, а только глазами хлопает.

– Штука! – наконец восклицает он, переводя дух.

Словом сказать, образовалась целая теория вколачивания «штуки» в человеческое существование. На основании этой теории, если бы все эти люди не заходили в трактир, не садились бы на конку, не гуляли бы по Владимирской, не ездили бы на извозчике, а оставались бы дома, лежа пупком вверх и читая "Nana", – то были бы благополучны. Но так как они позволили себе сесть на конку, зайти в трактир, гулять по Владимирской и т. д., то получили за сие в возмездие "штуку".

"Штука" – сама по себе вещь не мудрая, но замечательная тем, что обыкновенно ее вколачивает «мерзавец». Вколачивает, и называет это вколачиванье «содействием». Тот самый «мерзавец», которого все сознают таковым, но от которого никак не могут отделаться, потому что он, дескать, на правильной стезе стоит. Я, однако ж, позволяю себе рассуждать так: мерзавец есть мерзавец – и более ничего. А к тому присовокупляю, что ежели вскоре не последует умаления мерзавцев, то они по горло хлопот наделают. Ибо не в том дело, что они либералов на рюмке джина подлавливают, а в том, что повсюду, во всех щелях и слоях, их мерзкие дела бессмысленнейшую сумятицу заводят.

Как бы то ни было, но ужасно меня эти «штуки» огорчили. Только что начал было на веселый лад мысли настраивать – глядь, ан тут целый ряд «штук». Хотел было

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) крикнуть: да сидите вы дома! но потом сообразил: как же, однако, все дома сидеть? У иного дела есть, а иному и погулять хочется... Так и не сказал ничего. Пускай каждый рискует, коли охота есть, и пускай за это узнает, в чем «штука» состоит!

А мысли у меня тем временем расстроились. С *allegro con brio*[31] на *andante cantabile*[32] перешли...

\* \* \*

Вот наше житьишко какво. Не знаешь, какой ногой ступить, какое слово молвить, какой жест сделать – везде тебя «мерзавец» подстережет. И вся эта бесшабашная смесь глупости, распутства и предательства идет навстречу под покровом «содействия» и во имя его безнаказанно отравляет человеческое существование. Ябеда, которую мы некогда звали в обособленном состоянии (и даже в этом виде она никогда не казалась нам достойнолюбною), обмирщилась, сделалась достоянием первого встречного добровольца.

Не правда ли, какая поразительная картина нравов? Да, даже для людей, выдавших на своем веку виды, она кажется поразительной и неожиданной. Может быть, в сущности, она и не поразительнее картин старого времени, с которыми мы ее сравниваем, однако ведь надо же принять во внимание, что время-то идет да идет, а картины всё те же да те же остаются. Вот эта-то мысль именно и донимает, что самое время как будто утратило всякую власть над нами. По крайней мере, мне лично по временам начинает казаться, что я стою у порога какой-то загадочной храмины, на дверях которой написано: ГАЛИМАТЬЯ. И стою я у этих дверей, как прикованный, и не могу отойти от них, хотя оттуда так и обдает меня гнилым позором взаимной травли и междоусобия. Там, за этими дверьми, мечутся обезумевшие от злобы сонмища добровольцев-соглядатаев, пугая друг друга фантастическими страхами, стараясь что-то понять и ничего не понимая, усиливаясь отыскать какую-то мудреную комбинацию, в которой они могли бы утопить гнетущую их панику, и ничего не обретая. Злые сердцем, нищие духом, жестокие, но безрасудные, они сознают только требования своего темперамента, но не могут выявить ни объекта своих ненавистей, ни способов отмщения. Все в этом соглядатайственном мире загадочно: и люди, и действия. Люди – это те люди-камни, которые когда-то сеял Девкалион и которые, назло волшебству, как были камнями, так и остались ими. Действия этих людей – каменные осколки, неведомо откуда брошенные, неведомо куда и в кого направленные. В пустоте родилась их злоба, в пустоте она и потонет. Но – увь! – не потонет смута, которую ее бессмысленное шипение внедрило в человеческие сердца.

С некоторым страхом я спрашиваю себя: ужели же не исчезнут с лица земли эти пустомысленные риторы, эти лицемерствующие фарисеи, все эти шипящие гады, которые с такою назойливою наглостью наполняют современную атмосферу миазмами смуты и мятежа? Шутка сказать, и до сих пор еще раздаются обвинения в «бреднях», а сколько уже лет минуло с тех пор, как эти бредни были да быльем поросли? Неужели мы с тех пор недостаточно измельчали и опшлели? Неужели мы мало кричали: не нужно широких задач! не нужно! давайте трезвенные слова говорить! Помилуйте! ведь уж не о «бреднях» идет в настоящее время речь – ах, что вы! – а о простом, простейшем житии, о самой скромной претензии на уверенность в завтрашнем дне. "Бредни"! – не помните ли, голубушка, в чем бишь они состоят? «Бредни»! да не то ли это самое, что несколько станových, квартальных и участковых поколений усиленно и неустанно вышибали из нас, в чаянии, что мы восчувствуем и пойдем вперед "в надежде славы и добра"? Так неужели же и после того мы не восчувствовали и продолжаем коснеть? – может ли это быть!!! Нет, это не так, это клевета. Мы до такой степени восчувствовали, что нигде, кроме навозной кучи, уж и не чаем обрести жемчужное зерно. Шиллеры, Байроны, Данты! вы, которые говорили человеку о свободе и напоминали ему о совести – да исчезнет самая память об вас! Мы до такой степени и так искренно ошалели, что если бы вы вновь появились в эту минуту, то мы, не обинуясь, причислили бы вас к лику "мошенников пера" и "разбойников печати". Вы не утешили бы, а испугали бы нас. "Ах, можно ли так говорить!", "а ну, как подслушает Расплюев!" – вот что услышали бы вы от наиболее доброжелательных из нас! И Расплюев непременно подслушал бы и пригласил бы вас в участок. А участок нашелся бы в затруднении, кого предпочесть: Расплюева Шиллеру или Шиллера Расплюеву. Не вы теперь нужны, а городовые. И не только на своих постах нужны городовые, но и в мире человеческой совести. Что же делать! проживем и с городовыми! Но пускай же судьба оставит нас одними ими и избавит от партикулярных шипений и трубных звуков, благодаря которым нет честного человека, который не чувствовал бы себя в тисках ябеды.

Что это отсутствие идеалов и бедность умственных и нравственных задач, эта низменность стремлений, заставляющая колебаться в выборе между Шиллером и городовым, очень существенно и горько отзовутся не только на настоящем, но и на будущем общества, – в этом не может быть ни малейшего сомнения. Время, пережитое в болоте кляуз, раздоров и подвохов, не пройдет безнаказанно ни в общем развитии жизни, ни перед судом истории. История не скажет, что это было пустое место, – такой приговор был бы слишком мягок и не согласен с правдою. Она назовет это время ямою, в которой кишели бесчисленные гадюки, источавшие яд, которого испарения полностью заразили всю атмосферу. Она засвидетельствует, что и последующие поколения бесконечно изнывали в борьбе с наследованной заразой и только ценою мучительных усилий выстрадали себе право положить основание делу человечности и любви.

Но допустим, что нам не к лицу задаваться задачами, в которых на первом плане стоит общество, и тем меньше к лицу угадывать приговоры истории. Допустим, что нашему разумению доступно только маленькое личное дело, дело тех разрозненных единиц, для которых потребность спокойствия и жизненных удобств составляет главный жизненный мотив. Что такое общество? что такое будущее? что такое история? – *Risum teneatis, amici!*[33] Ведь это именно те самые «бредни», о которых я столько раз уж упоминал и которые способны лишь извратить наши взгляды на задачи настоящего! – Пусть будет так. Но ведь и в этих разрозненных существованиях, и в этих мелких группах, на которые разбилась человеческая масса, – ведь и там уже царит бессмысленная распря, раздор и нравственное разложение.

Да, все это уже есть налицо. Взволновав и развратив общество, ябеда постепенно вторгается и в семью. Она грозит порвать завещанный преданием связующий элемент и, вместо него, посеять в сердцах одних – ненависть, в сердцах других – безнадежность и горе. На мой взгляд, это угроза очень серьезная, потому что ежели еще есть возможность, при помощи уличных перебежаний и домашних заповоров, скрыться от общества живых людей, то куда же скрыться от семьи? Семья – это «дом», это центр жизнедеятельности человека, это последнее убежище, в которое он обязательно возвращается отовсюду, куда бы ни призывали его профессия и долг. Далее этого убежища ему некуда идти. Посудите же, какое чувство он должен испытывать, если даже тут, в этой крепости, его подстерегают то же предательство, та же свара, от которых он едва-едва унес ноги на улице. И вдобавок, свара значительно обостренная, потому что никто не сумеет так всласть обострить всякую боль, как люди, отравляющие друг другу жизнь по-родственному.

Если б жертвами этих интимных предательств делались исключительно так называемые либералы, можно бы, пожалуй, примириться с этим. Можно бы даже сказать: сами либеральничали, сами кознодействовали, сами бредили – вот и добредились! Но оказывается, что ябеда слепа и капризна...

На днях я издали завидел на улице известного вам Удава[34] и просто-напросто побоялся подойти к нему: до такой степени он нынче глядит сумрачно и в то же время уныло. Очевидно, в нем происходит борьба, в которой попеременно то гнев берет верх, то скорбь. Но думаю, что в конце концов скорбь, даже в этом недоступном для скорбей сердце, останется победительницею.

У Удава было три сына. Один сын пропал, другой – попался, третий – остался цел и выражается о братьях: так им, подлецам, и надо! Удав предполагал, что под старость у него будут три утешения, а на поверку вышло одно. Да и относительно этого последнего утешения он начинает задумываться, подлинно ли оно утешение, а не египетская казнь.

В фактическом смысле, все это совершилось довольно быстро, но подготавливалось исподволь. Надо вам сказать, что Удав никогда не сознавал никакой связи между обществом и своей личностью. Каждодневно, утром, выходил он "из дома" на улицу, как в справочное место, единственно для совершения обычных деловых подвигов, и, совершив что следует, вновь возвращался «домой». Возвратившись, надевал халат, говорил: теперь по мне хоть трава не расти! и требовал, чтоб его не задерживали с обедом. За обедом он рассказывал анекдоты из жизни графа Михаила Николаевича, после обеда часа два отдавал отдохновению, а за вечерним чаем произносил краткие поучения о том, какую и в каких случаях пользу для казны принести можно. И все ему внимали; дети поддакивали и ели отца глазами, жена говорила: зато и начальство папеньку награждало!

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

И вдруг Удав стал примечать, что стены его храмины начинают колебаться; что в них уже появляются бреши, в которые бесцеремонно врывается улица с ее смутю, кляузами, ябедою, клеветою.. Дети внимают ему рассеянню; жена хотя еще поддакивает, но без прежнего увлечения. И даже во взаимных отношениях членов семьи заметна какая-то натянутость. Некоторое время, впрочем, Удав крепился и как бы не верил самому себе. По-прежнему продолжал рассказывать анекдоты из жизни графа Михаила Николаевича, и ежели замечал в слушателях равнодушие, то, от времени до времени, покрикивал на них.

Но дальше дело начало усложняться. Однажды, возвратившись в храмину, Удав угадал сразу, что в ней свила себе гнездо тайна. Жена как будто в первый раз видит его, дети смотрят и на него, и друг на друга не то удивленно, не то пронзительно, словно испытывают. За обедом он вновь затянул было обычную песню о казенном интересе, но на первом же анекдоте голос его внезапно пресекся: он убедился, что никто ему не внимает. Тогда он вспомнил об «улице» и как-то инстинктивно дрогнул: он понял, что у всякого из его домочадцев лежит на душе своя собственная ненависть, которую он подхватил на улице и принес домой. И каждого эта ненависть охватила всецело, каждый разрабатывает ее особо, в своем собственном углу, за свой собственный счет...

С тех пор Удавова храмина погрузилась в мрак и наполнилась шипением. А наконец разразилась и история, разом лишившая его двух утешений...

И теперь Удав спрашивает себя: действительно ли он был прав, полагая, что между обществом и его личностью не существует никакой связи?

Быть может, вы скажете, что Удав и его семья ничего не доказывают. А я так, напротив, думаю, что именно такие-то личности и дают наиболее подходящие доказательства. Подумайте! ведь Удав не только никогда не скорбел о том, что ябеда грозит обществу разложением, но втайне даже радовался этой угрозе – и вдруг теперь тот же Удав убеждается, что общественная гангрена есть в то же время и его личная гангрена! Как хотите, но, по-моему, это очень важно. Удав – авторитет в своей сфере; а потому очень возможно, что и другой, на него глядя, задумается...

А таких семей, которые ябеда превратила в звериные берлоги, нынче развелось очень довольно. Улица, с неслыханною доселе наглостью, врывается в самые неприступные твердыни и, к удивлению, не встречает дружного отпора, как в бывалое время, а только производит раскол. Так что весь вопрос теперь в том, на чьей стороне останется окончательная победа: на стороне ли ябеды, которая вознамерилась весь мир обратить в пустыню, или на стороне остатков совести и стыда?

ПИСЬМО ОСЬМОЕ  
Милая тетенька.

Вы, конечно, беспокоитесь, не позабыл ли я о Варварином дне? – Нет, не забыл, и 4-го декабря, к 3 часам, по обычаю, отправился к бабеньке Варваре Петровне (которую я, впрочем, из учтивости называю тетенькой) на пирог. Старушка, слава богу, здорова и бодра, несмотря на то, что в сентябре ей минуло семьдесят восемь лет. Только в рассудке как будто повредилась, но к ней это даже идет. Хвалилась, что получила от вас поздравительное письмо и большую банку варенья, и удивлялась, зачем вы удалились в деревню, тогда как настоящее ваше место при дворе. Об Аракчееве, как и прежде, хранит благодарное воспоминание и повторила обычный рассказ о том, как в 1820 году она танцевала с ним манимаску. Но при этом призналась, что после манимаски у них состоялся роман, и не без гордости прибавила:

– И вот с тех пор доживаю свой век в девицах!

И действительно, еще недавно я собственными глазами видел документ, на котором она подписалась: "К сей закладной девица Варвара Мангушева руку приложила". И нотариус эту подпись засвидетельствовал – чего бы, кажется, вернее?

А между тем представьте себе, что я узнал – ведь у бабеньки-то сын после манимаски родился! И знаете ли, кто этот сын? – да вот тот самый Петруша Поселенцев, которого мы, лет пятнадцать тому назад, застали, как он ручку у ней

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) целовал! Помните, еще мы удивлялись, как это девушка шестидесяти трех лет рискует оставаться наедине с мужчиной, у которого косая сажень в плечах. А теперь оказывается, что мужчина-то наш родственник! да и Аракчеев тоже нам родственник! Вот так сюрприз! И живет Петруша в том же доме, где-то по черной лестнице, и каждодневно ходит к бабеньке обедать, когда гостей нет, а когда есть гости, то обедает в конурке у Авдотьюшки, которая, после эмансипации, из кофишенок произведена в камеристки.

Все это я узнал от дяденьки Григория Семеныча, который сообщил мне и другие секретные подробности. В молодости бабенька была очень романтична, и как только увидела Аракчеева, так тотчас же и влюбилась в него. Всего больше ей понравилось в нем, что он бороду очень чисто брил, а еще того пуще пленила идея военных поселений, с которою он тогда носился. "А впоследствии, сударыня, мы и настоящую каторгу учредим", прибавлял он, приводя ее в восхищение. Тем не менее, когда бабенька почувствовала, что мнимаска ей даром не прошла, то написала к Аракчееву письмо, в котором грозила утопиться, ежели он на ней не женится. Однако граф урезонил ее, доказав, что ему, как человеку одержимому, жениться не подобает и что ежели она и затем "не уймется", то он поступит с нею по всей строгости законов. В случае же раскаяния, обещал ее поддержать, а имеющего родиться сына (он даже помыслить не смел, чтоб от него могла родиться дочь – "разве бабу-ягу родите!", прибавлял он шутливо) куда следует определить. И действительно, как только последствия мнимаски осуществились, так он тотчас же выхлопотал бабеньке пенсию в три тысячи ассигнационных рублей "из калмыцкого капитала", а сына, назвав, в честь военных поселений, Поселенцевым, зачислил в кантонисты и потом, на одре смерти, выпросил, чтоб его, по достижении законных лет, определили в фельдъегерский корпус. Фельдъегерем Петруша служил лет десять и был произведен в прапорщики, но потом, за жестокое обращение с ямщиками, уволен и в настоящее время живет на бабенькином иждивении. Ему теперь под шестьдесят, но глуп он совершенно так, как бы в цвете лет. Ничего не делает, даже в дураки с бабенькой ленится играть, но знает фокус: возьмет рюмку с водкой, сначала водку выпьет, а потом рюмку съест. Этот фокус бабенька очень любит, но не часто может доставлять себе это удовольствие, потому что рюмки денег стоят, а денег у нее, по случаю возникшей переписки о сокращении выпуска кредитных знаков, маловато.

Так вот, голубушка, какие дела на свете бывают! Часто мы думаем: девушка да девушка – а на поверку выходит, что у этой девушки сын в фельдъегерях служит! Поневоле вспомнишь вашего старого сельского батюшку, как он, бывало, говаривал: что же после этого твои, человеке, предположения? и какую при сем жалкую роль играет высокоумный твой разум! Именно так.

Само собой разумеется, у бабеньки собрался, по случаю дня ангела, весь родственный синклит. Был тут и дяденька Григорий Семеныч, и кузина Надежда Гавриловна, а с ними: два поручика и один прапорщик – дети Надежды Гавриловны, два коллежских асессора, Сенечка и Павлуша – дети Григория Семеныча, да еще штук шесть кадетов, из которых часть – дети покойной кузины Марьи Гавриловны, а часть неизвестного происхождения. Из посторонних не позабыл Варварина дня только тайный советник Стрекоза, тот самый, который уцелел после аракчеевской катастрофы, за то, что оказался невинным. Но генерал Бритый не приехал, потому что накануне его похоронили.

И представьте себе, отчего он умер? – Все припоминал, кого он с вечера 30-го ноября 1825 года назначил кошками на завтра наказать, но, быв внезапно уволен от службы, не наказал? С лишком пятьдесят лет припоминал он эту подробность своей служебной карьеры и все никак не мог вспомнить, как вдруг 30-го прошлого ноября, ровно через пятьдесят шесть лет, солдат Аника, словно живой, так и глядит на него! "Кошек!" гаркнул Бритый, но не остерегся и захлебнулся собственной слюной. А через секунду уж лежал на полу мертвый...

Сначала, разумеется, предметом всех разговоров был Бритый. Бабенька очень уважала покойного и говорила, что теперь таких верных исполнителей предначертаний уже не сыщешь. Известно, что на Бритом лежала обязанность внедрять идею военных поселений посредством шпицрутенов, тогда как Стрекоза ту же самую идею внедрял при помощи допроса с пристрастием. Обе эти личности были фаворитами временщика. Даже суровый Аракчеев – и тот умилялся, видя их неумытное служение, и нередко (в особенности Бритого) гладил их по голове. Стрекоза и до сих пор без слез об этом вспомнить не может. Но бабенька, которую кузина Надежда Гавриловна по-французски называет un coeur d'or, [35] всегда отдавала

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru предпочтению Бритому, а Стрекозу недолюбливает и нередко даже называет его самого – предателем, а слезы его – крокодиловыми, и все за то, что он чересчур тщился доказать свою «невинность». Бритый, говорит она, прямо пал на колени и показал: все сие исполнял в точности, поколику находил оное своевременным и полезным, а Стрекоза – «вертелся». Впрочем, и Стрекозу она принимает дружески, потому что круг аракчеевцев с каждым годом убывает и в настоящее время имеет, кажется, только двух представителей: бабеньку и Стрекозу.

Так-то вот. Теперь убывают аракчеевцы, а потом будут убывать муравьевцы, а потом... Но не станем упреждать событий, а будем только памятовать, что еще старик Державин сказал:

А завтра – где ты, человек?

Когда покончили с Бритым, Стрекоза рассказал несколько истинных происшествий из практики своего патрона и в заключение произнес прочувствованное слово в похвалу аракчеевской «системе». Представьте себе, мой друг, так умно эта система была задумана, что все, которые в ее район попадали, друг за другом следили и обо всем слышанном и виденном доводили до сведения. Даже те, которые "не являлись к сему склонными" (выражение Стрекозы), – и те, с течением времени, увлекались в общий поток человеконенавистничества, отчасти потому, что их побуждало к тому желание отмщения, отчасти же потому, что их неуклонно подбодряли в этом направлении шпицрутенами. Так что известно было не только, кто что говорил, но и кто что ел, то есть установленную ли пищу или неуставленную, в горшке ли сваренную или в другом сосуде. И оттого все были тогда здоровы, потому что ели пищу настоящую, а за все прочее отвечала спина. Но, сверх того, Аракчеев, по мнению Стрекозы, был и в том отношении незабвенен, что подготавливал народ к восприятию коммунизма; шпицрутены же в этом случае предлагались совсем не как окончательный *modus vivendi*, но лишь как благовременное и целесообразное подспорье. Словом сказать, если б Аракчеев пожил еще некоторое время, то Россия давным-давно бы была сплошь покрыта фаланстерами, а мы находились бы наверху благополучия. И тогда потребность в шпицрутенах миновала бы сама собою.

Итак, вот какое будущее готовил Аракчеев России! Бесспорно, замыслы его были возвышенны и благородны, но не правда ли, как это странно, что ни одно благодеяние не воспринимается человечеством иначе, как с пособием шпицрутенов! По крайней мере, и бабенька, и Стрекоза твердо этому верили и одинаково утверждали, что человек без шпицрутенов все равно, что генерал без звезды или газета без руководящей статьи.

Затем, воздав хвалу прошлому, перешли к современности и очень хвалили. Стрекоза заявил, что в некоторых отношениях нынче даже лучше прежнего, потому что прежде нужна была аракчеевская несокрушимость, чтобы «систему» в общество внедрять, а нынче и без Аракчеева общество само ничуть не хуже систему выработало. А отсюда прямой вывод: что мы созрели.

– Нынче, сударыня, ежели два родных брата вместе находятся, и один из них не кричит "страх врагам!", так другой уж примечает. А на конках да в трактирах даже в полной мере чистота души требуется.

На что бабушка резонно отозвалась:

– И дельно. Не шатайся по конкам, а дома сиди. Чем дома худо? На улице и сырость, и холод, а дома всегда божья благодать. Да и вообще это не худо, что общество само себя проверить хочет... А то уж ни на что непохоже, как распустили!

От этих бабенькиных речей кадеты пришли в восторг и захлопали в ладоши. Но старшие поделились на партии. Коллежский ассессор Сенечка встал и, в знак восхищения, поцеловал у бабеньки ручку; его примеру последовали оба поручика, выразившись при этом: золотые вы, бабенька, слова сказали! Но коллежский ассессор Павлуша и прапорщик глядели хмуро. Дядя Григорий Семеныч тоже поморщился (он ведь у нас вольнодумец) и как-то гадливо посмотрел на Сенечку. Что же касается до кузины Надежды Гавриловны, то она, обращаясь к прапорщику, сказала:

– А ты отчего у бабеньки ручку не поцелуешь... бесчувственный!

На что прапорщик ответил:

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)  
– Вы, маменька, ничего не понимаете – оттого и говорите!

Словом сказать, произошла семейная сцена, длившаяся не более двух-трех минут, но, несмотря на свою внешнюю загадочность, до такой степени ясная для всех присутствующих, что у меня, например, сейчас же созрел в голове вопрос: который из двух коллежских ассессоров, Сенечка или Павлуша, будет раньше произведен в надворные советники?

Но не успел я порядком разрешить этот вопрос (он сложнее, нежели с первого взгляда казаться может), как бабенька неожиданно меня огорошила.

– Ну, а ты, либерал, как полагаешь? – обратилась она ко мне.

Поручики фыркнули и подмигнули коллежскому ассессору Сенечке, который беззвучно хихикнул. Стрекоза грустно покачал головой, как бы вопрошая себя, ужели и в храмину целомудренной болярыни успел заползти яд либерализма? А кузина Надежда Гавриловна – помните, мы с вами ее «индюшкой» прозвали? – так-таки прямо и расхохоталась мне в лицо.

– Либерал... ха-ха! Так ты все еще либерал, cousin? Ха-ха! Он... либерал!

Разумеется, я прежде всего сгорел со стыда и поспешил оправдаться. Говорил, что действительно некогда был либералом, но в то время это было простительно. Теперь же я убедился, что либеральничанье нужно оставить (и оставил), а надо дело делать.

– Дело... но какое? – пытливо обратился ко мне Стрекоза, очевидно, переносясь мыслью к тем незабвенным временам, когда он чинил допросы с пристрастием.

– Разумеется, настоящее дело... Вот, например, по питейной части... отчего же! я с удовольствием! – бормотал я, застигнутый врасплох и цепляясь за первый попавшийся вопрос насущной современности.

Но тут случилась новая неожиданность. Прапорщик, который все время угрюмо молчал и зализывал зачатки усов, вдруг с треском поднялся, и торжественно протянув мне руку, воскликнул:

– Дядя! я вам... сочувствую!

И заплакал.

Произошла новая семейная путаница. Поручики впились в меня стальными глазами, как бы намереваясь нечто запечатлеть в памяти; коллежский ассессор Сенечка, напротив, стыдливо потупил глаза и, казалось, размышлял: обязан ли он, в качестве товарища прокурора, занести о сем в протокол? «Индюшка» визжала на прапорщика: ах, этот дурной сын в гроб меня вгонит! Стрекоза с каждой минутой становился грустнее и строже. Но тетенька, как любезная хозяйка, старалась держать нейтралитет и весело произнесла:

– Ничего! пусть молодые люди проверят друг друга! это не худо! пускай проверят!

И так на меня при этом посмотрела, что я непременно провалился бы сквозь землю, если бы не выручил меня дядя Григорий Семеныч, сказав:

– Да ведь мы, ma tante, не для проверки здесь собрались, а на именинный пирог!

Этот окрик слегка расхолодил присутствующих, и хотя в ожидании пирога прошло еще добрых полчаса, однако никакие усилия бабушки оживить общество уже не имели успеха. Так что потребовалось допустить вмешательство кадетов, чтоб разговор окончательно не потух.

– Так чему же вас, душенька, в корпусе учат? – приветливо спрашивала одного из них дорогая именинница.

– Повиноваться начальству, бабенька.

– А еще чему?

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)  
– Исполнять свой долг, бабенка.

– Вот и прекрасно. Так ты и поступай. Во-первых, повинуйся начальству, а во-вторых, исполняй свой долг...

Покуда происходил этот опрос, я сидел и думал, за что они на меня нападают? Правда, я был либералом... ну, был! Да ведь я уж прозрел – чего еще нужно? Кажется, пора бы и прост... то бишь позабыть! И притом, надо ведь еще доказать, что я действительно... был? А что, ежели я совсем "не был"? Что, если все это только казалось? Разве я в чем-нибудь замечен? разве я попался? уличен? Ах, господа, господа!

Одним словом, застигнутый нелепою паникой, я все глубже и глубже погружался в пучину неопрятных мыслей и – очень может статься – дошел бы и до настоящего кошмара, если бы случайно не взглянул на Стрекозу. Он смотрел на меня в упор и, казалось, не без коварной иронии, следил за моею тревогой. Но единственная мысль, которую я прочитал в его помертвелом взгляде, была такова: "сия вина столь неизмерима, что никакое раскаяние не смоет ее!" Прекрасно; но ежели даже чистосердечное раскаяние не может оправить меня в глазах Стрекозы, то что же остается мне предпринять? Помилуйте! Людям самым порочным и несомненно преступным – и тем, с течением времени... Но не успел я вплотную расфантазироваться, как вдруг, совершенно неожиданно для меня самого, на все эти вопросы откуда-то вынырнул самый ясный и самый естественный ответ: да просто-напросто наплевать!

Ответ этот до такой степени оживил меня, что даже шкурная боль мгновенно утихла. И как это удивительно, что такая простая мысль пробилась в голову не сразу, а через целую массу всякого рода неопрятностей! Скажите на милость! мне уж шестой десяток в исходе, и весь я недугами измучен – и все-таки чего-то боюсь! Ну, не срам ли! Что с меня взять-то, подумайте! Ведь и измучить меня всласть нельзя – умру, только и всего. Эка невидаль! Умереть – уснуть! – это все половые в трактире «Британия» знали! Мучишься-мучишься, да еще конца мученья бояться! Наплевать! Стрекоза, наблюдай! Поручики! взирайте с прилежанием! Либерал так либерал! что ж такое!

Гораздо интереснее определить, кто прежде будет произведен в надворные советники, Сенечка или Павлуша? Оба они в одних чинах, но Сенечка уже товарищ прокурора, а Павлуша и поднесь только исправляющий должность товарища. Выходит, что и теперь Сенечка уж опередил и, стало быть, надворным советником раньше будет. Но вряд ли он даже об этой подробности очень-то заботится. Он шире раскидывает умом и глядит куда дальше и глубже. Вон он как играет глазами: то опустит их долу, то вытаращит. То радостное чувство ими выразит, то печальное изумление. Гнева – никогда! или только уж в самых экстренных случаях, когда, что называется, ни лечь ни встать. Ибо он magistrate, [36] и в этом качестве гневаться не имеет права, а может только печально изумляться, как это люди, живя среди прекраснейших долин, могут погрязать в пороках! И вот, помяните мое слово: не пройдет и года, как он уже будет прокурором, потом женится на генеральской дочери, а затем и окончательно попадет на содержание к государству. И будет язвить и мутить до тех пор...

Но на этом месте мои грезы были прерваны докладом, что подан пирог.

Вы знаете, какие прекрасные пироги бывают у бабенки в день ее именин. Но несколько лет тому назад, по наущению Бритого, она усвоила очень неприятный обычай: независимо от именинного пирога, подавать на стол еще коммеморативный пирог в честь Аракчеева. Пирог этот, впрочем, ставится посреди стола только для формы! съедают его по самому маленькому кусочку, причем каждый обязан на минуту сосредоточиться... Но трудно описать, какая это ужасная горлопятина!

Представьте себе вчерашний дурно пропеченный ситник, внутри которого проложен тонкий слой рубленой убоины – вот вам любимая аракчеевская еда! По обыкновению, мы и на этот раз разжевали по маленькому кусочку; но Стрекоза, который хотел похвастаться перед именинницей, что он еще молодец, разом заглотал целый сукрой – и подавился. К довершению всего, тут случился Петруша (его бабенка нынче заставляяет в торжественных случаях прислуживать за столом) и, вспомнив фельдъегерское прошлое, выпучил глаза и начал так сильно дубасить Стрекозу в загорбок, что последний разинул пасть, и мы думали, что непременно оттуда вылетит Иона. Однако, слава богу, все кончилось благополучно; заглотанный кусок



Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru проскочил по принадлежности, Стрекоза утер слезы (только подобные казусы и могут извлечь их из его глаз), а пирог бабенька приказала убрать и раздать по кусочку неимущим.

Случай с Стрекозой имел, впрочем, и благотворное действие в том отношении, что на время заставил позабыть о злобах дня и дал разговору другое направление. Стали рассказывать, кто сколько раз в жизни подавился и каким образом. Стрекоза давился раз пятьдесят, и всегда спасался тем, что его колотили в загорбок. Но раз чуть было совсем не отправился на тот свет. Дело было в Грузине; наловили в реке чудеснейших ершей и принесли в лоханке показать Аракчееву. Граф похвалил и потом, взяв одного, самого юркого ерша, проглотил; затем то же самое сделал Бритый, а за ним, по точной силе регламентов, пришлось глотать живого ерша и Стрекозе. Только он не досмотрел, что Аракчеев и Бритый своих ершей заглатывали с головы, и заглотал своего с хвоста. Ну, натурально, света невзвидел. К счастью, Аракчеев и тут нашелся. Велел подать ламповое стекло и просунул его Стрекозе в хайло. Таким образом ерш очутился внутри стекла, и затем уж ничего не стоило вынуть его оттуда простыми щипцами. Так что через час Стрекоза, как ни в чем не бывало, уже чинил допрос с пристрастием. А еще, милая тетенька, рассказывал Стрекоза, как он однажды плюху проглотил (однако ж, не подавился); но это уж долго спустя после аракчеевской катастрофы, потому что при Аракчееве он сам других плюхи глотать заставлял.

– А больно было щеке, как плюху-то дали? – полюбопытствовал дядя Григорий Семеныч.

– Не могу сказать, чтоб очень; однако ж...

Другие тоже рассказали каждый по несколько случаев. Чаще всех давилась кузина Надежда Гавриловна, потому что она, в качестве «индюшки», очень жадна и притом не всегда может отличить твердую пищу от мягкой. Бабенька подавилась только один раз в жизни, но так как в этом случае решительную роль играл Аракчеев, то натурально, она нам не сообщила подробностей.

– А я, бабенька, ни разу еще не подавился! – похвастался один из кадетов.

– Тебе еще, миленький, рано. Вот поживешь с наше – тогда и ты...

Словом сказать, всем стало весело, и беседа так и лилась рекою. И что ж! Мне же, или, лучше сказать, моей рассеянности было суждено нарушить общее мирное настроение и вновь направить умы в сторону внутренней политики. Уже подавали пирожное, как бабеньке вдруг вздумалось обратиться с вопросом и ко мне:

– Ну, а ты, мой друг, давился когда-нибудь?

По обыкновению своему, я не обдумал ответа и так-таки прямо и брякнул:

– Да как вам сказать, милая тетенька, вот уж сколько лет сряду, как мне кажется, будто я каждую минуту давлюсь...

Едва успел я произнести эти слова, как все обернулись в мою сторону в изумлении, почти что в испуге. Даже дядя Григорий Семеныч посмотрел на меня с любопытством, как бы говоря:

– Ну, брат, не ожидал я, что ты так глуп!

Только «индюшка» ничего не поняла и все приставала к поручикам:

– Что еще либерал слиберальничал? Либерал... ха-ха!

Но никто не ответил ей: до такой степени все чувствовали себя подавленными...

Тем не менее мы расстались довольно прилично. Только в передней Стрекоза остановил меня и, дружески пожимая мою руку, сказал:

– Позвольте мне, как другу почтеннейшей вашей бабеньки, подать вам полезный совет. А именно: ежели вам и впредь вышесказанным подавиться случится, то старайтесь оное проглотить. Буде же найдете таковое для себя неисполнимым, то, во всяком случае, хоть вид покажите, что с удовольствием проглотили.

И так мне, тетенька, от этих Стрекозиных слов совестно сделалось, что я даже не нашелся ответить, что я нелепую свою фразу просто так, не подумавши, сказал и что в действительности я всегда глотал, глотаю и буду глотать. А стало быть, и показывать вид никакой надобности для меня не предстоит.

С подъезда оба поручика и коллежский асессор Сенечка сели на лихачей и, крикнув: "Туда!" – скрылись в сумерках. «Индюшка» увязалась было за дядей, но он без церемоний отвечал: "Ну тебя!" Тогда она на минуту опечалилась: "Куда же я поеду?", но села в карету и велела везти себя сначала к Елисееву, потом к Балле, потом к колбаснику Кирхгейму...

– А потом уж я знаю куда. Bonsoir, mon oncle![37]

Прапорщик побегал домой "книжку дочитывать", а коллежский асессор Павлуша – тоже домой к завтрашнему дню обвинительную речь готовить. Но ему, тетенька, выигрышных-то обвинений не дают, а все около кражи со взломом держат, да и то если таковую совершил человек не свыше чином коллежского регистратора. Затем мы с дядей остались одни, и я решился кончить день в его обществе.

Дядя очень несчастлив, милая тетенька. Подобно Удаву, он рассчитывал, что на старости лет у него будет два утешения, а в действительности оказывается только одно. С коллежским асессором Сенечкой случилось что-то загадочное: по-видимому, он, вместе с другими балбесами, увлекся потоком междоусобия и не только сделался холоден к своим присным, но даже как будто следит и за отцом, и за братом. Но что всего больнее: секретно дядя и до сих пор питает предилекцию к Сенечке, а Павлушу хотя и старается любить, но именно только старается, ради удовлетворения принципу справедливости.

– И ведь какой способный малый! – говорил он мне об Сенечке. – Какое хочешь дело... только намекни! он сейчас не только поймет, но даже сам от себя добавит и разовьет!

– Да, талантливый он у вас...

– То-то, что чересчур уж талантлив. И я сначала на него радовался, а теперь... Талантливость, мой друг, это такая вещь... Все равно что пустая бутылка: какое содержание в нее вольешь, то она и вместит...

– Да ведь на то ум человеку дан, чтоб талантливость направлять.

– И ум в нем есть – несомненно, что есть; но, откровенно тебе скажу, не особенной глубины этот ум. Вот извернуться, угадать минуту, слицемерничать, и все это исключительно в свою пользу – это так. На это нынешние умы удивительно как чутки. А чтобы провидеть общие выводы – никогда!

– Но что же такое с Сенечкой случилось?

– Карьеры захотелось, да и бомонд голову вскружил... Легко это нынче, а он куда далеко, через головы, глядит. Боюсь, чтоб совсем со временем не осрамился...

Дядя помолчал с минуту и потом продолжал:

– Никогда у нас этого в роду не было. Этой гадости. А теперь, представь себе, в самом семействе... Поверишь ли, даже относительно меня... Ну, фрондер я – это так. Ну, может быть, и нехорошо, что в моих летах... допустим и это! Однако какой же я, в сущности, фрондер? Что я такое ужасное проповедую?... Так что-нибудь...

– Помилуйте, дядя! обыкновенный светский разговор: то – нехорошо, другое – скверно, третье – совсем никуда не годится... Только и всего.

– Ну, вот видишь! И он прежде находил, что "только и всего", и даже всегда сам принимал участие. А намеднись как-то начал я, по обыкновению, фрондировать, а он вдруг: вы, папенька, на будущее время об известных предметах при мне выражайтесь осторожнее, потому что я, по обязанности, не имею права оставлять подобные превратные суждения без последствий.

– Вот он какой!

– Да, строгонек. Ну, я сначала было подавился, а потом подумал-подумал и проглотил.

– А я бы на вашем месте...

– Нельзя, мой друг. Помилуй! коллежского асессора! Это в прежнее время допускалось, а нынче... Я помню, покойный папенька рассказывал: закутил он в полку – ну, просто пить без просыпу начал... Узнал об этом дедушка, да и пригласил блудного сына в деревню. И прямо, как приехал сынок – в кабинет! Розог! Только папенька-то ведь умен был: как следует родительскую науку выдержал, да еще ручку у родителя поцеловал. А дедушка, за эту его кротость, на другой день ему тысячу душ подарил! И с тех пор как рукой сняло! До конца жизни никакого вина папенька в рот не брал! Вот какая в старину чистота нравов была!

– Да, нынче, пожалуй, так нельзя... То есть оно и нынче бы можно, да вот тысячи-то душ у вас на закуску нет... Ну, а Павлуша как?

– Павлуша, покаместь, еще благороден. «Индюшкины» поручики и на него налетели: и ты, дескать, должен содействовать! Однако он уклонился. Только вместо того, чтоб умненько: мол, и без того верной службой всемерно и неуклонно содействую – а он так-таки прямо: я, господа, марать себя не желаю! Теперь вот я и боюсь, что эти балбесы, вместе с Семеном Григорьичем, его подкузьмят.

– Пустяки. Что они могут сделать!

– Аттестовать на всех распутьях будут. Павел-то у меня совестлив, а они – наглые. Ведь можно и похвалить так, что после дома не скажешься. Намеднись Павел-то уж узнал, что начальник хотел ему какое-то «выигрышное» дело поручить, а Семен Григорьич отсоветовал. Мой брат, говорит, очень усердный и достойный молодой человек, но дела, требующие блеска, не в его характере.

– Однако!

– А начальственные уши, голубчик, такие аттестации крепко запечатлевают. Дойдет как-нибудь до Павла очередь к награде или к повышению представлять, а он, начальник-то, и вспомнит: "что бишь я об этом чиновнике слышал? Гм... да! характер у него..." И мимо. Что он слышал? От кого слышал? От одного человека или двадцатерых? – все это уж забылось. А вот: "гм... да! характер у него" – это запечатлелось. И останется наш Павел Григорьич вечным товарищем прокурора, вроде как притча во языцах.

– Ах, дядя! Но сколько есть таких, которые и такой-то должности были бы рады-радешеньки!

– Знаю, что много. А коли в ревизские сказки заглянешь, так даже удивись, сколько их там. Да ведь не в ревизских сказках дело. Тамошние люди – сами по себе, а служащие по судебному ведомству люди – сами по себе. И то уж Семен Григорьич при мне на днях брату отчеканил: "Вам, Павел Григорьич, не в судебном бы ведомстве служить, а кондуктором на железной дороге!" Да и это ли одно! со мной, мой друг, такая недавно штука случилась, такая штука!.. ну, да, впрочем, уж что!

Дядя остановился с очевидным намерением победить свою болтливость, однако ж не выдержал и через минуту продолжал:

– Знаешь ли ты, что у меня книги начали пропадать?

– Не может быть! Запрещенные?

– А то какие же! Шестьдесят, братец, лет на свете живу, можно было коллекцию составить! И всё были целы, а с некоторых пор стали вот пропадать!

Тетенька! уверяю вас, что меня чуть не стошнило при этом признании.

– Дядя! не довольно ли? не оставим ли мы этот разговор? не поговорим ли по душе, как бывало? – неволью вырвалось у меня.

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)  
Восклицание это, видимо, смутило его. – То-то, что... а, впрочем, в самом деле... да ведь у меня нынче...

Он мялся и бормотал. Ужасно он был в эту минуту жалок.

Но я таки уговорил его хоть на несколько часов вспомнить старину и пофрондировать. Распорядились мы насчет чаю, затопили камин, закурили сигары и начали... Уж мы брили, тетенька, брили! уж мы стригли, тетенька, стригли! Каждую минуту я ждал, что "небо с треском развалится и время на косу падет"... И что же! смотрим, а околоточный прямо противу дома посереде улицы стоит и в носу ковыряет!

И вдруг в соседней комнате шорох...

Как уязвленный, побежал я на цыпочках к дверям и вижу: в неосвещенной гостиной бесшумно скользит какая-то тень...

– Это он! Это Семен Григорыч из своего клуба вернулся! – шепнул мне дядя.

\* \* \*

А дня через три после бабенькинова пирога меня посетила сама "Индюшка".

– Cousin! да перестань ты писать, ради Христа!

– Что тебе вдруг вздумалось? разве ты читаешь?

– Кабы я-то читала – это бы ничего. Слава богу, в правилах я тверда: и замужем сколько лет жила, и сколько после мужа вдовею! мне теперь хоть говори, хоть нет – я стала на своем, да и кончен бал! А вот прапорщик мой... Грех это, друг мой! большой на твоей душе грех!

– Да ведь я не для прапорщика твоего пишу. Собственно говоря, я даже не знаю, кто меня будет читать: может быть, прапорщик, а может быть, генерал от инфантерии...

– Ну, где генералам пустяки читать! Они нынче всё географию читают!

– Ах, Наденька! всегда-то ты что-нибудь внезапное скажешь! Ну, с чего ты вдруг географию приплела?

– Ничего тут внезапного нет. Это нынче всем известно. И Andre мне тоже сказывал. Надо, говорит, на войне генералам вперед идти, а куда идти – они не знают. Вот это нынче и заметили. И велели во всех войсках географию подучить.

– Ну-ну, Христос с тобой! лучше о другом поговорим. Что же ты про прапорщика-то хотела рассказать?

– Помилуй! каждый день у меня, grace a vous, [38] баталии в доме происходят. Andre и Pierre говорят ему: не читай! у этого человека христианских правил нет! А он им в ответ: свиньи! да возьмет – ты знаешь, какой он у меня упорный! – запрется на ключ и читает. А в последнее время очень часто даже не ночует дома.

– Неужто все из-за меня?

– Не то чтоб из-за тебя, а вообще... Голубчик! позволь тебе настоящую причину открыть!

– Сделай милость, открой!

– Скажи, ты любил хоть раз в своей жизни? ведь любил?

– Наденька! да не хочешь ли ты кофею? пирожков?

– Как тебе сказать... впрочем, я только что позавтракала. Да ты не отвливай, скажи: любил? По глазам вижу, что любил?

– Я не понимаю, зачем ты этот разговор завела?

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru  
– Ну, вот, я так и знала, что любил! Он любил... ха-ха! Вот вы все меня дурой прославили, а я всегда прежде всех угадаю!

– Наденька! да позволь, голубушка, я тебе сонных капель дам принять!

– Ну, так. Смейся надо мной, смейся!.. А я все-таки твою тайну угадала... да!

– Позволь! говори толком: что тебе нужно?

– Да... чего бишь? Ах да! так вот ты и описывай про любовь! Как это... ну, вообще, что обыкновенно с девушками случается... Разумеется, не нужно mettre les points sur les i, [39] а так... Вот мои поручики всё Зола читают, а я, признаться, раз начала и не могла... зачем?

– То есть что же "зачем"?

– Зачем так уж прямо... как будто мы не пойдем! Не беспокойтесь, пожалуйста! так пойдем, что и понять лучше нельзя... Вот маменька-покойница тоже все думала, что я в девушках ничего не понимала, а я однажды ей вдруг все... до последней ниточки!

– Чай, порадовалась на дочку?

– Уж там порадовалась или не порадовалась, а я свое дело сделала. Что, в самом деле, за что они нас притесняют! Думают, коли девица, так и не должна ничего знать... скажите на милость! Конечно, я потом, замужем, еще более развилась, но и в девицах... Нет, я в этом случае на стороне женского вопроса стою! Но именно в одном этом случае, parce que la famille... tu comprends, la famille!.. tout est là. [40] Семейство – это... А все эти женские курсы, эти акушерки, астрономки, телеграфистки, землемерши, tout ce fatras... [41]

– Да остановись на минуту! скажи толком: что такое у тебя в доме делается?

– Представь себе, не ночуют дома! Ни поручики, ни прапорщик – никто! А прислуга у меня – ужаснейшая... Кухарка – так просто зверем смотрит! А ты знаешь, как нынче кухарок опасаться нужно?

– Ну?

– Вот я и боюсь. Говорю им: ведь вы все одинаково мои дети! а они как сойдутся, так сейчас друг друга проверять начнут! Поручики-то у меня – консерваторы, а прапорщик – революционер... Ах, хоть бы его поскорее поймали, этого дурного сына!

– Наденька! перекрестись, душа моя! разве можно сыну желать... Да и с чего ты, наконец, взяла, что Nicolas революционер?

– Сердце у меня угадывает, а оно у меня – вещун! Да и странный какой-то он: всё "сербские напевы" в стихах сочиняет. Запрется у себя в комнате, чтоб я не входила, и пишет. На днях оду на низложение митрополита Михаила написал... А то еще генералу Черняеву сонет послал, с Гарибальди его сравнивает... Думал ли ты, говорит, когда твои орлы по вершинам гор летали, что Баттенберг... C'est joli, si tu veux: [42] "орлы по вершинам гор"... Cependant, puisque la saine politique. [43]

– Еще бы! об этом даже циркуляром запрещено.

– Вот видишь! и я ему это говорила! А какой прекрасный мальчик в кадетах был! Помнишь, оду на восшествие Баттенбергского принца написал:

И Каравелова крамолу  
Пятой могучей раздавил.

До сих пор эти стихи не могу забыть... И как мы тогда на него радовались! Думали, что у нас в семействе свой державин будет!

"Индюшка" поднялась, подошла к зеркалу, в один миг откуда-то набрала в рот целый пучок шпилек и начала подправляться. И в то же время без умолку болтала.

– А как бы это хорошо было! Одну оду написал – перстень получил! другую оду – золотые часы получил! А иной богатый купец – прямо карету и пару лошадей бы прислал – что ему стоит! Вот Хлудов, например – ведь послал же чудовских певчих

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) генералу Черняеву в Сербию.. ну, на что они там! По крайней мере, карета... Словом сказать, все шло хорошо – и вдруг... Можешь себе представить, как я несчастна! Приду домой – никого нет! Кричу, зову – не отвечают! А потом, только что забываться начну – шум! Это они между собой схватились! И всё это с тех пор! Как только эта проверка у нас началась, ну, просто хоть из дому вон беги! Представь себе, в комнатах по три дня не метут! Намеднись, такую рыбу за обедом подали – страм!

Разумеется, я боялся громкодохнуть, чтоб как-нибудь не спугнуть ее. Я рассчитывал таким образом: заговорится она, потом забудет, зачем пришла, – и вдруг уйдет. Так именно и случилось.

– Однако ж я заболталась–таки у тебя, – сказала она, держа в зубах последние три шпильки и прикалывая в разных местах шляпу, – а мне еще нужно к Елисееву, потом к Балле, потом к Кирхгейму... надо же своих молодцов накормить! Ну, а ты как? здоров? Ну, слава богу! вид у тебя отличный! Помнишь, в прошлом году какой у тебя вид был? в гроб краше кладут! Я, признаться, тогда думала: не жилец он! и очень, конечно, рада, что не угадала. Всегда угадываю, а на этот раз... очень рада! очень рада! Прекрасный, прекраснейший у тебя вид!

Она поспешно воткнула последнюю шпильку и подала мне руку на прощанье.

– Так ты обещаешь? скажи: ведь ты любил? – опять приставала она. – Нет, ты уж не обижай меня! скажи: обещаю! Ну, пожалуйста!

– Да что же я должен обещать? Ах!

– Да вот поделиться с нами твоими воспоминаниями, рассказать l'histoire intime de ton coeur...[44] Ведь ты любил – да? Ну, и опиши нам, как это произошло... Comment cela t'est venu[45] и что потом было... И я тогда, вместе с другими, прочту... До сих пор, я, признаюсь, ничего твоего не читала, но ежели ты про любовь... Да! чтоб не забыть! давно я хотела у тебя спросить: отчего это нам, дамам, так нравится, когда писатели про любовь пишут?

– Не знаю, голубушка. Может быть, оттого, что дамы преимущественно этим заняты... Les messieurs на войну ходят, а дамы должны их, по возвращении из похода, утешать. А другие messieurs ходят в департамент – и их тоже нужно утешать!

– Именно утешать! Это ты прекрасно сказал. Покойный Pierre, когда возвращался с дежурства, всегда мне говорил: надька! утешай меня! Il était si drole, ce cher Pierre! Et en meme temps noble, vaillant!"[46] И поручики мои то же самое говорят, только у них это как-то ненатурально выходит: всё о каком-то генерале без звезды поминают и так и покатываются со смеху. Они смеются, а я – не понимаю. En general, ils sentent un peu la caserne, messieurs mes fils![47] то ли дело, Пьер! бывало, возьмет за талию, да так прямо на пол и бросит. Однажды... ну, да что, впрочем, об этом!

Все на свете мне постыло,  
А что мило, будет мило!

Это Пушкин написал. А ты мне вот что скажи: правда ли, что в старину любовные турниры бывали? И будто бы тогдашние правительства...

– Наденька! ты таких от меня сведений требуешь...

– Ну-ну, Христос с тобой. Вижу, что наскучила тебе... И знаешь, да не хочешь сказать. Наскучила! наскучила! Так я поеду... куда бишь? ах, да, сначала к Елисееву... свежих омаров привезли! Sans adieux, mon cousin.[48]

Она раза два еще перевернулась перед зеркалом, что-то подпернула, потом взглянула на потолок, но как-то одним глазом, точь-в-точь как проделывает индюшка, когда высматривает, нет ли в небе коршуна.

– А я поеду своих унимать... наверное, уж сцепились! – доканчивала она в передней и потом, выйдя на лестницу, продолжала. – Так ты поделишься с нами? ты сделаешь мне это удовольствие... а?

И, спускался по лестнице, все вскидывала вверх голову и все что-то говорила. Наконец из преисподних швейцарской до меня донеслось заключительное:

– Sans adieux, cousin!

\* \* \*

Повторяю: везде, и на улицах, и в публичных местах, и в семьях – везде происходит процесс вколачивания «штуки». Он застаёт врасплох Удава, проливает уныние в сердце дяди Григория Семеныча и заставляет бестолково метаться даже такую неунывающую особу, как кузина Наденька.

Нужен ли этот процесс: откуда и каким образом он народился – это вопрос, на который я мог бы ответить вам довольно обстоятельно, но который, однако ж, предпочитаю покуда оставить в стороне. Для меня достаточно и того, что факт существует, факт, который, рано или поздно, должен принести плод. Только спрашивается: какой плод?

Я знаю, вы скажете, что все эти проверки, добровольческие выслеживания и подсиживания до такой степени нелепы и несерьезны, что даже опасений не могут внушать. Я знаю также, что современная действительность почти сплошь соткана из такого рода фактов, по поводу которых и помыслить нельзя, полезны они или не полезны, а именно только, опасны или малоопасны (и притом с какой-то непосредственной, чисто личной точки зрения). Вследствие долголетней практики этот критерий настолько окреп в нашем обществе, что о других оценках как-то и не слышать совсем. Вот и вы этому критерию подчинились. Прямо так-таки и рассуждаете: опасений нет – стало быть, о чем же говорить?

Но это-то именно и наполняет мое сердце каким-то загадочным страхом. По мнению моему, с таким критерием нельзя жить, потому что он прямо бьет в пустоту. А между тем люди живут. Но не потому ли они живут, что представляют собой особенную породу людей, фасонированных ad hoc[49] самую историей, людей, у которых нет иных перспектив, кроме одной: что, может быть, их и не перешибет пополам, как они того всечасно ожидают...

Часто, даже слишком часто, по поводу рассказов о всевозможных «штуках», приходится слышать (и так говорят люди очень солидные): вот увидите, какая из этого выйдет потеха! Но, признаюсь, я не только не сочувствую подобным восклицаниям, но иногда мне делается почти жутко, когда в моем присутствии произносят их. Потеха-то потеха, но сколько эта потеха сил унесет! а главное, сколько сил она осудит на фаталистическое бездействие! Подумайте! разве это не самое беспутное, не самое горькое из бездельничеств (я и слово «бездействие» считаю тут неприменимым – быть зрителем проходящих явлений и только об одном думать: опасны они или не опасны? И в первом случае ощущать позорное душевное угнетение, а во втором – еще более позорное облегчение?

Ах, ведь и мрачное хлевное хрюканье – потеха; и трубное пустозвонство ошалевшего от торжества дармоеда – тоже потеха. Всё это явления случайные, призрачные, преходящие, которые несомненно не оставят ни в истории, ни в жизни народа ни малейшего следа. Но дело в том, что в данную минуту они угнетают человеческую мысль, оскверняют человеческий слух, производят повсеместный переполох. Дело в том, что, вследствие всего этого, центр деятельности современников перемещается из сферы положительной, из сферы совершенствования в сферу пустомыслия и повторения задов, в сферу бесплодной борьбы, постыдных оправданий, лицемерных самозащит... Неужто же это "потеха"?

"Ну, слава богу, теперь, кажется, потише!" – вот возглас, который от времени до времени (но и то, впрочем, не слишком уж часто) приходится слышать в течение последних десяти – пятнадцати лет. Единственный возглас, с которым измученные люди соединяют смутную надежду на успокоение. Прекрасно. Допустим, что с нас и таких перспектив довольно: допустим, что мы уж и тогда должны почитать себя счастливыми, когда перед нами мелькает что-то вроде передышки... Но ведь все-таки это только передышка – где же самая жизнь?

Не говорите же, голубушка: "вот так потеха!" и не утешайтесь тем, что бессмыслица не представляет серьезной опасности для жизни. Представляет; в том-то и дело, что представляет. Она опасна уж тем, что заменяет своим суматошеством реальную и плодотворную жизнь, и если не изменяет непосредственно жизненной сущности, то загоняет ее в такие глубины, из которых ей не легко будет вынырнуть даже в минуту воссияния.

Сколько лет мы сознаем себя недугующими – и все-таки, вместо уврачевания,

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) возвращаемся в пустоте! сколько лет собираемся одолеть свое бессилие – и ничем, кроме доказательств нового бессилия, новой немощи, не ознаменовываем своей деятельности! Даже в самых дерюжных, близких нашим сердцам вещах – в сфере благочиния – и тут мы ничего не достигли, кроме сознания полной беспомощности. А ведь у нас только и слов на языке: погодите, дайте управиться! Вы думаете, что, может быть, тогда потечет наша земля млеком и медом? – То-то и есть, что не потечет!

И не потому не потечет, что ни млека, ни меда у нас нет, – это вопрос особый, – а потому, что нет и не будет конца-краю самой управе.

В самом деле, представьте себе, что процесс вколачивания «штуки» уже совершил свой цикл; что общество окончательно само себя проверило, что все извещения сделаны, все плевелы вырваны и истреблены, что околоточные и участковые пристава наконец свободно вздохнули. Спрашивается: ну, а потом? Какое органическое, восстанавливающее дело можем мы предпринять? знаем ли мы, в чем оно состоит? имеем ли для него достаточную подготовку? Наконец, имеем ли мы даже повод желать, чтобы процесс вколачивания «штуки» воистину завершился, и вместо него восприяло начало восстанавливающее дело?

Ах, тетенька! Вот то-то и есть, что никаких подобных поводов у нас нет! Не забудьте, что даже торжество умиротворения, если оно когда-нибудь наступит, будет принадлежать не Вздохникову, не Распротакову и даже не нам с вами, а все тем же Амалат-бекам и Пафнутьевым, которые будут по его поводу лакать шампанское и испускать победные клики (однако ж, не без угрозы), но никогда не поймут и не скажут себе, что торжество обязывает.

Обязывает – к чему? вы только подумайте об этом, милая тетенька! Обязывает к восстановлению поруганной человеческой совести, обязывает к пробуждению сознательной деятельности, обязывает к признанию права на завтрашний день... И вы хотите, чтоб эта программа осуществилась! Совесть! сознательность! обеспеченность! да ведь это именно то самое и есть, что на конках, в трактирах и в хлевной литературе известно под именем "потрясения основ"! Еще не все шампанское выпито по случаю прекращения опасностей, как уж это самое прекращение представляет настороженному до болезненности воображению целый ряд новых, самостоятельных опасностей! Бой кончился, но не успели простыть борцы, как уже им предстоит готовиться в новый бой!

Нет, это не "потеха"!

Идеал современных проверителей общества (я не говорю о героях конок и трактирных заведений) в сфере внутренней политики очень прост: чтобы ничего не было. Но как ни дисциплинирована и обезличена наша действительность – даже она не может вместить подобного идеала. Нельзя, чтобы ничего не было. До такой степени нельзя, что даже доказывать эту истину нет надобности. А так как проверители от своих идеалов никогда не отступят, так как они именно на том и будут настаивать, чтобы ничего не было, то ясно, что и междуособиям не предвидится конца.

А мы еще говорим: потеха! мы еще спрашиваем себя, какие может принести плоды процесс вколачивания "штуки"!

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ  
Милая тетенька.

Как женщина, вы, разумеется, не знаете, что такое карцер. Поэтому не посетуйте на меня, если я решусь посвятить настоящее письмо обогащению вашего ума новым отличнейшим знанием, которое, кстати, в наше время и бесполезно.

Карцером, во времена моего счастливого отрочества, называлось темное, тесное и почти лишенное воздуха место, в которое ввергались преступные школьники, в видах искупления их школьных прегрешений. Говорят, будто подобные же темные места существовали и существуют еще в острогах (карцер в карцере, всё равно, что государство в государстве), но так как меня от острогов бог еще миловал, то я буду говорить исключительно о карцере школьном.

В том заведении, где я воспитывался, несмотря на то, что оно принадлежало к числу чистокровнейших, карцер представлял собою нечто вполне омерзительное. Он был устроен в четвертом этаже, занятом дортуарами, в которые, в течение дня,



Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) никто не захаживал. Самое помещение занимало темную и крохотную трехугольную впадину в капитальной стене; на полу этой впадины был брошен набитый соломой тюфяк, около которого была поставлена деревянная табуретка. Двигаться в этой конуре было невозможно, да, по-видимому, и не полагалось нужным. В обыкновенное время сюда складывались старые вонючие одеяла, которыми наделяли воспитанников на ночь, потому что хорошие одеяла постилали только днем, напоказ. Вследствие этого, в карцере пахло отчасти потом, отчасти мышами.

Вот в эту-то вонючую дыру и заключали преступного школяра, причем не давали ему свечи, а вместо пищи назначали в день три куска черного хлеба и воды а discretion.[50] Затем, заперев дверь на ключ, приставляли к ней кустодию, в виде солдата Аники, того самого, об котором я в прошлом письме вам писал, что генерал Бритый назначил его к наказанию кошками, но, быв уволен от службы, не выполнил своего намерения. Но так как Аника знал, что распоряжение Бритого надлежащим образом не отменено и потому с часу на час ожидал его осуществления, то понятно, с каким остервенением он прислуживался к начальству, отгоняя от дверей карцера всякого сострадательного товарища, прибежавшего с целью хоть сколько-нибудь усладить горе заключенного.

Многие будущие министры (заведение было с тем и основано, чтоб быть рассадником министров) сиживали в этом карцере; а так как обо мне как-то сразу сделалось заранее известным, что я министром не буду, то, натурально, я попадал туда чаще других. И угадайте, за что? – за стихи! В отрочестве я имел неудержимую страсть к стихотворному парению, а школьное начальство находило эту страсть предосудительною. Сижу, бывало, в классе и ничего не вижу и не слышу, всё стихи сочиняю. Отвечаю невпопад, а когда, бывало, мне скажут: станьте в угол носом! – я, словно сонный, спрашиваю: а? что? Долгое время начальство ничего не понимало, а, может быть, даже думало, что я обдумываю какую-нибудь крамолу, но наконец-то меня поймали. И с тех пор начали ловить неустанно. Тщетно я прятал стихи в рукав куртки, в голенище сапога – везде их находили. Пробовал я, в виде смягчающего обстоятельства, перелгать в стихи псалмы, но и этого начальство не одобрило. Поймают один раз – в угол носом! поймают в другой – без обеда! поймают в третий – в карцер! Вот, голубушка, с которых пор начался мой литературный мартиролог.

Вероятно, в то время у начальства такой план был: из всех школяров, во что бы то ни стало, сделать катонов. Представьте себе теперь интернат, в котором карцер вонял потом и мышами – сколько бы тут шуму поднялось! Встревожилась бы прокуратура; медики бы в один голос возопили: вот истинный рассадник тифов! а об газетчиках нечего и говорить. Сколько бы вышло по этому поводу предостережений, приостановлений, запрещений розничной продажи, печатания объявлений, словом, всего, что неизменно связано с понятием о пребывании в карцере в соединении с свободой книгопечатания! А тогда тифов не боялись, об газетчиках не слыхивали, а только ожидали раскаяния. Не боялись и без обеда оставлять, хотя нынче опять-таки всякий газетчик скажет: какое варварство истощать голодом молодой организм! Впрочем, и обед в то время неинтересный был: ненатурального цвета говядина с рыжей подливкой, суконные пироги с черникой и т. д. Сначала, вместо завтрака, хоть белую пятикопеечную (на ассигнации) булку давали, но потом, в видах вящего укоренения катонов, и это уничтожили, заменив булку ломтем черного хлеба.

Кроме стихов, составляющих мой личный порок, сажали в карцер еще за ироническое отношение к наставникам и преподавателям. Такого рода преступления были довольно часты, потому что и наставники и преподаватели были до того изумительные, что нынче таких уж на версту к учебным заведениям не подпускают. Один был взят из придворных певчих и определен воспитателем; другой, немец, не имел носа; третий, француз, имел медаль за взятие в 1814 году Парижа и тем не менее декламировал: *a tous les coeurs bien nes que la patrie est chere!*;<sup>[51]</sup> четвертый, тоже француз, страдал какую-то такую болезнью, что ему было велено спать в вицмундире, не раздеваясь. Профессором российской словесности в высших классах был Петр Петрович Георгиевский, человек удивительно добрый, но в то же время удивительно бездарный. Как на грех, кому-то из воспитанников посчастливилось узнать, что жена Георгиевского называет его ласкательными именами: Пепа, Пепочка, Пепон и т. д. Этого достаточно было, чтоб изданные Георгиевским «Руководства», пространное и краткое, получили своеобразную кличку: большое и малое Пепино свинство. Иначе не называли этих учебников даже солиднейшие из воспитанников, которые впоследствии сделались министрами, сенаторами и посланниками. Профессором всеобщей истории был пресловутый Кайданов, которого «Учебник» начинался словами: "Сие мое сочинение есть извлечение" и т. д. Натурально, эту фразу переложили на

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru музыку с очень непристойным мотивом, и в рекреационное время любили ее распевать (а в том числе и будущие министры). Но еще более любили петь посвящение бывшему попечителю Казанского университета, Мусину-Пушкину, предпосланное курсу политической экономии Горлова. Разумеется, начальство зорко следило за этими поступками и особенно отличавшихся певцов сажало в карцер. Я не говорю, чтоб начальство было неправо, но, с другой стороны, по совести спрашиваю: могли ли молодые и неиспорченные сердца иначе поступать?

Вообще тогдашняя педагогика была во всех смыслах мрачная: и в смысле физическом, и в смысле умственном. В первом отношении молодых людей питали дурно и недостаточно, во втором – просвещали их умы Пепиным свинством. И вдобавок требовали, чтоб школьник не понимал, что свинство есть свинство...

Заключение в карцере потому в особенности было тоскливо, что осуждало юного преступника на абсолютную праздность. Но тогдашние педагоги были так бесстрашны, что даже последствий праздности не боялись. Это была какая-то организованная крамола воспитателей против воспитываемых, крамола, в которой крамольники получали жалованье и награждались орденами, а те, против которых была направлена их разрушительная деятельность, должны были благодарить, что их кормят свинством. Не то ли же, впрочем, видим мы и... А? что? что такое я чуть было не сказал? Вы, тетенька, сделайте милость, остановите меня, ежели я, паче чаянья, вдруг... А то ведь я, пожалуй, такое что-нибудь сболтну, что после и сам своих слов испугаюсь!

Но самое положительное зло, которое приводил за собой карцер, заключалось в том, что он растлевал юношу нравственно, пробуждая в нем низменного свойства инстинкты и указывая на лукавство, как на единственное средство самоограждения. Потребность в обществе себе подобных, в свободе движения и достаточном питании настолько сильна в молодом организме, что даже незаурядная юношеская устойчивость – и та не может представить ей достаточного противодействия. Тоска, причиняемая обязательно праздностью, и сознание ничем не устранимого бессилия растут с необычайной быстротой, а рядом с этим нарастанием столь же быстро тают и напускная бодрость, и школьный гонор. Шепоты лицемерия, наружной выправки и лукавства так и ползут со всех сторон. И по мере того, как они овладевают юношей, идеал начинает ему представляться в таком виде: внешним образом признать обязательность свинства, но исподтишка все-таки продолжать прежнюю систему надругательства. Увертки эти необходимы, потому что иначе нельзя получить право на свободу (начальство прямо говорит: сгною в карцере!), то есть право двигаться, пользоваться даром слова и быть сытым. Понятно, что при данной обстановке нельзя выполнить такую задачу без известной дозы распутства. И вот гнусные голоса диктуют гнусные решения... Представьте себе, милая тетенька, что, угнетаемый ими, я однажды поздравительные стихи написал!

Разумеется, стихи были плохие, но, написав их, я разом доказал начальству две вещи: во-первых, что карцер пробуждает благородные движения души, и во-вторых, что стиховная немочь не всегда бывает предосудительна. Не помню, как я сам смотрел тогда на свой поступок (вероятно, просто-напросто воспользовался плодами его), но начальство умилилось и выпустило меня из карцера немедленно. Повторяю: тогдашнее воспитание имело в виду будущих Катонов, а для того, чтоб быть истинным Катонем, недостаточно всего себя посвятить твердому перенесению свинств, но необходимо и сердце иметь слегка подернутое распутством.

Вообще карцером достигалось оподление человеческой души. Но кто при этом больше оподлялся, оподлявшие или оподляемые – право, сказать не умею. Кажется, впрочем, что оподлявшие оподлялись более, ибо, делая себе из оподления ремесло, постоянно освежаемое целым рядом повторительных действий, они настолько погрязали в тину, что утрачивали всякий стыд. Оподляемые же оподлялись исключительно только внешним образом. По крайней мере, я отлично хорошо помню, что, получив свободу ценою поздравительных стихов, я тут же опять начал декламировать "сие мое сочинение" и сделал это с такою искренностью, что начальство только руки развело и решилось оставить меня в покое. Но если бы оно надумало вновь ввергнуть меня в вонючую конуру, так ведь у меня, милая тетенька, и еще поздравительные стихи про запас были. Бракосочетается ли кто, родится ли, получит ли облегчение от недуга – сейчас я возьму в руки лиру и отхватаю по всем по трем... лови!

Все это проходит передо мною как во сне. И при этом прежде всего, разумеется, представляется вопрос: должен ли я был просить прощения? – Несомненно, милая тетенька, что должен был. Когда весь жизненный строй основан на испрошении

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) прощения, то каким же образом бессильная и изолированная единица (особливо несовершеннолетняя) может ускользнуть от действия общего закона? Ведь ежели не просить прощения, так и не простят. Скажут: нераскаянный! – и дело с концом.

Но есть разные манеры просить прощения, – вот с этим я не могу не согласиться.

Бывает так: стоит узник перед узоналагателем и вопиет: пощади! А между тем, все нутро у него в это время трепещет от гнева и прочих тому подобных чувств, и настолько явно трепещет, что сам узоналагатель это видит и понимает. Эта формула испрошения прощения, конечно, самая искренняя, но я не могу ее одобрить, потому что редко подобная искренность оценивается, как бы она того заслуживала, а в большинстве случаев даже устраняется в самом зародыше.

Бывает и так: приходят к узнику и спрашивают: ну, что, раскаялся ли? – а он молчит. Опять спрашивают: да скажешь ли, дерево, раскаялся ты или нет? Ну, раз, два, три... Господи благослови! раскаялся? – а он опять молчит. И этой манеры я одобрить не могу, потому что... да просто потому, что тут даже испрошения прощения нет.

Наконец, бывает и так: узник без всяких разговоров вопиет: пощади! – и с доверием ждет. Эта манера наиболее согласная с обстоятельствами дела и потому самая употребительная на практике. Она имеет характер страдательный и ни к чему не обязывает в будущем. Конечно, просить прощения вообще не особенно приятно, но в таком случае не надобно уже шалить. А если хочешь шалить и на будущее время, то привередничества-то оставь, а прямо беги и кричи: виноват!

Но я не прибегнул ни к одной из сейчас упомянутых манер, а создал свою особую манеру: написал поздравительные стихи. И вот теперь мне кажется, что я слегка перепустил. Положим, что и мое выражение покорности было вынужденное, но процесс сочинения стихов сообщал ему деятельный характер – вот в чем состоял его несомненный порок. Не следовало мне писать стихи, ни под каким видом не следовало. Следовало просто сознать свою вину, сказать: виноват! – и затем, как ни в чем не бывало, опять начать распевать: "сие мое сочинение есть извлечение..."

Все это ужасно запутанно, а может быть, даже и безнравственно, но не забудьте, что в этой путанице главными действующими лицами являлись Катоны, которые готовились сделаться титулярными советниками, а потом...

Впрочем, был у меня один товарищ в школе, который вот как поступил. Учился он отлично: исправно сдавал уроки и из «свинства», и из "сего моего сочинения", и из руководства, осененного крылами Мусина-Пушкина. Вел себя тоже отлично: в фортку не курил, в карты не играл, курточку имел всегда застегнутою и даже принимал сердечное участие в усилиях француза-учителя перевести (по хрестоматии Таппе) фразу: Новгородцы такали, такали, да и протакали. А именно: когда учитель, после долгих и мучительных попыток, наконец восклицал: "Mais cette phrase n'a pas le sens commun!"[52] – то товарищ мой очень ловко объяснял, что Новгород означает «колыбель», а выражение «такать» – прообразует мнения сведущих людей, а выражение «протакать» предвещает, что мнения эти будут оставлены без последствий. Так что учитель сразу все понял, воскликнул: *ainsi soit il*[53] – и с тех пор все недоразумения по поводу новгородского таканья были устранены. И вот этот самый юноша, прилежный и покорный, как только сдал свой последний экзамен, сейчас собрал в кучу все «свинства» и бросил их в ретираду. Можете себе представить всеобщее изумление! Даже начальство обомлело, узнав об этом подвиге, но могло только подивиться мудрости совершившего его, а покарать за эту мудрость уже не могло. Ибо оно, милая тетенька, целых шесть лет ставило этого юношу в пример, хвасталось им перед начальством, считало его краскою заведения, приставало к его родителям, не могут ли они еще другого такого юношу сделать... И вдруг оказалось, что в течение всех шести лет у этого юноши только одна заветная мысль и была: вот сдам последний экзамен, и сейчас же все прожитые шесть лет в ретирадном месте утоплю! Понятно, что скандальная история была скрыта...

К сожалению, вскоре после выпуска, товарищ мой умер; но ужасно любопытно было бы знать, как поступал бы он в подобных же случаях в течение дальнейшей своей жизненной проходимости?

\* \* \*

Вы, конечно, удивитесь, с какой стати я всю эту отжившую канитель вспомнил? Да

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru так, голубушка, подошел к окну, взглянул на улицу – и вспомнил. Есть память, есть воображение – отчего же и не попользоваться ими? Я нынче все так, спроста, поступаю. Посмотрю в окно, вспомню, а потом и еще что-нибудь вспомню – и вдруг выйдет картина. Выводов не делаю, и хорошо ли у меня выходит, дурно ли – ничего не знаю. Весь этот процесс чисто стихийный, и ежели кто вздумает меня подсадить вопросом: а зачем же ты к окну подходил, и не было ли в том поступке предвзятого намерения? – тому я отвечаю: к окну я подошел, потому что это законами не воспрещается, а что касается до того, что это был с моей стороны «поступок» и якобы даже нечуждый «намерения», то уверяю по совести, что я давным-давно и слова-то сии позабыл. Живу без поступков и без намерений и тетеньке так жить советую.

Но ежели мне даже и в такой форме вопрос предложат: а почему из слов твоих выходит как бы сопоставление? почему «кажется», что все мы и дондесь словно в карцере пребываем? – то я на это отвечаю: не знаю, должно быть, как-нибудь сам собой такой силлогизм вышел. А дабы не было в том никакого сомнения, то я готов ко всему написанному добавить еще следующее: "а что по зачеркнутому, сверх строк написано: не кажется – тому верить". Надеюсь, что этой припиской я совсем себя обелил!

Правда, что это до известной степени кляуза, но ведь нынче без кляузы разве проживешь? Все же лучше кляузу пустить в ход, нежели поздравительные стихи писать, а тем больше с стиснутыми зубами, с искаженным лицом и дрожа всем нутром пардону просить. А может быть, впрочем, и хуже – и этого я не знаю.

Жить так, хлопать себя по ляжкам, довольствоваться разрозненными фактами и не видеть надобности в выводах (или трусить таковых) – вот истинная норма современной жизни. И не я один так живу, а все вообще. Все выглядывают из окошка, не промелькнет ли вопросец какой-нибудь? Промелькнет – ну, и слава богу! волоки его сюда! А не промелькнет – мы крючок запустим и бирюльку вытащим. Уж мы мнем эту бирюльку, мнем! уж жуем мы ее, жуем! Да не разжевавши, так и бросим. Нет выводов! только и слышится кругом. И вот одни находят, что страшно жить среди такой разнокалиберщины, которую даже съютить нельзя; а другие, напротив того, полагают, что именно так жить и надлежит. Что же касается до меня, то я и тут не найду конца, страшно это или хорошо. Страшно так страшно, хорошо так хорошо – мое дело сторона!

Шкура чтобы цела была – вот что главное; и в то же время: умереть! умереть! умереть! – и это бы хорошо! Подите разберитесь в этой сумятице! Никто не знает, что ему требуется, а ежели не знает, то об каких же выводах может быть речь? Проживем и так. А может быть, и не проживем – опять-таки мое дело сторона.

Я лично чувствую себя отлично, за исключением лишь того, что все кости как будто палочьем перебиты. Терся поначалу оподельдоком – не помогает; теперь стараюсь не думать – полегчало. До такой степени полегчало, что дядя Григорий Семеныч от души позавидовал мне. Мы с ним, со времени бабенькинова пирога, очень сдружились, и он частенько-таки захаживает ко мне. Зашел и на днях.

– Стало быть, так без выводов ты и надеешься прожить? – пристал он ко мне, когда я ему изложил норму нынешнего моего жития.

– Так и надеюсь.

– Чудак, братец, ты! да ведь коль скоро отправной пункт у тебя есть, посылка есть, вывод-то ведь сам собою, помимо твоей воли, окажется!

– Ежели окажется – милости просим! А я все-таки ничего не знаю!.. И знать не желаю! – прибавил я с твердостью.

– Так что, например, вот ты сейчас об карцере рассказывал – все это так, без заключения, и останется?

– Да, дяденька. По крайней мере, я не вижу, какая может быть надобность...

– Ах, ты! а впрочем, поцелуй меня!

Мы поцеловались.

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)  
– Скажу тебе по правде, – продолжал дядя, – давно я таких мудрецов не встречал. Много нынче «умниц» развелось, да другой все-таки хоть краешек заключения да приподнимет, а ты – на-тко! Давно ли это с тобой случилось?

– Как вам сказать... да вот с тех пор, как надоело.

– Что надоело-то?

– Да там... ну, и прочее... Вообще.

– Да говори же, братец, толком! дядя ведь я тебе: не бойся, не выдам!

– Ах, дядя, как это вы, право, требуете... Надоело – только и всего. По-настоящему, оно должно бы нравиться, а мне – надоело!

– Ну, это не резон. Ты встряхнись. Если должно нравиться, так ты и старайся, чтоб оно нравилось. Тебя тошнит, а ты себя перемоги. А то «надоело»! да еще «вообще»! За это, брат, не похвалят.

– Я, дядя, стараюсь. Коли чувствую, что не может нравиться, то стараюсь устроить так, чтобы, по крайней мере, не нравилось. Зажму нос, зажму глаза, притаю дыхание. Для этого-то, собственно, я и не думаю об выводах. Я, дяденька, решился и впредь таким же образом жить.

– Без выводов?

– Просто, как есть. По улице мостовой шла девица заводой – довольно с меня. Вот я нынче старческие мемуары в наших исторических журналах почитываю. Факты – так себе, ничего, а чуть только старичок начнет выводы выводить – хоть святых вон понеси. Глупо, недомысленно, по-детски. Поэтому я и думаю, что нам, вероятно, на этом поприще не судьба.

Дядя задумался на минуту, потом посмотрел на меня пристально и сказал:

– Слушай! а ведь тебе страшно должно быть?

– Страшно и есть.

– Ведь ежели ты отрицаешь необходимость выводов, то, стало быть, и в будущем ничего не предвидишь?

– Не предвижу... да, кажется, что не предвижу...

– Ни хорошего, ни худого?

– Да... то есть вроде сумерек. Вот настоящее – это я ясно вижу. Например, в эту минуту вы у меня в гостях. Мы то посидим, то походим, то поговорим, то помолчим... Дядя, голубчик, зачем заглядывать в будущее? Зачем?

– Чудак ты! да как же, не заглядывая, жить? Во-первых, любопытно, а во-вторых, хоть и слегка, а все-таки обдумать, приготовиться надо...

– А я живу – так, без заглядыванья. Живу – и страшусь. Или, лучше сказать, не страшусь, а как будто меня пополам перешибло, все кости ноют.

– А помнишь, однажды ты даже уверял, что блаженствуешь?..

– Да как вам сказать? Может быть, и блаженствую... ничего я не знаю! Кажется, впрочем, что нынче это душевным равновесием называется...

– Фу-ты! это тебя Тетка Варвара намеднись в изумление привела!

С этими словами он взял шляпу и ушел. Вид у него был рассерженный, но внутренне, я уверен, что он мне завидовал.

Да нельзя и не завидовать. Почти каждый день видимся и всякий раз все в этом роде разговор ведем – неужто же это не равновесие? И хоть он, по наружности, кипит, видя мое твердое намерение жить без выводов, однако я очень хорошо

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) понимаю, что и он бы не прочь такого житья попробовать. Но надворные советники ему мешают – вот что. Только что начнет настоящим манером в сумерки погружаться, только что занесет крючок, чтобы бирюльку вытащить, смотрит, а в доме опять разнокалиберщина пошла.

Во всяком случае, милая тетенька, и вы не спрашивайте, с какой стати я историю о школьном карцере рассказал. Рассказал – и будет с вас. Ведь если бы я даже на домогательства ваши ответил: "тетенька! нередко мы вспоминаем факты из далекого прошлого, которые, по-видимому, никакого отношения к настоящему не имеют, а между тем..." – разве бы вы больше из этого объяснения узнали? Так уж лучше я просто ничего не скажу!

Читайте мои письма так же, как я их пишу: в простоте душевной. И по прочтении вздохните: ах, бедный! он выводы потерял!

#### ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ

А знаете ли что – ведь и надворный советник Сенечка тоже без выводов живет. То есть он, разумеется, полагает, что всякий его жест есть глубокомысленнейший вывод, или, по малой мере, нечто вроде руководящей статьи, но, в сущности, ай-ай-ай как у него по этой части жидко! Право, такая же разнокалиберщина, как и у нас, грешных.

Сижу я намерднись утром у дяди, и вдруг совершенно неожиданно является Сенечка прямо из "своего места". И прежде он не раз меня у отца встречал, но обыкновенно пожимал мне на ходу руку и молча проходил в свою комнату. Но теперь пришел весь сияющий, светлый, в каком-то искристо-шутливом расположении духа. Остановился против меня и вдруг: а дай-ко, брат, табачку понюхать! Разумеется, он очень хорошо знает, что я табаку не нюхаю, но не правда ли, как это было с его стороны мило? Очевидно, ему удалось в это утро кого-нибудь ловко сцапать, так что он даже меня решился, на радостях, приласкать.

Кажется, что это же предположение мелькнуло и у дяди в голове, потому что он встретил сына вопросом:

– Что нынче так рано? или все дела, с божьей помощью, прикончил?

– Да так, дельце одно... покончил, слава богу! – ответил Сенечка, – вот и разрешил себе отдохнуть.

– И Павел сегодня дело о похищении из запертого помещения старых портков округлил. Со всех сторон, брат, вора-то окружил – ни взад, ни вперед! А теперь сидит запершись у себя и обвинительную речь штудирует... ишь как гремит! Ну, а ты, должно быть, знатную рыбину в свои сети уловил?

– Да, есть-таки...

– То-то веселый пришел! Ну, отдохни, братец! Большое ты для себя изнурение видишь – не грех и об телесах подумать. Смотри, как похудел: кости да кожа... Яришься, любезный, чересчур!

– Нет, папаша, не такое нынче время, чтоб отдыхать. Сегодня, куда ни шло, отдохну, а завтра – опять в поход!

Последние слова Сенечка проговорил удивительно серьезно и даже напыжился. Но так как он заранее решил быть на этот раз шаловливым, то через минуту опять развеселился.

– Сегодня мне действительно удалось, – сказал он, потирая руки, – уж месяца с четыре, как я... и вдруг! Так нет табачку? – прибавил он, обращаясь ко мне. – Ну-ну, бог с тобой, и без табачку обойдемся!

Словом сказать, он был так очарователен, что я не выдержал и сказал:

– Ах, Сенечка, если б ты всегда был такой!

– Нельзя, мой ангел! (Он опять слегка напыжился.) И рад бы, да не такое нынче время!

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru И, как бы желая доказать, что он действительно мог бы быть «таким», если б не "такое время", он обнял меня одной рукой за талию и, склонив ко мне свою голову (он выше меня ростом), начал прогуливать меня взад и вперед по комнате. По временам он пожимал мои ребра, по временам произносил: "так так-то" и вообще выказывал себя снисходительным, но, конечно, без слабости. Разумеется, я не преминул воспользоваться его благосклонным расположением.

– Сенечка! – начал я, – неужто ты до сих пор все ловишь?

– То есть как тебе сказать, мой друг, – ответил он, – персонально я тут не участвую, но...

– Ну да, понимается: не ты, но... И не известно тебе, когда конец?

– Не знаю. Но могу сказать одно: война так война!

Он помолчал с минуту и прибавил:

– И будет эта война продолжаться до тех пор, пока в обществе не перестанут находить себе место неблагонадежные элементы.

Сознаюсь откровенно: при этих словах меня точно искра электрическая пронизала. Помнится, когда-то один из стоящих на страже русских публицистов, выдергивая отдельные фразы из моих литературных писаний, открыл в них присутствие неблагонадежных элементов и откровенно о том заявил. И вот с тех пор, как только я слышу выражение "неблагонадежный элемент", так вот и думается, что это про меня говорят. Говорят, да еще приговаривают: знает кошка, чье мясо съела! И я, действительно, начинаю сомневаться и экзаменовать себя, точно ли я не виноват. И только тогда успокоиваюсь, когда неопровержимыми фактами успеваю доказать себе, что ничьего мяса я не съел.

– Ты, однако ж, не тревожься, голубчик! – продолжал Сенечка, словно угадывая мои опасения, – говоря о неблагонадежных элементах, я вовсе не имею в виду тебя; но...

– Но?

– Но, конечно, ты мог бы... А впрочем, позволь! я сегодня так отлично настроен, что не желал бы омрачать... Папаша! не дадите ли вы нам позавтракать?

– С удовольствием, мой друг, только вот разговоры-то ваши... Ах, господа, господа! Не успеете вы двух слов сказать – смотришь, уж управа благочиния в ход пошла! Только и слышишь: благонадежность да неблагонадежность!

– Нельзя, папаша! время нынче не такое, чтоб другие разговоры вести!

– То-то, что с этими разговорами как бы вам совсем не оглупеть. И в наше время не бог знает какие разговоры велись, а все-таки... Человеческое волновало. Искусство, Гамлет, Мочалов, "башмаков еще не износила"... Выйдешь, бывало, из Британии, а в душе у тебя музыка...

– А помните, папенька, как вы рассказывали: "идешь, бывало, по улице, видишь: извозчик спит; сейчас это лошадь ему разнуздаешь, отойдешь шагов на двадцать да и крикнешь: извозчик! Ну, он, разумеется, как угорелый. Лошадь стегает, летит... тпру! тпру!.. что тут смеху-то было!"

– Да, бывало и это, а все-таки... Нынче, разумеется, извозчичьих лошадей не разнуздывают, а вместо того ведут разговоры о том, как бы кого прищемить... Эй, господа! отупеете вы от этих разговоров! право, и не заметите, как отупеете! Ни поэзии, ни искусства, ни даже радости – ничего у вас нет! Встретишься с вами – именно точно в управу благочиния попадешь!

– Дядя! – вступился я, – надо же, однако, раз навсегда разъяснить...

– А коли надо, так и разбирайтесь между собой, а я – уйду. Надоело. Благонадежность да неблагонадежность... черт бы вас побрал!

Дядя не на шутку рассердился, хлопнул дверью и скрылся.

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) – Старичок! – произнес ему вслед Сенечка, но не только без гнева, а даже добродушно.

– А к старикам надо быть снисходительным, – прибавил я, – и ты, конечно, примешь во внимание, что твой отец... Ах, мой друг, не всё одни увеличивающие вину обстоятельства надлежит иметь в виду, но и...

– Еще бы!

За завтраком Сенечка продолжал быть благосклонным и, садясь за стол, ласково потрепал меня по плечу и молвил:

– Так, так, что ли? война?

И вновь повторил, что война ведется только против неблагонадежных элементов, а против благонадежных не ведется. И притом ведется с прискорбием, потому что грустная необходимость заставляет. Когда же я попросил его пояснить, что он разумеет под выражением "неблагонадежные элементы", то он и на эту просьбу снизошел и с большою готовностью начал пояснять и перечислять. Уж он пояснял-пояснял, перечислял-перечислял – чуть было всю Россию не завинил! Так что я, наконец, испугался и заметил ему:

– Остановись, любезный друг! ведь этак ты всех русских подданных поголовно к сонму неблагонадежных причислишь!

На что он уверенно и с каким-то неизреченным пренебрежением ответил:

– Э! еще довольно останется!

Вы понимаете, что на подобные ответы не может быть возражений; да они с тем, конечно, и даются, что предполагают за собой силу окончательного решения. "Довольно останется!" что ни делай, всегда "довольно останется!" – таков единственный штандпункт, на котором стоит Сенечка, но, право, и одного такого штандпункта достаточно, чтобы сделать человека неуязвимым.

Взгляните на бесконечно расстилающееся людское море, на эти непрерывно сменяющиеся, набегающие друг на друга волны людского материала – и если у вас слабо по части совести, то вы легко можете убедить себя, что сколько тут ни черпай, всегда довольно останется. И не только довольно, но даже и убыли совсем нет. Так что, ежели не обращать внимания на относительное значение вычерпываемых элементов – а при отсутствии совести что же может побудить задумываться над этим? – то почувствуется такая легкость на душе и такая развязность в руках, что, пожалуй, и впрямь скажешь себе: отчего же и не черпать, если на месте вычерпанной волны немедленно образуется другая?

Какая будет эта новая волна – это вопрос особый, и разрешит его, конечно, не Сенечка. У него взгляд на это дело количественный, а не качественный, и сверх того он находит отличное подкрепление этому взгляду в старинной пословице: было бы болото, а черти будут, которая тоже значительно облегчает его при отправлении обязанностей. Его даже не смущает мысль, что в том, чего, по его мнению, еще довольно останется, могут, в свою очередь, образоваться элементы, которые тоже, пожалуй, черпать придется. Он не глядит так далеко, но ежели бы и пришлось опять черпать, черпать без конца, он и тут не затруднится, а скажет только: черпать так черпать! Цельного, органического, полезного он, разумеется, не создаст, а вот рассекать гордиевы узлы да щипать людскую корпию – это он может.

Главный конек Сенечки и единственное вразумительное слово, которое не сходит у него с языка, – это «современность». Современность будто бы требует господства разнокалиберщины и делает ненужными идеалы. Загородившись современностью, Сенечка охотно готов заколоть в ее пользу будущее. Завтрашний день он еще понимает, потому что на завтра у него наклеивается новое дельце, по которому уже намечены и свидетели; но что будет послезавтра – до этого ему дела нет. Ни до чего нет дела: ни до влияний на общее настроение в настоящем, ни до отражений в будущем.

Он принадлежит к той неумной, но жестокой породе людей, которая понимает только одну угрозу: смотри, Сенечка, как бы не пришли другие черпатели, да тебя самого не вычерпали! Но и тут его выручает туман, которым так всецело окутывается



Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) представление о «современности». Этот туман до того застилает перед его мысленным взором будущее, что ему просто-напросто кажется, что последнего совсем никогда не будет. А следовательно, не будет места и для осуществления угроз.

Одним словом, Сенечка – один из тех поденщиков современности, которые мотаются из угла в угол среди разнокалиберщины и не то чтобы отрицают, а просто не сознают ни малейшей необходимости в каких бы то ни было выводах и обобщениях. Сегодня дельце, завтра дельце – это составит два дельца... Чего больше нужно?

– Сенечка, – сказал я, – допустим, что это доказано: война необходима... Но ты говоришь, что она будет продолжаться до тех пор, пока существуют неблагонадежные элементы. Пусть будет и это доказанным; но, в таком случае, казалось бы не лишним хоть признаки-то неблагонадежности определить с большей точностью.

– Да ведь я чуть не целый час перечислял тебе эти признаки!

– Да, но в этом перечислении скорее выразились указания твоего личного темперамента, нежели действительно твердые основания. Многие из указанных тобой признаков и фактов в целом мире принимаются как вполне благонадежные...

– В целом мире – да, а у нас – нет.

– Однако ведь это не резон, душа моя. Если в общечеловеческом сознании известное действие или мысль признаются благонадежными, то как же я могу угадать...

– Шалишь, брат! Не только можешь угадать, но и знаешь, положительно знаешь! Скажите, какая невинность – не может угадать!

– В том-то и дело, что ты в этом отношении безусловно ошибаешься. Не только положительно, но даже приблизительно я ничего не знаю. Когда человек составил себе более или менее цельное мирозерцание, то бывают вещи, об которых ему даже на мысль не приходит. И не потому не приходит, чтоб он их презирал, а просто не приходит, да и все тут.

– Так пускай приходит. Важная птица! ему какое-то мирозерцание в голову втемяшилось, так он и прав! Нет, любезный друг! ты эти мирозерцания-то оставь, а спустись-ка вниз, да пониже... пониже опустишь! небось не убудет тебя!

– Да если бы, однако ж, и так? если бы человек и принудил себя согласовать свои внутренние убеждения с требованиями современности... с какими же требованиями-то – вот ты мне что скажи! Ведь требования-то эти, особенно в такое горячее, неясное время, до такой степени изменчивы, что даже требованиями, в точном смысле этого слова, названы быть не могут, а скорее напоминают о случайности. Тут ведь угадывать нужно.

– И угадывай!

– Согласись, однако ж, что в выборе между случайностями не трудно и ошибиться. Стало быть, по-твоему, и ошибка может подлежать действию войны?

– Да-с, может-с.

– Так что, собственно говоря, в основании твоей войны лежит слепая случайность?

– Да-с, случайность... ну, что ж такое, что случайность! На то война-с!

Сенечка начал к каждому слову прибавлять слово-ерс, а это означало, что он уж закипает. Право вести войну казалось ему до такой степени неоспоримым, а определение неблагонадежности посредством неблагонадежности же до такой степени ясным, что в моих безобидных возражениях он уже усматривал чуть не намеренное противодействие. И может быть, и действительно рассердился бы на меня, если б не вспомнил, что сегодня утром ему «удалось». Воспоминание это явилось как раз кстати, чтоб выручить меня.

– Ну-ну! – воскликнул он благосклонно, – чуть было я не погорячился! А сегодня мне горячиться грех. Сегодня, душа моя, я должен быть добр. Впрочем, куда это еще секрет, но со временем ты узнаешь и сам увидишь... Да, так о чем же мы говорили? Об том, кажется, что и случайность следует угадывать? – что ж, я

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) думаю, что мой взгляд правильный! Мы в такое время живем, когда случайность непременно должна быть полагаема на весы. Конечно, тут могут произойти ошибки: степень виновности, содействие или только попустительство и так далее... но ведь в каком же человеческом деле не бывает ошибок? И притом никто не препятствует приносить оправдания... Напротив! раскаяние – ведь это, так сказать, цветок... Ах, голубчик! поверь, что я и сам всем сердцем болею... и всегда, при всяком удобном случае, сколько могу... И может быть, не один заблуждающийся пролил благодарную слезу... Но ты, кажется, не веришь?

– Помилуй! даже очень верю!

– Ты, пожалуйста, не смотри на меня, как на дикого зверя. Напротив того, я не только понимаю, но в известной мере даже сочувствую... Иногда, после бесконечных утомлений дня, возвращаясь домой, – и хочешь верить, хочешь нет, но бывают минуты, когда я почти готов впасть в уныние... И только серьезное отношение к долгу освежает меня... А кроме того, не забудь, что я всего еще надворный советник, и остановиться на этом...

– Было бы безрассудно... о, как я это понимаю! Ты прав, мой друг! в чине тайного советника, так сказать, на закате дней, еще простительно впасть в меланхолию – разумеется, ежели впереди не предвидится производства в действительные тайные советники... Но надворный советник, как жених в полночи, непременно должен стоять на страже! Ибо ему предстоит многое совершить: сперва получить коллежского советника, потом статского, а потом...

– Да, но иногда все-таки не сдержишь себя и задумаешься. Всё язвы да язвы кругом – тяжело, мой друг! Должно же когда-нибудь наступить время для уврачевания их!

– Стало быть и уврачевание входит в твою программу? – радостно изумился я.

– Еще бы! ведь я до сих пор только растрavляю... на что похоже! Правда, я растрavляю, потому что этого требует необходимость, но все-таки, если б у меня не было в виду уврачевания – разве я мог бы так бодро смотреть в глаза будущему, как я смотрю теперь?

– Ах, голубчик! так что ж ты давно мне об этом не сказал?

– И поверь мне, что рано или поздно, а дело уврачевания поступит на очередь. И даже скорее рано, чем поздно, потому что не далее как вчера я имел об этом разговор, и вот, в кратких словах, результат этого разговора: не нужно поспешности! но никогда не следует упускать из вида, что чем скорее мы вступим в период уврачевания, тем лучше и для нас, и для всех! Для всех! – повторил он, прикладывая к носу указательный палец.

– Bravo! Сенечка! так давай же говорить об уврачевании!

– С удовольствием, мой друг, хотя, как я уже объяснил тебе, очередь...

– Да мы будем говорить без очереди... так! В чем же, по-твоему, должно заключаться уврачевание?

– Ну, это будет зависеть... Прежде всего, надо расчистить почву, а потом уж и средства уврачевания определятся сами собой.

– Так, значит, вперед, и тут ни на что верное рассчитывать нельзя?

– Вперед, душа моя, только утописты загадывают; действительная же мудрость в том состоит, чтобы пользоваться наличным материалом и с помощью его созидать будущее. Насущных вопросов, право, больше чем достаточно, и ежели хотя часть их подвергнуть рассмотрению – разумеется, в пределах благоразумия, – то и в таком случае дело уврачевания значительно подвинется вперед. А который из этих вопросов надлежит рассмотреть немедленно и который до времени положить под сукно – это уж покажут обстоятельства. Повторяю: прежде всего надо расчистить почву, а потом уже созидать!

– Эх, кабы ты поскорее ее расчистил! Взял бы да и... только уж, сделай милость, меня-то не прихвати!

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru – что ты! что ты! успокойся, мой друг! Так вот к этой самой расчистке я и направляю все мои усилия. Надеюсь, что они увенчаются успехом, но когда именно наступит вожделенный день, – все-таки заранее определить не могу.

– Но надеюсь, что когда этот день наступит... чин коллежского советника... а?

– Ну, чин-то коллежского советника я и так, за выслугу лет, получу...

– Стало быть, Wladimir?.. браво, Сенечка! браво!

– Владимир не Владимир, а Анны вторья... это, пожалуй, не невозможно.

Разумеется, я поспешил заранее поздравить его, и, право, мне кажется, он был очень доволен, что перспектива уврачевания разрешалась так удачно при помощи Анны вторья.

Итак, прежде всего: война так война! потом «уврачевание», но в чем оно будет состоять – бабушка еще сказала надвое. Таковы Сенечкины «принципии». И в заключение Анны вторья – это, кажется, самое ясное.

Некоторое время Сенечка сидел в состоянии той приятной задумчивости, которую обыкновенно навевают на человека внезапно открывшиеся перспективы, полные обольстительнейших обещаний. Он слегка покачивал головой и чуть слышно мурлыкал; я, с своей стороны, сдерживал дыхание, чтоб не нарушить очарования. Как вдруг он вскочил с места, как ужаленный.

– А ведь я позабыл! – воскликнул он, бледнея. – Самое главное-то и забыл! Что, ежели... но нет, неужто судьба будет так несправедлива?.. А я-то сижу я «уврачеваниями» занимаюсь! Вот теперь ты видишь! – прибавил он, обращаясь ко мне, – видишь, какова моя жизнь! И после этого... Извини, что я тебя оставляю, но мне надо спешить!

Он бегом направился к двери, а через несколько секунд уже был на улице. Не успел я хорошенько прийти в себя от этой неожиданности, как в дверях столовой показалась голова дяди.

– Убежал? – спросил он меня.

– Да, что-то случилось...

– Это он опять на ловлю... вот жизнь-то анафемская! И каждый день так... Придет: ну, слава богу, изловил! посидит-посидит, и вдруг окажется, что изловил да не доловил – опять бежать надо! Ну, и пускай бегают! А мы с тобой давай будем об чем-нибудь партикулярном разговаривать!

\* \* \*

То же самое отсутствие жизненных выводов усматривает и дыба, и чрезвычайно об этом скорбит. Представьте, какое с ним курьезное на днях происшествие случилось. Встал он утром с постели, как обыкновенно, правой ногой, умылся, справился, не приезжал ли за ним курьер с приглашением прибыть для окончательных переговоров по весьма нужному делу, спросил кофею, взял в руки газету, и вдруг... видит: "увольняется от службы по прошению: бесшабашный советник дыба". Сначала, разумеется, не понял и даже с расстановкой произнес:

– Од-но-фа-ми-лец!

Но вслед за тем как вскочит!.. Караул!

Надо вам сказать, что еще накануне вечером он успел заручиться, что именно теперь-то и нужна его опытность. Заручившись, пошел в клуб; там ему тоже сказали: именно теперь ваша опытность особливую пользу оказать должна. Он, с своей стороны, скромно отвечал, что не прочь послужить, поужинал, веселый воротился домой и целый час посвятил на объяснение молодой кухарке, что в скором времени он, по обстоятельствам, наймет повара, а ей присвоит титул домоправительницы и, может быть, выдаст замуж за главноначальствующего над курьерскими лошадьми. Во сне видел мероприятия и, должно полагать, веселые, потому что громко смеялся. Еще когда мы вместе с ним Kraenchen в Эмсе глотали – уж и тогда он об этих мероприятиях речь заводил. Но никак, бывало, до конца

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) довести рассказа не может: дойдет до середины – и вдруг со смеху прыснет! А я стою смотрю, как он заливается, и думаю: Господи! неужто?

Долго он не мог понять, как это так: прошения он не подавал, а уволен – по прошению! и в первые дни даже многим в этом смысле жаловался. Однако ж, наконец, понял. Но понял опять-таки чересчур абсолютно. Впал в уныние, сразу утратил веру в будущее и женился на молодой кухарке, пригласив в посаженные отцы Удава. И на другой день свадьбы к нему опять приехал курьер с приглашением пожаловать для "окончательных переговоров по известному делу". Разумеется, поспешил явиться и на этот раз убедился, что действительно существует такая комбинация, для осуществления которой его опытность необходима. Но в ту самую минуту, как он уже откланивался, курьер подал только что полученный пакет, заключавший в себе краткий пасквиль (очевидно, направленный предательской рукой), в виде пригластного билета следующего содержания: "Бесшабашный советник Дыба и вильманстрандская уроженка Густя Вильгельмовна покорнейше просят пожаловать такого-то числа на их бракосочетание (по языческому обряду) в Демидов сад, а оттуда на Пески в кухмистерскую Завитаева на бал и ужин". Тщетно доказывал Дыба, что это произошло с ним вследствие уныния, но что, во всяком случае, бракосочетание в Демидовом саду, и притом в зимнее время и по языческому обряду, не может иметь серьезного значения; тщетно уверял, что, по первому же требованию, он даст Густе расчет, а буде во власти будет, то и сошлет ее в места более или менее отдаленные, – будущее его было разбито навсегда! Помилуйте! какой же это деятель, который так быстро приходит в уныние! И затем столь же быстро сообщает этому унынию игривый и даже вызывающий характер, приглашая к участию в оном вильманстрандскую уроженку! ведь этак, пожалуй, и до потрясения основ недалеко!

Все это рассказал мне впоследствии Удав, который в этом случае поступил совершенно по-современному. Отказаться от приглашения Дыбы, вследствие существовавшей между ними старинной дружбы, ему, конечно, было неловко; поэтому он отправился в Демидов сад, обвел молодых вокруг ракитового куста (в это время – представьте! – пели вместо тропаря горловское посвящение Мусину-Пушкину!), осыпал их хмелем – и затем словно в воду канул. Даже к Завитаеву ужинать не поехал. Да и вообще никто из почетных гостей не прибыл в кухмистерскую (было приглашено: пятьдесят штук тайных советников, сто штук действительных статских советников, один бегемот, два крокодила и до двухсот коллежских асессоров, для танцев), а приехали какие-то «пойги» из Вильманстранда, да штук двадцать подруг-кухарок, а в том числе и моя кухарка. Затем, на другой день (вслед за "окончательными переговорами"), Удав не сказался дома, на третий день – тоже, а сам уж, конечно, к бывшему другу – ни ногой. Так что Дыба, придя в третий раз, потоптался-потоптался перед запертой дверью коварного друга и вдруг решил... ехать ко мне!

В наше смутное и предательское время подобные пассажи со мной случаются нередко. По особенным, совершенно, впрочем, от меня не зависящим причинам я считаюсь человеком неудобным. Поэтому многие из моих школьных товарищей и даже из друзей, как только начинают серьезно восходить по лестнице чинов и должностей, так тотчас же чувствуют потребность как можно реже встречаться со мной. Дальше – больше, и наконец, когда в черепе бывшего друга, вследствие накопления мероприятий, образуется трещина, то он уже просто-напросто, при упоминании обо мне, выказывает изумление: "а? кто такой? это, кажется, тот, который..." Впрочем, встречаясь со мной за границей, эти же самые люди довольно охотно возобновляют старые дружеские отношения и даже по временам поверяют мне свои административные мечтания. Вместе со мной любят окрестными видами, пьют дрянное местное вино и приговаривают: а у нас и этого нет! Нередко речь между нами заходит и о любви к отечеству, и когда я начинаю утверждать, что любить отечество следует не "за лакомство" (вроде уфимских земель), а просто ради самого отечества, то крепко и сочувственно жмут мне руку. Но в особенности много обращается ко мне сердец, постигнутых катастрофой, в форме отставки, причисления или сдачи на хранение в совет или в старый сенат. Последние еще несколько остерегаются – ведь чем черт не шутит! вдруг занедобятся! – и заходят ко мне только в сумерки, но отставные – так и прут. Видя себя на самом дне реки забвения, они становятся бесстрашными и совершенно не дорожат своей репутацией. Придут, усядутся, бормочут и сами же, слушая свое бормотанье, заливаются смехом. Очевидно, надеются, что я что-то по этому поводу «опишу». Я и описываю, только не то, что они рассказывают – по большей части, этих рассказов и понять нельзя, – а совсем другое. Впрочем, некоторые и из отставных впоследствии раскаиваются, перестают ходить и даже начинают на всех перекрестках ругательски меня ругать. Но успевают ли они этим

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) путем восстановить свою утраченную репутацию – этого я не знаю, потому что не любопытен.

Нередко я спрашиваю себя: примет ли от меня руку помощи утопающий действительный тайный советник и кавалер? – и, право, затрудняюсь дать ясный ответ на этот вопрос. Думается, что примет, ежели он уверен, что никто этого не видит; но если знает, что кто-нибудь видит, то, кажется, предпочтет утонуть. И это нимало меня не огорчает, потому что я во всяком человеке прежде всего привык уважать инстинкт самосохранения.

Из этого вы видите, что мое положение в свете несколько сомнительное. Не удалось мне, милая тетенька, и невинность соблюсти, и капитал приобрести. А как бы это хорошо было! И вот, вместо того, я живу и хоронюсь. Только одна утеха у меня и осталась: письменный стол, перо, бумага и чернила. Покуда все это под рукой, я сижу и пою: жив, жив курилка, не умер! Но кто же поручится, что и эта утеха внезапно не улетучится?

Итак, дыба направился ко мне. Пришел, пожал руку, уселся и... покраснел. Не привык еще, значит.

– А я... поздравьте... вольная птица! – начал он как-то сразу и, повернувшись в кресле, сделал рукой в воздухе какой-то удивительно легкомысленный жест, как будто и в самом деле у него гора с плеч свалилась.

– Ах, вашеество! как же это так? стало быть, изволили соскучиться?

– Да, скучно... и притом вижу... не стоит!

– А мы-то, вашеество, надеялись! И я, и дети мои. Наконец-то, думаем, наступила минута, когда опытность вашего особливую пользу оказать должна!

– Думал и я... то есть, не я, а... но, впрочем, что ж об этом! Не стоит! Подал прошение – и квит!

Он помолчал с секунду и потом прибавил:

– Теперь милости просим к нам! Свободные люди! И я и Густя Вильгельмовна – очень, очень будем рады! Чашку кофе откусать или так посидеть... очень приятно!

Но чем больше он говорил, тем больше краснел и как-то нервно подергивался в кресле. Разумеется, я ответил, что сочту за честь, но в то же время никак не мог прийти в себя от изумления. Вот, думалось мне, человек, который, несколько дней тому назад, вполне исправно выполнял все функции, какие бесшабашному советнику выполнять надлежит! Он и надеялся и роптал; и приходил в уныние при мысли, что Уфимская губерния роздана без остатка, и утешал себя надеждою, что Россия велика и обильна и стало быть... И вдруг теперь он сознаёт себя отрешенным от всех ропотов и упований, от всего, что словно битым стеклом наполняло пустую дыру, которую он называл жизнью, что заставляло его вздрагивать, трепетать, умиляться, строить планы, ждать, ждать, ждать... Как ему должно быть теперь нехорошо! С каким удивлением он должен был прислушиваться к собственному голосу, когда говорил извозчику: на Литейную – двугривенный! – к этому голосу, который привык возглашать: к генерал-аншефу такому-то – четвертак!

– Но что же могло вашеество побудить? в цвете лет и сил? в полном разгаре готовности усердия? – допытывался я.

– Надоело. Вижу: суета, а результатов нет. По целым месяцам сидишь, в окошко глядишь: какой результат? И что ж, даже не приглашают! Подал прошение – и квит!

– С точки зрения вашего личного чувства это, конечно, вполне понятно... – начал было я, но он, не слушая меня, продолжал:

– А то вдруг – потребуют... "ваша опытность..." И только что начинаешь это вслушиваться, как вдруг курьер: такой-то явился! – "Ах, извините! пожалуйста в другой раз!" Воротишься домой, опять к окошку сядешь, смотришь, ждешь... не требуют! Подал прошение – и квит!

– Позвольте, вашеество! с точки зрения вашего личного успокоения, это, может

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) быть, и благоразумно; но вы упускаете из вида, что люди в вашем положении не имеют права руководиться одними личными предпочтениями... Ведь за вами стоит не что-нибудь, а, так сказать, обширнейшая в мире держава...

– Знаю, мой друг. Но и за всем тем ничего не могу. Результатов не вижу – это главное!

– А на вашем месте я сел бы опять к окошечку, да и ждал бы. Сегодня – нет результатов, завтра – нет результатов, а послезавтра – вдруг результат!

– Сомнительно. Ну, да теперь уж и ждать нечего. Подал прошение – и квит. Тем хорошо, что, по крайней мере, выяснилось раз навсегда!

– Ну, нет, вашество, не говорите этого! может и вновь такой случай выйти...

– Нет уж, мой друг, нечего по-пустому загадывать! Конец. И я оччень-оччень рад!

Он на минутку поник головой, задумался, вздохнул и опять повторил:

– Оччень-оччень рад! Подал прошение – и квит!

Отдавши дань грусти, дыба, однако ж, вспомнил, что ему, как бесшабашному советнику, следует быть любезным. Поэтому, оглядев стены моего кабинета, он продолжал:

– А у вас хорошо... даже очень прилично... да! Обойцы на стенах, драпри... а внизу на лестнице швейцар! Хорошо. Много за квартиру платите?

– Столько-то.

– Тсс... скажите! и много комнат занимаете?

– Столько-то.

– Тсс... а я в Подьяческой на три комнаты меньше имею, а почти то же плачу!

Он еще раз подивился, покачал головой и, протягивая мне руку, сказал:

– Поздравляю!

Разумеется, я был очень польщен. Повел его по всем комнатам, и везде он меня похвалил, а в некоторых комнатах даже выразил приятное изумление. В коридоре повел носом, учуял, что пахнет жареной печенкой, умилился и воскликнул:

– Тсс... печенка?! очень, очень приятное кушанье! Не дорогое, а превкусное.

Так что я сейчас же распорядился подать ему два куска, и, право, даже на мысль мне при этом не пришло: а ну, как он повадится ходить, да в лоск меня объест!

Поевши, он опять разговорился.

– Стало быть... живете? – спросил он, вновь оглядывая стены моего кабинета.

– Живу, вашество!

– И я живу. И все мы живем. Нельзя. Только надоело... мерзко смотреть! Сутолока какая-то, суета, столпотворение, а результатов – нет! Подал прошение – и квит!

– Это так точно. Но, впрочем, позвольте, вашество, доложить: каких же еще результатов ждать? и будто нам нужны какие-нибудь результаты?

– Результаты, мой друг, должны сами собой явствовать. Спрошу вас: знаете ли вы, что такое силлогизм?

– Ах, вашество!

– Ну, так вот силлогизм... Скажем к примеру так: Кай смертен; Кай – человек;

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) следовательно, все люди смертны. Вот вам и результат!

– Ну, бог с ними, с такими результатами, которые об смерти поминают. Но, кроме того, можно ведь и другим манером этот же самый результат повернуть. Например, так: все люди смертны, Кай – человек, следовательно, Кай смертен. Поди, уличи меня, что я сфальшивил!

– Можно и так. На все лады можно. А вот как этак вам говорят: Кай – человек, а палка в углу стоит – вот тут уж никакого результата не выйдет!

– Нет, и тут может выйти результат: следовательно, Кай сидит дома, а не прогуливается.

– А он, может быть, без палки гулять вышел?

– А тогда можно будет сказать так: следовательно, Кай и без палки вышел гулять!.. Да я вам, вашество, из какого угодно материала, в одну минуту, таких результатов насочиняю, что отдай всё, да и мало!

– Ну, нет, все-таки...

– Непременно сколько угодно насочиняю.. Оттого-то я и говорю: никаких нам результатов не нужно! Я ведь тоже, как и вашество, сажу у окошка да поглядываю.. Только вот об результатах не думаю, а просто поглядываю – оттого и кручины не знаю.

– А я так знаю. И вы со временем, когда серьезно взглянете.. Мерзко!.. да-с! Вот мы с вами за границей целое лето провели – разве там так люди живут?

– Ах, вашество, да ведь там какая почва земли-то! Разве этакая земля без результатов может родить? А у нас и без результатов земля родит!

Он вытарашил на меня глаза, словно не понял силы моего возражения. Но потом пожевал губами, тряхнул головой и, по-видимому, решил понять.

– Н-да?

– Помилуйте, да это факт! Об этом и в "Трудах комиссии несведения концов" записано. У них земля – камень, а у нас – на сажень чернозем, да говорят, что в крайнем случае и еще сажень на пять будет! Тут сколько добра-то?

– Н-да?

Он удивлялся все больше и больше. Разумеется, я воспользовался этим.

– Оттого нам можно без результатов жить, а им – нельзя. Им тяжело, а нам легко. Или опять фабрики-заводы.. У других этого добра – пропасть, а у нас – первой-другой, и обчелся!

– И это, стало быть?..

– А то как же, вашество! все надо в счет полагать! Конечно, мы, люди партикулярные, сидим и не догадываемся, а между тем в общей массе, да еще при содействии трудов комиссии несведения концов..

– Стало быть, и климат и местоположение – все нужно в счет полагать?

– Конечно, все. Там – горы, у нас – паспорта; там тепло, у нас – холодно; там местоположение – у нас нет местоположения; там сел да поехал, а у нас в каждом месте: стой, сказывай, кто таков! какой такой человек есть? Нет, вашество, нам в пору попросту, без затей прожить, а не то чтобы что!

Он опять вытарашил на меня глаза и даже несколько как бы поглупел. Я тоже потерял концы и не знал, на чем я остановился, и почему на том, а не на другом.

– И все-таки.. надоело! – наконец молвил он, вспомнив о своем недавнем приключении.

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)  
– Надоело – это так! Но что именно надоело – это еще вопрос!

– Суета надоела – вот что!

– И суета, да опять и то, что результатов никаких нет – а я что же говорю? Идем, бежим, а куда – не знаем! Даже на конках теперь во весь опор лошадей пускают! Раздавят человека, а для чего раздавили и какой от этого результат – не знают...

– Именно так!

– Вот хоть бы с вашеством... Пригласили вас, и вы уж совсем было приспособились, и вдруг: "извините, теперь некогда, пожалуйста, в другое время!"

– Вот именно я это самое и утверждал. А вы...

– И я. Объясниться нам нужно – вот и все. Все равно как в журнальной полемике: оба противника, в сущности, одно и то же говорят, а между тем, зуб за зуб!

– Так что ваша ссылка на чернозем...

– Чернозем – это само по себе. Это в своем месте будет значение иметь. А покуда нам нужно было объясниться – вот мы и объяснились.

Он раскрыл было рот, чтобы возразить, но подумал, хлопнул зубами и замолчал.

Я тоже, по-видимому, высказал все, что накопилось у меня на душе.

– Ну, дай вам бог! – сказал он, вставая и берясь за шляпу. – Прекрасная у вас квартира... прекраснейшая!

В передней он в последний раз протянул мне руку и умилился.

– Так вот мы и познакомились! – произнес он с чувством. – На этот раз, надеюсь, прочно будет... Но если бы даже впоследствии и вышел результат, то, во всяком случае... Милости просим к нам! И я и Густя Вильгельмовна... Посидеть, побеседовать...

Наконец он удалился, а я сел к окошку и стал ждать результатов. И вдруг – курьер! – Откуда, друг? – Из Главного управления по делам печати... ах!

\* \* \*

Впрочем, это мне только показалось, что курьер пришел, а в действительности в мой кабинет влетела «Индюшка». И вдруг вся моя квартира пропахла юпочным мельканием, кислятиной и вздором.

– Господи, какая скука! – приветствовала она меня. – Хоть бы кто-нибудь пригласил! Вчера ездила-ездила, вижу, у Чистопольцевых огонь, звонюсь, выходит лакей: барыне сынка бог послал, а барин сидят запершись в кабинете и донос пишут... Хоть бы запретили!

– Что запретили бы? рожать или доносы писать?

– Ах, какой ты! И без того скучно, а ты... Вот Дарья Семеновна – та отлично устроилась. Я, говорит, та chere, с тех пор, как эта скука пошла, каждый день все в баню езжу!

– И ты бы ездила!

– Я не могу: в бане-то надо за номер пять рубликов платить, а у меня Пентюхово-то уж в двух местах заложено... В одном месте по настоящему свидетельству, а в другой раз мне Балалайкин состряпал... Послушай, однако ж, cousin! неужто я тебе так скоро надоела, что ты уж и гонишь меня?

– Христос с тобой, милушка! когда же я тебя гнал?

– Вот сейчас в баню посылал. Не бойся, пожалуйста! не задержу! Я к тебе за делом.

Говоря это, она подошла к зеркалу, высунула язык и начала подлизывать верхнюю



Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)  
губу.

– И ведь какая эта Чистопольцева! – болтала она. – Туда же, радуется: бог сына дал! Скажите, какое лакомство!

– Однако, мой друг, все-таки утешение!

– А по-моему, так хоть бы их совсем не было, этих сыновей... По крайней мере, я бы теперь на свободе, куда бы хотела, туда бы и поехала... Уж эти мне сыновья! да! что бишь, я хотела тебе рассказать?

– Не знаю, душа моя. Вот об дочерях ты еще ничего не говорила, так, может быть, об них что-нибудь молвишь...

– Ах нет, не об том. А впрочем, что ж дочери!.. Дочь тогда хороша, когда она на мать похожа, когда она «правила» имеет, а эти нынешние...

– Да успокойся, пожалуйста! вспомни лучше, что ты хотела мне сообщить?

– Ах, да... вот! Представь себе! у нас вчера целый содом случился. С утра мой прапорщик пропал. Завтракать подали – нет его; обедать ждали-ждали – нет как нет! Уж поздно вечером, как я из моей *tournee*[54] воротилась, пошли к нему в комнату, смотрим, а там на столе записка лежит. "Не обвиняйте никого в моей смерти. Умираю, потому что результатов не вижу. Тело мое найдете на чердаке"... Можешь себе представить мое чувство!

– Ах, бедная!

– Разумеется, побежали на чердак, и что ж бы ты думал? – он преспокойно прислонился себе к балке и спит! И веревка в двух шагах через балку перекинута! Как только вороны глаз ему не выклевали... чудеса!

– Ну, что уж! слава богу, что жив!

– Нет, ты представь себе, какие штуки он надо мной строит! Уж я кротка-кротка, а такую ему, мерзавцу, пощечину вклеила, что в другой раз, если уж он задумает повеситься, так уж... Нет, ты скажи, мать я или нет?

– Коли сама рожала...

– Не только рожала, а меня из-за него, мерзавца, тогда чуть на куски не изрезали... Представь себе: ногами вниз, да еще руки по швам – точно в поход собрался! А сколько я мук приняла, покуда тяжела им ходила... и вот благодарность за все!

– Ну, положим, он тут не виноват...

– И все-таки мог бы мать поблагодарить. А он – вон что, вешаться выдумал! Вот почему я и говорю про Чистопольцеву: дура! И все дуры, которые... Я и бабеньке сегодня говорила: стоит ли после этого детей иметь! А у ней этот противный Стрекоза сидит: "иногда, сударыня, без сего невозможно!" Ах, хоть бы его поскорей сенатором сделали! Что бы начальству стоило!

– Что тебе так занудобилось?

– Тогда бабенька за него замуж бы вышла. Говорят, будто семидесяти лет не позволяют – ну, да ведь в память Аракчеева... По крайней мере, повеселилась бы на свадьбе, а то что! Все ходят, словно скованные, по углам, да результатов ждут...

– Ну-ну-ну! отдохни минуточку. Скажи: спрашивала ли ты у своего прапорщика, об каких это он результатах в записке своей упоминал?

– Поручики спрашивали, да разве он скажет?

– Однако ж сказал же он что-нибудь, как вы на чердаке-то его нашли?

– Ничего не сказал. Только удивился, когда я ему плюху вклеила, да немного погодя промолвил: есть хочу! Хорошо, что у меня от обеда целый холодный ростбиф

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) остался!

– Да неужто же наконец...

– Нет, ты представь себе, если б у меня этого ростбифа не было! куда бы я девалась? И то везде говорят, что я все сама ем, а детей голодом морю, а тут еще такой скандал!

– Ну, что тут! дала бы целковый, и пусть к Палкину идет!

– Это чтоб он опять... слуга покорная! выходки-то его у меня вот где сидят!

Сказавши это, она чем-то ужасно обеспокоилась и опять побежала к зеркалу.

– Душка! сделай милость, посмотри! Кажется, у меня сзади что-то взбилось?

Но в эту минуту в передней раздался звонок, и прапорщик, собственным лицом, предстал перед нами.

– А! господин удавленник! – приветствовала его «Индюшка». – Полюбуйтесь, милый дяденька, на племянничка... хорош?

– А вы, мамаша, уж благовестите?

– И буду благовестить, и буду, и буду, и буду! – зачестила она. – В полк, в казармы поеду! всем разблаговещу, как ты задавиться собирался! Ну, что ж ты не задавился, что ж?

И она, прискакивая и дразня, кружилась вокруг него, приговаривая: – непременно, непременно! поеду и всем расскажу!

– Ну, да будет, Nadine, – вступился я, – а ты, фендрих, с чего это, в самом деле, вешаться вздумал?

Прапорщик некоторое время колебался, но наконец процедил сквозь зубы:

– Надоело.

– Что надоело?

– Скучно... результатов нет... ничего не поймешь!

– Скучно да надоело! – кипятилась "Индюшка", – так что ж ты не удавился, коли тебе скучно? Скажите! ему скучно! А ты бы у матери прежде спросил, весело ли ей на твои штуки-фигуры смотреть!

– Наденька! да будь же умница!

– Нет, ты скажи ему, родной! скажи этому дурному сыну, что он должен мать уважать!

– Да разве он...

– Нет, ты уж, пожалуйста, скажи! Неужто ж и ты, как эти...

Она затруднилась.

– Ну, вот эти, как их...

– Да понимаю я, не ищи!

Милая тетенька! если б я не знал, что кузина Наденька – «Индюшка», если бы я сто раз на дню не называл ее этим именем, задача моя была бы очень проста. Но ведь она – «Индюшка»! это не только я, но и все знают; даже бабенка, и та иногда слушает-слушает ее, и вдруг креститься начнет, точно ее леший обошел. Да и в настоящем случае она себя совсем по-индюшечьи вела: курлыккала, нелепо наступала на сына, точно собиралась уклонуть его. Как тут сказать этому сыну: вот птица, которую ты должен уважать?! Однако ж я перемог себя и сказал:

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

– Взгляни на почтеннейшую свою родительницу и пойми, как ты ее огорчил!

– Вот так! пойми, пойми дурной сын! – радостно подтвердила «Индюшка». – А теперь, родной, вели ему, чтоб он у татап прощенья попросил.

– Ах, да зачем это тебе?

– Нет, как хочешь, а я не отстану! Ivan! – обратилась она к сыну, – говори: простите меня, мамаша, за то огорчение, которое причинил вам мой поступок!

Но Ivan вдруг как-то весь в комок собрался и уперся (даже ноги врозь расставил), как будто от него требовали, чтоб он отечеству изменил.

– Непременно говори! – настаивала «Индюшка». – Говори, сейчас говори: "татап! простите меня, что я вас своим поступком огорчил!"

– Ах ты, господи! – заметался Ivan, словно в агонии.

– Нет, нет, нет! говори! Я тебя в смирительном доме сгною, если ты у татап прощенья не попросишь... дурной!

Но прапорщик продолжал стоять, расставивши ноги, – и ни с места.

– Да скажешь ли ты наконец... оболтус ты этакой! – крикнул и я в свою очередь, чувствуя, что даже стены моего кабинета начинают глупеть от родственных разговоров.

– Из-ви-ни-те, та-тап, что я о-гор-чил... – чуть-чуть не давился Ivan.

– Ну, вот и прекрасно! – подхватил я.

– Нет, погоди! "Своим поступком", – подсказала "Индюшка".

– Сво-им по-ступ-ком...

– Ну, вот, теперь прощаю! Теперь – все забыто. И я тебя простила, и ты меня прости. Я тебя простила за то, что ты свою татап обеспокоил, а ты меня прости за то, что я тебе тогда сгоряча... Ну, пусть будет над тобой мое благословение! А чтобы ты не скучал, вот пять рублей – можешь себе удовольствие сделать!

– Бери! – посоветовал я, почти скрежеща зубами.

Насилу они от меня уехали. Но замечательно, что когда «Индюшка» распростилась со мной, а прапорщик собрался было, проводивши мать, остаться у меня, то первая не допустила до этого.

– Нет уж, сделайте милость! извольте с татап отправляться! – сказала она. – А то вы опять у дяденьки либеральничаний наслушаетесь, да домой давиться приедете!

И, обратившись ко мне, прибавила:

– Хорошо, что у меня тогда холодный ростбиф остался! А то, представь себе, он говорит: хочу есть! – а я...

Остальное она договорила уже в швейцарской.

\* \* \*

Так вот как, милая тетенька. Живем мы и результатов не видим. И оттого будто бы нам скучно.

Очень возможно, что вы найдете приведенные мною примеры неубедительными. Вы скажете, что и дыба, и фендрих Ivan, и «Индюшка» – всё это такого рода личности, ссылка на которых положительно ничего не доказывает... Извините меня, но ежели таково ваше мнение, то вы несомненно ошибаетесь. Подобно тому, как в прошлом письме я говорил по поводу свары, свившей гнездо в русской семье, повторяю и ныне: именно примеры низменные, заурядные и представляют в данном случае совершенное доказательство. Ведь им, этим бесшабашным людям, по-настоящему и бог

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) велел без результатов жизнь отбивать, а они, изволите видеть, скучают, беспокоятся, начинают подозревать, что в существовании их закралась какая-то пустота. Допустим, что они отчасти не умеют назвать эту пустоту по имени, а отчасти формулируют свое недовольство жизнью смутно и нелепо, тем не менее не подлежит сомнению, что им скучно, им надоело. И именно теперь, вот в настоящее время, эта скука настолько обострилась, что они ее явственно чувствуют, тогда как прежде они или не подозревали ее, или мирились с нею.

Конечно, надворный советник Сенечка объявляет себя довольным и даже достаточно нагло утверждает, что жизнь без выводов есть наиболее подходящий для нас *modus vivendi*, но ведь это только так кажется, что он доволен. Вспомните, как он побледнел и испугался при мысли, что нечто забыл; вспомните, с какою стремительностью он бросился из дома, чтобы поправить свой промах, – и вы поймете, что и он не на розах покоится. И это не исключительный случай с ним, а каждый день так бывает. Каждый день он непременно что-нибудь забудет, упустит из вида, не предусмотрит, и каждый день, вследствие этого, пугается и бледнеет. А отчего? – оттого, что вся его неустанная деятельность из одних обрывков состоит, а собрать и с्यूтить всю эту массу бессвязных обрывков – положительно немислимое дело. Если б у него был в виду результат, если б деятельность его развивалась логически и он сознавал ясно, куда ему надлежит прийти, – он наверное не отдал бы всего себя в жертву разношерстной сутолоке, которой вдобавок и конца нет. Некоторые части разнокалиберщины он бы отсек, другие – и сами собой не пришли бы ему на мысль. А теперь вся эта белиберда так и плывет на него, и уж не он ею распоряжается, а она им. Одну только цель он выяснил себе довольно определенно – это Анны вторья; но и она находится в зависимости от разнокалиберщины, которая свинцовой тучей повисла над его существованием. Так что и тут он не может не опасаться, что один неудачный или неосторожный шаг – и все его расчеты на Анны вторья будут скомпрометированы. И я положительно убежден, что он по несколько раз в день проклинает час своего рождения, и что только известная степень душевной оголтелости помогает ему выдерживать беспрестанные испуги, вроде того, которого я был случайным свидетелем, и, несмотря ни на что, упорствовать в омуте разнокалиберщины, с тем, чтобы вновь и вновь пугаться без конца.

Не всякий способен сознавать, что скука происходит вследствие отсутствия результатов, но всякий способен испытывать самую скуку. И верьте мне, что томительное ощущение скуки без сознания причин, ее обуславливающих, лежит на душе гораздо более тяжелым бременем, нежели то же самое ощущение, достаточно выслеженное и просветленное сознанием.

Работа мысли, проникновение к самым источникам невзгоды – представляют очень серьезное облегчение. Невзгода, в этом случае, прямо стоит перед человеком, и он или бросается в борьбу с нею, или старается оборониться от нее. Допустим, что ни в борьбе, ни в обороне он успеха не достигнет, но уж и то будет прибыль, что его деятельность найдет какой-нибудь выход. А, наконец, в крайнем случае, у него остается и еще убежище: чувство негодования, которое тоже, в известной мере, может дать содержание человеческому существованию. Но вот когда положение делается поистине ужасным – это когда человек томится и мечется, сам не понимая, отчего он томится и мечется. В этом случае он уж действительно ничего, кроме зияющей пустоты, перед собою не видит.

Большинство именно так и скучает. Просто не знает, куда деваться. «Индюшку» – «никто не приглашает»; дыбу хоть и «приглашают», но он и сам говорит: лучше бы уж не бредили. Фендрих нигде места найти не может, давиться хочет. Сенечка все что-то начинает, но ничего кончить не в силах. Доносят, ябедничают, выслеживают, раздирают друг друга и никак не могут понять: отчего даже такая лихорадочная, по-видимому, деятельность не может заслонить пустоту. Положительно, это такая надрывающая картина, которую только с великой натугой может создать самое изобретательное воображение.

Прибавьте ко всему этому бесконечную канитель разговоров о каких-то застоях, дефицитах, колебаниях и падениях, которые еще более заставляют съеживаться скучающее человечество. Я в этих застоях ровно ничего не понимаю и потому не особенно на них настаиваю, но все-таки не могу не занести их на счет, потому что они отравляют мой слух на каждом шагу. Не только книг (кому этот товар нужен?), но даже икры будто бы покупают против прежнего вдвое меньше. А уж коль скоро купчина завыл, то прочим и по закону подвывать полагается!

Куда девались чивые, ничего не жалеющие железнодорожники? Где веселые адвокаты?

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru  
Адвокаты-то нынче, тетенька, как завидят клиента... Ну, да уж бог с ними! смиренный нынче это народ стал! Живут, наравне с другими, без результатов... мило! благородно!

Вот, одним словом, до чего дошло. Несколько уж лет сплошь я сижу в итальянской опере рядом с ложей, занимаемой одним овошенным семейством. И какую разительную перемену вижу! Прежде, бывало, как антракт, сейчас приволокут бурак с свежей икрой; вынут из-за пазух ложки, сядут в кружок и хлебают. А нынче, на все три-четыре антракта каждому члену семейства раздадут по одному крымскому яблоку – веселись! Да и тут все кругом завидуют, говорят: миллионщик!

P. S. Сейчас приезжал Ноздрев: ждал, говорит, должности, да толку добиться не мог! газету, говорит, издавать решил! Просил придумать название; я посоветовал: «Помои». Представьте себе, так он этому названию обрадовался, точно я его рублем подарил! "Это, говорит, такое название, такое название... на одно название подписчик валом повалит!" Обещал, что на днях первый Но выйдет, и я, разумеется, с нетерпением жду.

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ  
Милая тетенька.

Представьте себе, ведь Ноздрев-то осуществил свое намерение: передо мною лежат уж два номера его газеты. Называется она, как я посоветовал: "Помои – издание ежедневное". Без претензий и мило. В программе-объявлении сказано: "мы имеем в виду истину" – еще милее. Никаких других обещаний нет, а коли хочешь знать, какая лежит на дне «Помоев» истина, так подписывайся. "Мы не пойдем по следам наших собратьев, – говорится дальше в объявлении, – мы не унизимся до широковещательных обещаний, но позволим сказать одно: кто хочет знать истину, тот пусть читает нашу газету, в противном же случае пусть не заглядывает в нее – ему же хуже!" А в выноске к слову «истина» сделано примечание: "Все новости самые свежие будут получаться нами из первых рук, немедленно и из самых достоверных источников". А в том числе, конечно, будет получаться и клевета.

Внешний вид газеты действует чрезвычайно благоприятно. Большого формата лист; бумага – изумительно пригодная; печать – сделала бы честь самому Гутенбергу; опечаток столько, что редакция может прятаться за ними, как за каменной стеной. Внизу подписано: редактор-издатель Ноздрев; но искусно пущенный под руку слух сделал известным, что главный воротило в газете – публицист Искариот. Не тот, впрочем, Искариот, который удавился, а приблизительно. Ноздрев даже намеревался его ответственным редактором сделать (то-то бы розничная продажа пошла!), но не получил разрешения, потому что формуляр у Искариота нехорош.

Со стороны внутреннего содержания газета делает впечатление еще более благоприятное. В передовой статье, принадлежащей перу публициста Искариота, развивается мысль, что ничто так не предосудительно, как ложь. "Нам все дозволяется, – говорит Искариот, – только не дозволяется говорить ложь". И далее: "Никогда лгать не надо, за исключением лишь того случая, когда необходимо уверить, что говоришь правду. Но и тогда лучше выразиться надвое". Затем рассматривает факты современной жизни, вредные – одобряет, полезные – осуждает, и в заключение восклицает: "так должен думать всякий, кто хочет оставаться в согласии с истиной!" А Ноздрев в выноске примечает: "Полно, так ли? Ред.". Вторая передовая статья подписана "Сверхштатный Дипломат" и посвящена вопросу: было ли в 1881 году соблюдено европейское равновесие? Ответ: было, благодаря искусной политике, а чьей – не скажу. Примечание Ноздрева: "Скромность почтенного автора будет совершенно понятна, если принять в соображение, что он сам и есть тот "искусный политик", о котором идет речь в статье. Ред.". В фельетоне фельетонист Трясучкин уверяет, что никогда ему не было так весело, как вчера на рауте у княгини Насофеполежаевой. Раут имел отчасти литературный характер, потому что княгиня декламировала: "Ах, почто за меч воинственный я свой посох отдала?", но из заправских литераторов были там только двое: он, Трясучкин, да поэт Булкин. Оба в белых галстуках. И когда княгиня произносила стих: "Зрела я небес сияние", то в гостиную вошел лакей во фраке и в белом галстуке и покурил духами. Так что очарование было полное. А когда, вслед за тем, сюрпризом явился фокусник, то вышел такой поразительный контраст, что все залились веселым смехом. Но ужина не было, "так что мы с Булкиным вынуждены были отправиться к Палкину и пробыли там до шести часов утра". Против имени княгини Насофеполежаевой Ноздрев приметил: "Урожденная Сильвупле, дочь действительного статского советника, игравшего в свое время видную роль по духовному ведомству",

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) а против фамилии поэта Булкина: "нет ли тут какого недоразумения?" На второй странице – разнообразнейшая «Хроника», в которой против десяти «известий», в выносках сказано: "Слышано от Репетилова", а против пяти: "Не клевета ли?" За хроникой следует тридцать три собственных телеграммы, извещающие редакцию, что мужик сыт. Но и тут выноска: "Истина вынуждает нас сознаться, что телеграммы эти составлены нами в редакции для образца". Третья страница посвящена корреспонденции из городов, коих имена не попали в "Список городских поселений", изданный статистическим отделом министерства внутренних дел. На четвертой странице – серьезная экономическая статья: "Наши денежные знаки", в которой развивается мысль, что ночью с извозчиком следует рассчитывать непременно около фонаря, так как в противном случае легко можно отдать двугривенный вместо пятиалтынного, "что с нами однажды и случилось". Статья подписана Не верьте мне, а в выноске против подписи сказано: "Не только верим, но усерднейше просим продолжать. Ред. Ноздрев". Наконец на самом кончике последнего столбца объявление: "ДЕВИЦА!! ищет поступить на место к холостому человеку солидных лет. Письма адресовать в город Копыс Прасковье Ивановне". Выноска: "Очень счастливы, что начинаем предстоящую серию наших объявлений столь любезным предложением услуг; надеемся, что и прочие девицы (sic) не замедлят почтить нас своим доверием. Конторщик Любострастнов".

Второй номер еще лучше. Начинается передовой статьей: "Военный бред", в которой указывается, что в тылу у нас – Белое море и Ледовитый океан. Статья подписана: "Бывший начальник штаба войск эфиопского принца Амонасро, из «Аиды». Во второй статье, публицист Искарриот с высот теоретических на почву современности и разбирает по суставам газету "Пригорюнившись Сидела", доказывая, что каждое ее слово есть измена. Затем помещено письмо Трясучкина, который извещает, что поэт Булкин совсем не «недоразумение», а автор известного стихотворения "Воззри в лесах на бегемота", а редактор Ноздрев в выноске на это возражает: "Но кажется, что это стихотворение, или приблизительно в этом роде, принадлежит перу Ломоносова?" Телеграммы опять составлены в стенах редакции, и по этому поводу Ноздревым сделано следующее «заявление»: "Невозможно, чтоб редакция на свой счет получала телеграммы из всех городов. Она свое дело сделала, т. е. составила и обнародовала образцы, а затем охотники, желающие видеть свои телеграммы напечатанными, обязываются уже на собственный счет посылать таковые в редакцию". На четвертой странице новая экономическая статья экономиста Не верьте мне, в которой развивается мысль, что когда играют в карты на мелок, то справедливость требует каждодневно насчитывать умеренные проценты. И в выноске: "Так мы и делаем. Ред.". В конце опять одно объявление: "КУХАРКА!! такое одно кушанье знает, что пальчики оближешь. Спросить на Невском от 10 до 11 часов вечера девицу «Ребятахвалили». Выноска: "Наши вчерашние ожидания постепенно оправдываются, но пускай же и прочие кухарки поспешат к нам с своими объявлениями. Конторщик Любострастнов".

И внизу, под обоими номерами достолюбезная подпись: редактор-издатель Ноздрев!!

Я разом проглотил оба номера, и скажу вам: двойственное чувство овладело мной по прочтении. С одной стороны, в душе – музыка, с другой – как будто больше чем следует в ретире замечтался. И, надо откровенно сознаться, последнее из этих чувств, кажется, преобладает. По крайней мере, даже в эту минуту я все еще чувствую, что пахнет, между тем как музыки уж давным-давно не слышать.

Но что всего больше поразило меня в новорожденном органе – это неизреченная и даже, можно сказать, наглая уверенность в авторитетности и долговечности. "Уж мне-то не заградят уста!" "Я-то ведь до скончания веков говорить буду!" – так и брызжет между строками. Во втором номере Ноздрев даже словно играет с персонами, на заставках команду имеющими. "Нас спрашивают некоторые подписчики, – говорит он, – как мы намерены поступить в случае могущей приключиться горькой невзгоды? то есть отдадим ли подписчикам деньги назад по расчету или употребим их на собственные нужды? На это отвечаем положительно и твердо: никакой невзгоды с нами не может быть и не будет. Мы не с тем предприняли дело, чтоб идти навстречу невзгодам, а с тем, чтобы направлять таковые на других. Тем не менее считаем за нужное оговориться, что не невозможен случай, когда опасения подписчиков рискуют оказаться и небезосновательными. А именно: ежели публика выкажет холодность к нашему изданию и не предоставит нам достаточных средств для его продолжения. Тогда мы еще подумаем, как нам поступить с подписчиками".

Таким образом, оказывается, что ежели вы, например, подпишетесь на «Помои», то для того, чтобы не потерять денег, вы обязываетесь уговаривать всех ваших

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) родственников, чтоб и они на «Помои» подписались... Справедливо ли это?

Но можете себе представить положение бедной "Пригорюнившись Сидела"? Что должны ощущать почтеннейшие ее редакторы, читая, как «Помои» перемывают ее косточки и в каждой косточке прозревают измену. Ведь у нас так уж исстари повелось, что против слова: «измена» даже разъяснений никаких не полагается. Скажет она: то, что я говорила, с незапамятных времен и везде уже составляет самое заурядное достояние человеческого сознания, и только «Помоям» может казаться диковиной – сейчас ей в ответ: а! так ты вот еще как... нераскаянная! Или скажет: я совсем этого не говорила, а говорила вот то-то и то-то – и тут готов ответ: а! опять за лганье принялась! опять хвостом вертишь! Словом сказать, выгоднее и приличнее всего окажется простое молчание. «Помои» будут растабарывать, а "Пригорюнившись Сидела" – молчать. Таково их взаимное провиденциальное назначение.

По-видимому, тактика Ноздрева заключается в следующем. По всякому вопросу непременно писать передовую статью, но не затем, чтобы выяснить самую сущность вопроса, а единственно ради того, чтобы высказать по поводу его "русскую точку зрения". Разумеется, вышутся люди, которые тронутся таким отношением к делу и назовут его недостаточным, – тогда подстеречь удобный момент и закричать: караул! измена!

Такого рода моменты называются «веяниями», а ведь известно, что у нас, коли вплотную повеет, то всякое слово за измену сойдет. И тогда изменников хоть голыми руками хватать.

Замечательно, что есть люди – и даже немало таких, – которые за эту тактику называют Ноздрева умницей. Мерзавец, говорят, но умен. Знает, где раки зимуют, и понимает, что по нынешнему времени требуется. Стало быть, будет с капиталцем.

Что Ноздрев будет с капиталцем (особливо ежели деньгами подписчиков распорядится) – это дело возможное. Но чтобы он был «умницей» – с этим я, судя по вышедшим номерам, никак согласиться не могу. Во-первых, он потому уж не умница, что не понимает, что времена переходчивы; а во-вторых, он до того в двух номерах обнажил себя, что даже виноградного листа ему достать неоткуда, чтобы прикрыть, в крайнем случае, свою наготу. Говорят, будто бы он меценатами заручился, да меценаты-то чем заручились?

Покамест, однако ж, ему везет. У меня, говорит, в тылу – сила, а ежели мой тыл обеспечен, то я многое могу дерзать. Эта уверенность развивает чувство самодовольства во всем его организме, но в то же время темнит в нем рассудок. До такой степени темнит, что он, в исступлении наглости, прямо от своего имени объявляет войны, заключает союзы и дарует мир. Но долго ли будут на это смотреть меценаты – неизвестно.

Не дальше, как сегодня, под живым впечатлением только что прочитанных номеров, я встретился с ним на улице и, по обыкновению, спутался. Вместо того, чтоб перебежать на другую сторону, очутился с ним лицом к лицу и начал растабарывать. "Как, говорю, вам не стыдно выступать с клеветами против газеты, которая, во всяком случае, честно исполняет свою задачу? Если б даже убеждения ее..." Но он мне не дал и договорить.

– Прежде всего, – прервал он меня, – я не признаю клеветы в журналистике. Журналистика – поле для всех открытое, где всякий может свободно оправдываться, опровергать и даже в свою очередь клеветать. Без этого немисливо издавать мало-мальски «живую» газету. Но, главное, надо же, наконец, за ум взяться. Пора раз навсегда покончить с этими гнездами разъевшегося либерализма, покончить так, чтоб они уж и не воскресли. Щадить врага – это самая плохая политика. Одно из двух: или сдать его в плен, или же бить, бить до тех пор...

Так вот он что, милая тетенька, собрался совершить. Покончить с «врагами» – с чьими? с своими собственными, ноздревскими врагами... ах! Спрашивается: неужто ж найдется в мире какая-то «сила», которая согласится войти в союз с Ноздревым, с целью сокрушения ноздревских врагов?!

Нет, как хотите, а Ноздрев далеко не «умница». Все в нем глупо: и замыслы, и надежды, и способы осуществления. Только вот негодяйство как будто скрашивает его и дает повод думать, что он нечто смекает и что-то может совершить.

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Вся его сила заключена именно в этом негодяйстве; в нем, да еще в эпидемически развившейся путанице понятий, благодаря которой, куда ни глянешь, кроме мути, ничего не видишь. Пользуясь этими двумя содействиями, он каждодневно будет твердить, что все, кто не читает его паскудной газеты, – все это враги и потрясатели. И найдутся простецы, которые поверят ему... Но вы, милая тетенька, не верьте! Не увлекайтесь ни ноздревскими клеветами, ни намеками на ноздревскую авторитетность и на каких-то случайных людей, которые будто бы поддерживают его авторитетность. Смотрите на Ноздрева как можно проще: как на продукт современного веянья, то есть как на бездельника и глупца. Тогда для вас не только сделается ясным секрет его беззастенчивости, но и паскудный лист, в котором он выливает свои душевные помои, перестанет казаться опасным, а пребудет только паскудным, чем ему и быть надлежит.

\* \* \*

Как ни странным покажется переход от Ноздрева к литературе вообще, но, делать нечего, приходится примириться с этим. Перо краснеет, возвещая, что Ноздрев вторгся в литературу и, по-видимому, расположился внедриться в ней, но это осязательный факт, и никакое перо не в силах опровергнуть его.

Ноздрева провела в литературу улица, провела постепенно, переходя от одного видоизменения к другому. Начала с Тряпичкина, потом пришла к "нашему собственному корреспонденту", потом к Подхалимову и закончила гармоническим аккордом, в лице Ноздрева. А куда проходили эти видоизменения, честная литература с наивным изумлением восклицала: кажется, что дальше идти невозможно! Однако ж оказалось возможным.

Еще в недавнее время наша литература жила вполне обособленную жизнь, то есть бряцала и занималась эстетикой. По временам, однако ж, и в ней обнаруживались проблески, свидетельствующие о стремлении прорваться на улицу, или, вернее сказать, создать ее, потому что тогда и "улицы"-то не было, а была только ширь да гладь да божья благодать, а над нею витало: "Печатать дозволяется, цензор Красовский". Но именно по простоте и крайней вразумительности этого "печатать дозволяется", никакие новшества не удавались, так что самые смелые экскурсии в область злости дня прекращались по мановению волшебства, не дойдя до первого этапа. И в конце концов литература вновь возвращалась к бряцанию и разработке вопросов чистого искусства.

Эта полная отчужденность литературы от насущных злоб сообщала ей трогательно-благородный характер. Как будто она, как сказочная царевна, была заключена в неприступном чертоге и там дремала, окутанная сновидениями. Но в основе этих сновидений все-таки лежало «человечное», так что ежели литература не принимала деятельного участия в негодованиях и протестах жизни, то не участвовала и в ее торжествах. Вот почему и «замаранность» была в то время явлением исключительным, ибо где же и как могла «замараться» царевна, дремлющая в волшебных чертогах? Вообще руководство жизнью составляло тогда привилегию табели о рангах и ревниво оберегалось ею от посторонних вторжений, литературе же предоставлялось стоять притиснутой в углу и пробуждать благородные чувства. Но все-таки повторяю: иногда даже под флагом благородства чувств литература упорствовала проводить нечто своеобразное, и тогда происходили коллизии, вследствие которых водворялось молчание, и царевна вновь предавалась исключительно эстетическим сновидениям.

Мне могут возразить здесь; а иносказательный рабий язык! а умение говорить между строками? – Да, отвечу я, действительно, обе эти характерные особенности выработались во время пребывания литературы в плену и обе несомненно свидетельствуют о ее попытках прорваться сквозь неприятельскую цепь. Но ведь как ни говори, а рабий язык все-таки рабий язык, и ничего больше. Улица никогда между строк читать не умела, и по отношению к ней рабий язык не имел и не мог иметь воспитательного значения. Так что если тут и была победа, то очень и очень небольшая.

Улица заявила о своем рождении уже на наших глазах. Она создалась сама собой, вдруг, без всякого участия со стороны литературы. Последняя, в начале пятидесятых годов, была до того истощена, измучена и отуманена, что при появлении улицы даже не выказала особенной способности к уяснению своих отношений к ней. Можно было подумать, что плен, в котором она так долго томилась, сделался ей мил. Он напоминал ей о таланте, знании и высотах ума, словом сказать, обо всем, что было затеснено, забито, но чего самая тьма не



Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) могла окончательно потемнеть. Напротив того, улица с первого же раза зарекомендовала себя бессвязным галдеием, измененной несложностью требований, живостью предрассудков, дикостью идеалов, произвольностью отправных пунктов и, наконец, какую-то удручающе безграмотностью. Но в то же время та же улица выказала и чуткость, а именно: она отлично поняла, что литература для нее необходима, и, не откладывая дела в долгий ящик, всей массой хлынула, чтобы овладеть ею. Две силы встретились лицом к лицу: с одной стороны, литература замученная, заподозренная и недоумевающая; с другой – улица, не только не заподозренная, но прямо, как на преимущество, ссылающаяся на родство своих идеалов с идеалами управы благочиния. Понятно, на чьей стороне должен был остаться перевес.

С появлением улицы литература, в смысле творческом, не замедлила совсем сойти со сцены, отчасти за недоступностью новых мотивов для разработки, отчасти за общим равнодушием ко всему, что не прикасается непосредственно к уличному галдению. Конечно, найдутся и теперь два-три исключения, но это уж, так сказать, "последние тучи рассеянной бури", которые набрасывают остальные штрихи в старой картине, а перед новою точно так же останавливаются в недоумении, как и все прочие. Ибо вход за кулисы посторонним (т. е. литературе) воспрещается...

По наружности кажется, что никогда не бывало в литературе такого оживления, как в последние годы; но, в сущности, это только шум и гвалт взбудораженной улицы, это нестройный хор обострившихся вожделий, в котором главная нота, по какому-то горькому фатализму, принадлежит подозрительности, сыску и бесшабашному озлоблению. О творчестве нет и в помине. Нет ничего цельного, задуманного, выдержанного, законченного. Одни обрывки, которые много-много имеют значение сырого материала, да и то материала несвязного, противоречивого. Для чего этот материал может послужить? ежели для будущего, то, право, будущее скорее сочтет более удобным совсем отвернуться от времени, породившего этот материал, нежели заботиться об его воспроизведении. Мы же, современники, читаем эти обрывки и чувствуем себя под гнетом какой-то безысходной тоски. Странное, в самом деле, положение: ни в жизни, ни в литературе – нигде разобраться нельзя. Везде суета, везде мельканье, свара, сыск, без всякой надежды на обретение мало-мальски твердой опоры, о которую могла бы притупиться эта безмысленная сутолока.

Если б представилась возможность творчески отнестись к картине этой всесторонней жизненной неурядицы, это уже был бы громадный выигрыш в смысле общественного освежения. Соберите элементы удручающей нас смуты, сгруппируйте их, укажите каждому его место, его центр тяготения – одного этого будет достаточно, чтоб взволновать честные сердца и остепенить сердца самодовольных и легкомысленных глупцов. Но тут-то именно и встречаются те неодолимые препятствия, которые на всю область творчества налагают как бы секвестр.

Дело в том, что везде, в целом мире, улица представляет собой только материал для литературы, а у нас, напротив, она господствует над литературой. Во всех видах господствует: и в виде частной инсинуации, частного насилия, и в виде непререкаемо-возбраняющей силы. И на каждом шагу ставит «вопросы», на которые сделалось как бы обязательным, до времени, закрывать глаза. Тщетно вы станете доказывать, что вопрос самый жгучий именно тогда и утрачивает значительную часть своей жгучести, когда он подвергнут открытому исследованию (допустим, даже самому страстному) – в ответ на эти убеждения вам или скажут, что вы ставите ловушку, или же просто-напросто посмотрят на вас с изумлением. Потому что улицей овладел испуг, и она ищет освободиться от него во что бы то ни стало. А так как она искони от всех недугов исцелялась первобытными средствами, вроде шиворота (в «Помоях» расшалившийся Ноздрев так-таки прямо и сулит «либеральной» прессе... розги!!), то и теперь на всякие более сложные комбинации смотрит как на злонамеренный подвиг или как на безумие.

Улица тяжела на подъем в смысле умственном; она погрязла в преданиях, завещанных мраком времен, и нимало не изобретательна. Она хочет, чтоб торжество досталось ей даром или, во всяком случае, стоило как можно меньше. Дешевле и проще плющильного молота ничего мраком времен не завещано – вот она и приводит его в действие, не разбирая, что и во имя чего молот плющит. Да и где же тут разобраться, коль скоро у всех этих уличных «охранителей» поголовно поджилки дрожат!

И заметьте, милая тетенька, везде нынче так. Везде одна внешняя суета и везде же какая-то блаженная уверенность, что искомое целение само собою придет на крик:

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) ego vos! [55] Никогда обстоятельства более серьезные не вызывали на борьбу такого множества легкомысленных и самодовольных людей. Мы, кажется, даже забыли совсем, что для того, чтоб получить прочный результат, необходимо прежде всего потрудиться. Потрудиться не одной кожей, но и всем внутренним существом. Но, может быть, внутреннее-то существо уже до того в нас истрепалось, что и понадеяться на него нельзя...

Как бы то ни было, но литературное творчество в умалении. И едва ли я ошибусь, сказав, что тайна его исчезновения заключается не в собственном его бессилии, а в отсутствии почвы, которую оно могло бы эксплуатировать. Творчество не может сделать шага, чтобы не встретиться с «вопросом», а стало быть, и с материальной невозможностью. Приступится ли оно к жизни так называемого культурного общества – половина этой жизни представляет заповедную тайну, и именно та половина, которая всей жизни дает колорит. Спустится ли оно в глубины бытовой жизни – и там его подстерегает целая масса вопросов: вопрос аграрный, вопрос общинный, вопрос о народившемся «кулаке» и т. д. И все эти вопросы – тоже заповедная тайна, хотя в них и только в них одних лежит разъяснение всех невзгод, удручающих бытовую жизнь.

Но ежели везде, куда ни оглянись, ничего, кроме испуга и обязательной тайны, не обретается, то ясно, что самая смелая попытка разложить и воспроизвести этот загадочный мир ничего не даст, кроме беглых, не имеющих органической связи обрывков. Ибо какую же может играть деятельную роль творчество, затертое среди испугов и тайностей?

Мне скажут, быть может: но существует целый мир чисто психических и нравственных интересов, выделяющий бесконечное множество разнообразнейших типов, относительно которых не может быть ни вопросов, ни недоразумений. Да, такой мир действительно есть, и литература отлично знала его в то время, когда она, подобно спящей царевне, дремала в волшебных чертогах. Но, во-первых, типы этого порядка с таким несравненным мастерством уже разработаны отцами литературы, что возвращаться к ним значило бы только повторять зады. А во-вторых – и это главное – попробуйте-ка в настоящую минуту заняться, например, воспроизведением «хвастунов», «лжецов», «лицемеров», «мизантропов» и т. д. – ведь та же самая улица в один голос возопит: об чем ты нам говоришь? оставь старые погудки и ответь на те вопросы, которые затрагивают нас по существу: кто мы таковы? и отчего мы нравственно и материально оголтели?

Ибо никогда не была психология в фаворе у улицы, а нынче она удовлетворяется ею меньше, нежели когда-нибудь. Помилуйте! до психологии ли тут, когда в целом организме нет места, которое бы не щемило и не болело!

Но, сверх того, психический мир, на который так охотно указывают, как на тихое пристанище, где литература не рискует встретиться ни с какими недоразумениями, – ведь и он сверху донизу изменил физиономию. Основные черты типов, конечно, остались, но к ним прилипло нечто совсем новое, прямо связанное с злобою дня. Появились дельцы, карьеристы, хищники и т. д. Бесспорно, последние типы очень интересны, но ведь ежели вы начнете ваше повествование словами: "Бесшабашный советник такой-то вкупе с бесшабашным советником таким-то начертали план ограбления России" (а как же иначе начать?) – то дальше уж незачем и идти. Ибо вы сейчас же очутитесь в самом водовороте «вопросов» и именно тех вопросов, на которые до времени обязательно закрывать глаза.

Но говорят: умел же писать Пушкин? – умел! Написал же он "Повести Белкина", "Пиковую даму" и проч.? – написал! Отчего же современный художник не может обращать свою творческую деятельность на явления такого же характера, которыми не пренебрегал величайший из русских художников, Пушкин?

Ответ на это вовсе не труден. Во-первых, Пушкин не одну "Пиковую даму" написал, а многое и другое, об чем современные Ноздревы благоразумно умалчивают. Во-вторых, живи Пушкин теперь, он наверное не потратил бы себя на писание "Пиковой дамы". Ведь это только шутки шутят современные Ноздревы, приглашая литературу отдохнуть под сению памятника Пушкина. В действительности, они столь же охотно пригласили бы Пушкина в участок, как и всякого другого, стремящегося проникнуть в тайности современности. Ибо они отлично понимают, что сущность пушкинского гения выразилась совсем не в "Пиковых дамах", а в тех стремлениях к общечеловеческим идеалам, на которые тогдашняя управа благочиния, как и нынешняя, смотрела и смотрит одинаково неприязненно.

И еще скажут: есть способ и к современности относиться, не возбуждая подозрительности в улице. Знаю я такой способ и знаю, что он не раз практиковался и практикуется и именно в литературе ноздревского пошиба. Но позвольте же мне, милая тетенька, слогом литератора-публициста Евгения Маркова доложить: ведь искусство есть алтарь, на котором воскуряется фимиам человечности. Не сикофантству, а именно человечности – это уж я от себя своим собственным слогом прибавляю. Каким же образом оно, вместо того, чтобы воспроизводить в перл создания, то есть очеловечивать даже извращенные человеческие стремления, будет брызгать слюною, прибегать к митилогнозии и молотить по головам? А ведь это-то, собственно, и разумеется под "иным способом" относиться к современности.

Таким образом, творчество остается не у дел, отчасти за недоступностью материала для художественного воспроизведения, отчасти за нравственною невозможностью отнести к этому материалу согласно с указаниями улицы. На месте творчества в литературе водворилась улица с целой массой вопросов, которые так и рвутся наружу, которых, собственно говоря, и скрыть-то никак невозможно, но которые тем не менее остаются для литературы заповедною областью. То есть именно для той единственной силы, которая имеет возможность их регулировать, сообщить им стройность и смягчить их жгучий характер.

Не думайте, однако ж, что я пишу обвинительный акт против возникновения улицы и ее вторжения в литературу – напротив того, я отлично понимаю и неизбежность, и несомненную законность этого факта. Невозможно, чтоб улица вечно оставалась под спудом; невозможно, так как, в противном случае, и в обществе и в стране прекратилось бы всякое жизненное движение. Поэтому, как только появились сколько-нибудь подходящие условия, улица и воспользовалась ими, чтоб засвидетельствовать о себе. Она создалась сама собою, без всяких предварительных подготовок; создалась, потому что имела право на самосоздание. Мало того, что она сама создалась, но и втянула в себя и табель о рангах, которая еще так недавно не признавала ее существования и которая теперь представляет, наравне с прочими случайными элементами, только составную ее часть, идущую за ее колебаниями и даже оберегающую ее право на самоистязание под гнетом всевозможных жизненных неясностей.

Но я иду еще дальше: я объясняю себе, почему улица в том виде, в каком мы ее знаем, так мало привлекательна. Почему требования ее низменны, отправные пункты дики и произвольны, а идеалы равносильны идеалам управы благочиния. Все это иначе не может и быть. Это особого рода фатальный закон, в силу которого первая стадия развития всегда принимает формы ненормальные и даже уродливые. Крестьянин, освобождающийся от власти земли, чтобы вступить в область цивилизации, тоже представляет собою тип не только комический, но и отталкивающий. Наконец, всем известен неприятный тип мещанина в дворянстве. Но это еще не значит, чтоб эмансипирующийся человек был навсегда осужден оставаться в рамках отталкивающего типа. Новые перспективы непременно вызовут потребность разобраться в них, а эта разборка приведет за собой новый и уже высший фазис развития. То же самое, конечно, сбудется и с улицей. Состояние хаотической взбудораженности, в котором она ныне находится, может привести ее только к глухой стене, и раз это случится, самая невозможность идти далее заставит ее очнуться. И тогда же начнется проверка руководивших ею идеалов, а затем и несомненное их упразднение.

Я понимаю, что все это законно и неизбежно, что улица имеет право на существование и что дальнейшие ее метаморфозы представляют только вопрос времени. Сверх того, я знаю, что понятие известное явление значит оправдать его.

Но оправдать явление – одно, а жить под его давлением – другое. Вот это-то противоположение между олимпийским величием теории и болезненною чувствительностью жизни и составляет болящую рану современного человека.

Можно понимать и оправдывать пустоту, среди которой мы вращаемся, но жить в ней нестерпимо мучительно. Вот почему мы на каждом шагу встречаем людей далеко не выспренных, которые, однако ж, изнемогают, снедаемые бессознательною тоскою. И я нимало не был бы удивлен, если б в этой массе тоскующих нашлись и такие, которые сами участвуют в создании пустоты. Ибо и их только незнание, где отыскать выход из обуревающей паники, может заставить упорно принимать жизненные миражи за подлинную жизнь, и легкомысленное мелькание вокруг разрозненных «вопросов»

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) предпочитает трудной, но настоятельно требующейся проверке основных идеалов современности.

Но оставим покуда в стороне широкое русло жизни и ограничимся одним ее уголком – литературой. Этот уголок мне особенно дорог, потому что на нем с детства были сосредоточены все мои упования, и он, в свою очередь, дал мне гораздо больше того, что я достоин был получить. Весь жизненный процесс этого замкнутого, по воле судеб, мира был моим личным жизненным процессом; его незащищенность – моею незащищенностью; его кратковременные и редкие ликования – моими ликованиями. Это чувство отождествления личной жизни с жизнью излюбленного дела так сильно и принимает с годами такие размеры, что заслоняет от глаз даже ту широкую, не знающую берегов жизнь, перед лицом которой все живущее представляет лишь безымянную величину, вечно стоящую под ударом случайности.

Несомненно, что вторжение в литературу ноздревского элемента не составляет для меня загадки, и я могу довольно обстоятельно объяснить себе, что в этом факте ничего нет ни произвольного, ни неожиданного. Я признаю, что в современной русской литературе на первом плане должна стоять газета и что в этой газете должна господствовать публицистика подсиживанья, сыска и клеветы. Допускаю также появление на сцену борзописцев, которые не могут доказать, где они вчера ночевали, и у которых нет других слов на языке, кроме слов, не помнящих родства...

Все это я допускаю, объясняю себе и признаю. А стало быть, обязываюсь и оправдать.

Но отчего же я чувствую, что сердце мое мучительно ноет при виде этого зрелища? отчего я, сверх того, убежден, что оно способно возбуждать негодование не во мне одном, но и во всех вообще честных людях?

Оттого, милая тетенька, что все мы, яко человеки, не только мыслим, но и живем.

ПИСЬМО ДВЕНАДЦАТОЕ  
Милая тетенька.

Не дальше как вчера я был на рауте у тайного советника Грызунова (кроме медалей, имеет знак отличия мужского ордена для ношения по установлению).

Грызунов – мой школьный товарищ и, по призванию, экономист. Еще на школьной скамье он постиг некоторые экономические истины и с помощью их объяснял смущавшие нас явления.

– Грызунов! – спросишь его, бывало, – отчего Куропатка (прозвище одного из воспитанников) продал вчера Карасю (прозвище другого товарища) свою булку за два листа бумаги, а сегодня Карась за такую же булку должен был заплатить Куропатке четыре листа?

– Оттого, – разрешал Грызунов без труда, – что вчера, кроме Куропатки, предлагал Карасю свою булку еще Котенок (третий товарищ); стало быть, предложение было большое, а спрос – малый. Нынче Котенок съел свою булку сам; вследствие этого предложение уменьшилось вдвое, и сообразно с этим вдвое же увеличилась и цена булки.

Или:

– Отчего, Грызунов, монета всегда чеканится круглая, между тем как пироги с черникой безразлично пекутся и круглые, и овальные, и четырехугольные?

– Оттого, – объяснял он, – что обыкновенно монету носят в кармане; стало быть, если б ее чеканили, например, четырехугольной, то, непрерывно цепляясь углами за подкладку кармана, она продырила бы ее быстрее, нежели желательно. Пироги же кладутся не в карман, а в рот и, будучи мягки, доходят по назначению, ничего не продырив.

За быстроту, с которою давались эти ответы, Грызунову было дано прозвище восьмого мудреца, а так как мы были тогда того мнения, что плохой тот школяр, который не надеется быть министром, то на долю Грызунова самым естественным образом выпадал портфель министра финансов. С тем мы и вышли из школы.

С тех пор прошли годы. Грызунов немедленно принялся оправдывать возлагаемые на него надежды. Сначала он сделался "нашим молодым и блестящим экономистом", потом "нашим известным экономистом" и, наконец, – "нашим маститым экономистом". Писал он изобильно и легко, писал обо всем, об чем взгрустнется. И об том, отчего мы бедны, и об том, отчего у нас во всем изобилие; и о том, что изобилие уменьшает цену на предметы, и о том, что хотя, вообще говоря, изобилие и уменьшает цену на предметы, но "в то же время, до известной степени, и увеличивает ее". Словом сказать, возьмет из кучи любой вопрос и без труда на него ответит. Природа даровала ему железную поясницу и чугунное при ней днище, и он с признательностью пользовался этим даром. Сядет, посидит, и сколько посидит, столько и напишет. Урвет что-нибудь у Бастиа, или у Рикардо, или даже у Кокорева ("нечто о глазомере в связи с смекалкою"), а скажет, что сам выдумал. И, написавши, сидит некоторое время дома и ждет, что его позовут: пожалуйста, Иван Александрыч, министерством управлять! Ждал он таким образом целых двадцать пять лет, его не раз звали, но всегда дело оканчивалось тем, что его же спрашивали: ах, об чем бишь нужно было с вами поговорить? Значит, звать звали, а призвать не призвали. Как это случилось, он не понимает, да и я, признаться, не понимаю. Человек знает, отчего монета кругла (а может быть, и отчего кругла земля?), а никому до этого как будто дела нет. Не повезло ему – вот и все. Иногда он впадал в уныние от этой несправедливости, но вера, что никому в целой России не известны так близко тайны спроса и предложения (а это, тетенька, позамысловатее "Тайн мадридского двора") – спасала его. Несмотря на длинный ряд неудач и разочарований, всякий раз (и это в течение всего двадцатипятилетнего периода!), как в известных сферах возникало движение, он вновь начинал волноваться, надеяться и ждать. Несомненно, ждет и поднесь.

Это постоянное, странно-выжидательное состояние оказывает известное влияние и на его отношения к людям. Когда в воздухе носятся либеральные веяния, он льнет к либералам, а консерваторов называет изменниками. Когда на рынке в цене консерватизм, он прилепляется к консерваторам и называет изменниками либералов. Но это в нем не предательство, а только следствие слишком живучего желания пристроиться.

Я думаю, что Грызунов не жаден и охотно удовольствовался бы половинным содержанием, если б его призвали. Я даже думаю, что, в сущности, он и не честолюбив. Он просто знает свои достоинства и ценит – вот и все. Но так как и другие знают свои достоинства и ценят их, то он и затерялся в общей свалке.

В последнее время он как-то особенно всполошился. Видит, что пустого места много, а людей, знающих достоверно, отчего монета кругла, – нет. Притом же *fugaces labuntur anni*, [56] ему уж шестой десяток в исходе, а он все еще ни при чем. Надо ловить. Поэтому он с утра до вечера мелькает, с утра до вечера всем и каждому предлагает вопросы по всем отраслям человеческого ведения и сам же на них отвечает. И всё вопросы труднейшие, так что только в «Задачнике» Малинина и Буренина и можно такие встретить. У разносчика был лоток с апельсинами, сто из них он продал, два сам съел, три (с пятнышками) бедным мальчишкам роздал, а пять подарил околоточному – сколько всех апельсинов было? Другой такой же претендент на пост или задумается, прежде нежели ответит, или ответит уклончиво, что бабушка надвое сказала, а Грызунов – быстро, отчетливо, звонко: сто десять! Сверх того, чтобы удовлетворить сжигающей его жажде деятельности, он устроил у себя по субботам рауты и, кого ни встретит, всех приглашает: "Субботы не забудьте... это страм!!"

То есть не субботы «страм», а то, что требуются почти нечеловеческие усилия, чтобы устроить по субботам обмен мыслей. Но в хлопотах он не договаривает фразы и спешит хлопотать дальше. И всякому что-нибудь на ходу скажет. Одному – что ввиду общего врага все партии, и либералы и консерваторы, должны в субботу подать друг другу руки; другому – что теперь-то именно, то есть опять-таки в будущую субботу, и наступила пора сосчитаться и покончить с либералами, признав их сообщниками, попустителями и укрывателями превратных толкований; третьему: "слышали, батюшка, что консерваторы-то наши затеяли – ужас! а впрочем, в субботу поговорим!"

Каким образом весь этот разнокалиберный материал одновременно в нем умещается – этого я объяснить не могу. Но знаю, что, в сущности, он замечательно добр, так что стоит только пять минут поговорить с ним, как он уже восклицает: вот мы и объяснились! Даже в том его убедить можно, что ничего нет удивительного, что его

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) не призывают. Он выслушает, скажет: тем хуже для России! – и успокоится.

Таких Лжедмитриев нынче, милая тетенька, очень много. Слоняются, постылые тушинцы, вторгаются в чужие квартиры, останавливают прохожих на улицах и хвастают, хвастают без конца. Один – табличку умножения знает; другой – утверждает, что Россия – шестая часть света, а третий без запинки разрешает задачу "летело стадо гусей". Все это – права на признательность отечества; но когда наступит время для признания этих прав удовлетворительными, чтобы стоять у кормила – этого я сказать не могу. Может быть, и скоро.

Меня Грызунов долгое время любил; потом стал не любить и называть «красным»; потом опять полюбил. В каком положении находятся его чувства ко мне в настоящую минуту, я определить не могу, но когда мы встречаемся, то происходит нечто странное. Он смотрит на меня несомненно добрыми глазами, улыбается... и молчит. Я тоже молчу. Это значит, что мы понимаем друг друга. Но всякая наша встреча непременно кончается тем, что он скажет:

– А что же субботы... забыл?

А как-то на днях даже прибавил:

– Ведь надо же наконец! Надо, чтоб благомыслящие люди всех оттенков сговорились между собой! Потому что, в сущности, нас разделяют только недоразумения, и стоит откровенно объяснить, чтобы разногласия упали сами собой. Так до субботы... да?

Вот я в прошлую субботу и отправился.

Когда я приехал, все уже собрались в столовой вокруг большого стола, за которым любезная хозяйка разливала чай. Однако ж хотя я и прежде замечал в обстановке и составе грызуновских раутов некоторые неожиданности, но теперь эти неожиданности уже прямо приняли характер каких-то ловушек, которых никаким образом предусмотреть нельзя.

Прежде всего, меня поразило то, что подле хозяйки дома сидела "Дама из Амстердама", необычайных размеров особа, которая днем дает представления в Пассаже, а по вечерам показывает себя в частных домах: возьмет чашку с чаем, поставит себе на грудь и, не проливши ни капли, выпьет. Грызунов отрекомендовал меня ей и шепнул мне на ухо, что она приглашена для "оживления общества". Затем, не успел я пожать руки гостеприимным хозяевам, как вдруг... слышу голос Ноздрева!!

– Любовь к отечеству, – вещает этот голос, – это такое святое чувство, которое могут понимать и возделывать только возвышенные сердца.

Всматриваюсь: действительно – «он»! Во фраке, в белом галстухе и так благороден, что если бы не сидел за столом, то можно было бы принять его за официанта. Изрекает обязательные афоризмы и даже сознает себя вправе изрекать таковые, потому что успех «Помой» растет не по дням, а по часам. Рядом с ним сидит и почтительно вздрагивает плечами бывший начальник штаба эфиопских войск, юрковский человек, который хотя и побежден египетским полководцем Радамесом (из "Аиды"), но всем рассказывает, что "только наступившая ночь помогла Радамесу спастись в постыдном бегстве". Несколько поодаль расположился Расплюев, который не сводит с Ноздрева глаз и, очевидно, завидует его спокойному величию.

Да и сам Грызунов почти не отходит от Ноздрева, так что я начинаю подозревать, уж не он ли скрывается под псевдонимом "Не верьте мне", подписанным под блестящими экономическими статьями, украшающими «Помой». По крайней мере, не успел я порядком осмотреться, как Грызунов отвел меня в сторону и шепнул на ухо:

– Ноздрев нынче – сила! да-с, батюшка, сила! И надо с этой силой считаться! Да-с, считаться-с.

Наконец, и я кой-как примостился между собеседниками и приготовился быть свидетелем прохождения раута. Разумеется, я не буду описывать все подробности раута, но думаю, что краткий рассказ будет для вас небезынтересен. Героем являлся Ноздрев, который все время, пока мы сидели за чаем, удерживал за собой первенствующее значение. Он говорил непрерывно и притом о самых разнообразных предметах. И о том, что "недуг залег глубоко", и о том, что редакция «Помой» твердо решила держать в руках свое знамя, и о том, что прежде всего необходимо

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru окупаться в волны народного духа и затем предпринять крещение огнем и мечом. Высказавши это последнее предположение, он на минуту стыдливо умолк, но, видя, что Расплюев еще чего-то от него ждет, прибавил:

– А потом будем врачевать!

Этот вывод всех присутствующих утешил, убедивши, что Ноздрев обдумал свою программу основательно и, стало быть, положиться на него можно. Что касается до Грызунова, то он положительно млел от восхищения. Все время он шнырял около стола и вторил Ноздреву, восклицая:

– Еще бы! это именно моя мысль! Совершенно, совершенно справедливо!

И затем, подбегая ко мне, шептал:

– Да-с, батюшка, это – сила! Как там ни толкуй, что у Ноздрева одна бакенбарда жиже другой, а считаться с ним все-таки надо... да-с!

Словом сказать, Ноздрев был истинным героем раута. Даже тогда, когда гости наконец оставили столовую и рассеялись по другим комнатам, – и тут компактная кучка постоянно окружала Ноздрева, который объяснял свои виды по всем отраслям политики, как внутренней, так и внешней. И заметьте, милая тетенька, что в числе слушателей, внимавших этому новому оракулу, было значительное число травленных администраторов, которые в свое время негодовали и приносили жалобы на вмешательство печати, а теперь, глядя на Ноздрева, приходили от нее в восхищение и вместе с редактором «Помой» требовали для слова самой широкой свободы.

– Уничтожьте цензуру, – ораторствовал Ноздрев, – и вы увидите, что дурные страсти, проникнувшие в нашу литературу, рассеются сами собою. Мы, благонамеренная печать, беремся за это дело и ручаемся за успех. Но само собой разумеется, что при этом необходимы соответствующие карательные законы, которые сделали бы наши усилия плодотворными...

А Грызунов, слушая эти речи, снова бегал и восклицал:

– Еще бы! Это именно и моя мысль! Именно это самое я всегда говорил!

И, обращаясь ко мне, прибавлял:

– Удивительно, как быстро растут люди в наше время! Ну, что такое был Ноздрев, когда Гоголь познакомил нас с ним, и посмотрите, как он... вдруг вырос!!

Тем не менее Грызунов понял, что восхищаться целый вечер Ноздревым да Ноздревым – хоть кого утомит. Поэтому он решился устроить для гостей дивертисмент, который, впрочем, был им обдуман уже заранее.

Прежде всего к содействию была призвана "Дама из Амстердама", показывавшая себя, с успехом, при всех европейских дворах и прозванная, за свою тучность, Царь-пушкой.

– Господа! – выкрикивал Грызунов, переходя из комнаты в комнату, – Анна Ивановна Зюйдерзее благосклонно изъявила согласие показать опыты "непосредственного самопитания". Не угодно ли в зал? Надеюсь, что вы ничего не имеете против этого? – добавил он, обращаясь к Ноздреву.

Гости высыпали в зал. На середину комнаты вывели Анну Ивановну и на груди у нее утвердили блюдо с ростбифом в одиннадцать костей. Затем она начала кивать головой: кивала-кивала, и через пять минут не только мякоти, но и костей на блюде не осталось. Публика в волнении все больше и больше суживала круг и, наконец, вплотную обступила ее. Кто-то спросил, неужто она замужем, и, получив ответ, что замужем за слоном, находящимся в Зоологическом саду г-жи Рост, молвил: ого! Кто-то другой громко соображал, что может стоить ее содержание, если она съедает, положим, хоть десять ростбифов в день? а третий, сверх того, напомнил: нет, вы сосчитайте, сколько ей аршин материи на платье нужно! А она между тем, ликующая и довольная, пыхтела и отдувалась. Но, казалось, все еще настоящим образом сыта не была, ибо с такою строгостью посмотрела на маленького сенатора из старого сената, который слишком неосторожно к ней подскочил, что бедняга струсил и поскорей юркнул в толпу.

Но тут, милая тетенька, случился скандал. У одного сенатора – тоже из старого сената – исчез из кармана носовой платок, и так как содержание старичку присвоено небольшое, то он стал жаловаться. Начал язвить, что хоть у него дома платков и много, но из этого еще не явствует, чтоб дозволительно было воровать; что платок есть собственность, которую потрясать не менее предосудительно, как и всякую другую, что он и прежде не раз закаивался ездить на вечера с фокусниками, а впредь уж, конечно, его на эту удочку не поймают; что, наконец, он в эту самую минуту чувствует потребность высморкаться и т. д. Произошло общее смятение. Грызунову следовало бы сейчас же удовлетворить сердитого старика новым платком, а он, вместо того, предпринял следствие: стал подходить к гостям, засматривать им в глаза, как бы спрашивая: не ты ли стибрил? Наконец, взор его остановился на Ноздре и Расплюеве. Оба отделились от прочих гостей и оживленно между собой перешептывались, как будто делили добычу. Тогда все и для всех сразу сделалось ясным... Но хозяин, чтобы не потрепяти ноздревского авторитета, кончил тем, с чего должен был бы начать, то есть велел подать потерпевшей стороне свой собственный платок. А так как при этом один из присутствующих пожертвовал еще старую пуговицу, то добрый старик был с лихвою вознагражден. Недоразумение прекратилось, и Грызунов, чтоб успокоить гостей, ходил между ними и объяснял:

– что будете делать... это болезнь! и все-таки, повторяю: Ноздрев – сила!

Таким образом Ноздрев вышел из этого казуса с честью.

Когда волнение улеглось, Грызунов приступил к молодому поэту Мижухеву (племянник Ноздрева) с просьбой прочесть его новое, нигде еще не напечатанное стихотворение. Поэт с минуту отпрашивался, но, после некоторых настояний, выступил на то самое место, где еще так недавно стояла "Дама из Амстердама", откинул кудри и твердым голосом произнес:

Под вечер осени ненастной

Она в пустынных шла местах.

И тайный плод любви несчастной

Держала в трепетных руках...

Но тут опять произошел скандал, потому что едва успел поэт продекламировать сейчас приведенные стихи, как кто-то в толпе крикнул:

– Грабят!

А на возглас этот в другом углу другой голос взволнованно отозвался:

– Помилуйте! да тут, пожалуй, сапоги снимут!

Оказалось, однако ж, что это было смятение чисто библиографического свойства. Между гостями каким-то образом затесался старый библиограф, который угадал, что стихотворение, выдаваемое Мижухевым за свое, принадлежит к числу лицейских опытов Пушкина и, будучи под живым впечатлением ноздревских статей о потрясении основ, поспешил об этом заявить. А так как библиограф еще в юности написал об этом стихотворении реферат, который постоянно носил с собою, то он тут же вынул его из кармана и прочитал. Рефератом этим было на незыблемых основаниях установлено: 1) что стихотворение "Под вечер осенью ненастной" несомненно принадлежит Пушкину; 2) что в первоначальной редакции первый стих читался так: "Под вечерок весны ненастной", но потом, уже по зачеркнутому, состоялась новая редакция; 3) что написано это стихотворение в неизвестном часу, неизвестного числа, неизвестного года, и даже неизвестно где, хотя новейшие библиографические исследования и позволяют думать, что местом написания был лицей; 4) что в первый раз оно напечатано неизвестно когда и неизвестно где, но потом постоянно перепечатывалось; 5) что на подлинном листе, на котором стихотворение было написано (за сообщение этого сведения приносим нашу искреннейшую благодарность покойному библиографу Геннади), сбоку красовался чернильный клякс, а внизу поэт собственноручно нарисовал пером девицу, у которой в руках ребенок и которая, по-видимому, уже беременна другим; и наконец 6) что нет занятия более полезного для здоровья, как библиография.

Когда все это было непререкаемым образом доказано и подтверждено, приступили с вопросом к Ноздреву (он привел Мижухева к Грызуновым), на каком основании он дозволил себе ввести в порядочный дом заведомого грабителя? А при этом намекнули и на пропавший платок. На что Ноздрев объяснил, что поступок Мижухева объясняется



Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru не воровством, а начитанностью; что нынешняя молодежь слишком много читает, и потому нет ничего удивительного, ежели по временам происходят совпадения. Что же касается до обвинения его лично в краже платка, то платок этот, действительно, у него в кармане, но каким путем он туда попал – этого он не ведает, потому что был в то время в беспамятстве. Впрочем, – прибавил он, – платок такой, что не стоит об нем разговаривать. И в удостоверение вынул платок из кармана и показал; и все убедились, что действительно не стоило об таком платке говорить.

Таким образом, Ноздрев и во второй раз вышел из затруднения с честью.

Однако ж положение Грызунова было очень щекотливое. Еще один или два таких казуса – и репутация Ноздрева неизбежно должна пошатнуться. Издатель-редактор «Помой» находился в положении того вора, которого, несмотря на несомненные улики, присяжные оправдали и которому судья сказал: "Подсудимый! вы свободны: но знайте, что вы все-таки вор и что присяжные не всегда будут расположены оправдывать вас. Идите и старайтесь вперед не воровать". Поэтому, хотя в программе раута стояли "Рассказы из народного быта", но Грызунов, сообразивши, что литературе в его доме не везет (пожалуй, опять кто-нибудь закричит: караул!), решился пропустить этот номер. Не зная, чем наполнить конец вечера (было только половина двенадцатого, а ужина у Грызуновых не полагалось), он с тоской обводил глазами присутствующих, как бы вызывая охотников на состязание. Как вдруг его взор упал на "сведущего человека", и блестящая мысль мгновенно созрела в его голове.

– Мартын Иваныч! вас-то нам и надо! – воскликнул он в восхищении и, подводя нового корифея к Ноздреву, рекомендовал: – Мартын Иваныч Задека! на все вопросы имеет приличные ответы! Скатайте из хлеба шарик, киньте наудачу, и на какой номер попадет – везде выйдет исполнение желаний.

– "Сведущий человек"? – благосклонно переспросил Ноздрев и, вынув из кармана табакерку, хотел было нюхнуть табачку, как один из близстоящих сенаторов, без церемоний взяв у него табакерку из рук, сказал:

– Прежде нежели присвоивать себе чужую табакерку...

Но Ноздрев не дал ему докончить и вновь вышел с честью из затруднения, ответив:

– Что ж, если табакерка принадлежит вам, то возьмите ее!

Задека между тем объяснил присутствующим, что он, действительно, может отвечать на все вопросы, но преимущественно по питейной части.

– Верно... тово? – пошутил Ноздрев, щелкнув себя по галстуху.

– Было-таки, – скромно ответил Задека.

– И дозволите испытать ваши познания?

– Хоть сейчас.

Тогда произошло нечто изумительное. Во-первых, Ноздрев бросил в сведущего человека хлебным шариком и попал на № 24. Вышло: "кто пьет вино с рассуждением, тот может потреблять оное не только без ущерба для собственного здоровья, но и с пользой для казны". Во-вторых, по инициативе Ноздрева же, Мартыну Задеке накрепко завязали глаза, потом налили двадцать рюмок разных сортов водок и поставили перед ним. По команде "пей!" – он выпивал одну рюмку за другой и по мере выпивания выкрикивал:

– Полынная! завода Штритера! оптовой склад там-то!

– Столовое очищенное вино! завода Зазыкина в Кашине! Оптовой склад в Москве!

– Зорная! завода Дюшарио и т. д.

И ни разу не ошибся, а зорной даже попросил повторить.

Но этим не удовольствовались. Чтоб окончательно убедиться в правах Задеки на звание "сведущего человека", налили в стакан понемногу (но не поровну) каждый из

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru двадцати водок и заставили его выпить эту смесь. Выпивши, он обязывался определить, сколько в предложенной смеси находится процентов каждого сорта водки. И определил.

Тогда между присутствующими поднялся настоящий вой. Рукоплескали, стучали ногами, обнимали друг друга, поздравляли с «обновлением», кричали, что Россия не погибнет, а кто-то даже запел: "Коль славен"... Один Ноздрев был как будто смущен: очевидно, он не ожидал, что явится новый Ян Усмович, который переймет у него славу...

Я же, признаюсь, стоял в стороне и думал, как бы хорошо было, если б в эту минуту Грызунов возгласил: господа! не угодно ли закусить?

Но этого не случилось. Напротив, лампы стали меркнуть, меркнуть и вдруг потухли. Гости в смятении ринулись в переднюю, придерживая руками карманы.

\* \* \*

Я знаю, вы скажете, что я впадаю в карикатуру. Ах, тетенька, да оглянитесь же кругом! Лжедмитриев, что ли, нет? Ноздревых мало? Задек?

А сверх того, что ж такое, если и карикатура? Карикатура так карикатура – большая беда! Не все же стоять, уставившись лбом в стену; надо когда-нибудь и улыбнуться. Есть в человеческом сердце эта потребность улыбки, есть. Даже измученный и ошеломленный человек – и тот ощущает ее.

Улыбнитесь, голубушка!

\* \* \*

Р. С. Конечно, вы уж знаете, что бабенка Варвара Петровна скончалась. Сегодня утром происходили ее похороны, на которых присутствовал и я.

Хоронили пышно, как подобает болярыне, которая с Аракчеевым манимаску танцевала.

Из дома гроб везли под балдахином, на траурной колеснице, влекомой цугом в шесть лошадей. Впереди шло попарно шесть протопопов, столько же дьяконов и два хора певчих. За гробом, впереди всех, следовал Стрекоза, совсем расстроенный; по бокам у него неизвестно откуда вынырнули Удав и Дыба, которые, как теперь оказалось, были произведены Аракчеевым из кантонистов в первый классный чин и вследствие этого очень уважали покойную бабенку, но при жизни к ней не ходили, потому что она, по привычке, продолжала называть их кантонистами. Несколько поодаль, шли родственники с дядей Григорием Семенычем во главе. Тут была и «Индюшка» с своими индейцами, и оба надворных советника, и бесчисленное множество кадетов, и известный вам отставной фельдъегерь Петр Поселенцев. Последний неутешно плакал. Представьте себе: свою маленькую новгородскую усадьбу бабенка завещала продать и проценты с капитала употреблять на чествование памяти Аракчеева в день его рождения, а Петруше отказала всего тысячу рублей. Но видеть фельдъегерские слезы – не дай бог никому.

Кроме упомянутых лиц, был на похоронах еще "сведущий человек", потому что нынче ни крестин, ни свадеб, ни похорон (на похороны их поставляют сами гробовщики) без них справлять не дозволяется. А вверху, над шедшей за гробом процессией, невидимо реял "командированный чин", наблюдавший за направлением умов.

Хотели было погребсти бабенку в Грузине, но сообразили, что из этого может выйти революция, и потому вынуждены были отказаться от этого предположения. Окончательным местом успокоения было избрано кладбище при Новодевичьем монастыре. Место уединенное, тихое, и могила – в уголку. Хорошо ей там будет, покойно, хотя, конечно, не так удобно, как в квартире, в Офицерской, где все было под руками: и Литовский рынок, и Литовский замок, и живорыбный садок, и Демидов сад.

– Маменька, маменька! ничего вам больше не потребуется! – уныло выл Поселенцев, в первый раз осмеливаясь публично назвать бабенку маменькой.

Отпели обедню, вынесли гроб, поставили его с краю зияющего четырехугольника и, после литии, опустили в могилу. И не прошло десяти минут, как могила была окончательно заделана, и перед нашими глазами уже возвышался невысокий холм, на одной из оконечностей которого плотник проворно водружал временный деревянный

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru крест. Стрекоза, покачиваясь, словно в забытии, беспрерывно кивал всем корпусом, касаясь рукой земли; Дыба и Удав что-то говорили о «пределе», о том, что земная жизнь есть только вступление, а настоящая жизнь начнется – там; это же подтвердил и один из дьяконов, сказав, что как ни мудри, а мимо не проскочишь. Из родственников, молодые с любопытством следили за работой землекопов, каменщиков и плотника, старшие же думали: кто же, однако, за бабенькину квартиру остальные три года, до окончания контрактного срока, платить будет? Петр Поселенцев, выплакав все слезы, обратился к могиле и, к великому огорчению присутствующих, воскликнул:

– Тысячу рублей... на всю жизнь... вот так удружила!!

По окончании похорон, дядя Григорий Семеныч пригласил как духовенство, так и прочих ассистентов в ближайшую кухмистерскую на поминальный обед.

Закуска прошла довольно вяло. Стрекоза продолжал качаться из стороны в сторону, бормоча себе под нос: "вот оно... заключение! ну, и что ж! ну, и извольте!" Очевидно, он разговаривал с бабенькой, которая приглашала его туда, а ему «туда» совсем не хотелось, хотя, по обстоятельствам, и предстояло поспешать. Удав и Дыба начали было рассказ о том, какие в грузинских прудах караси водились – вот такие! – но, убедившись, что карасями современного человека даже на похоронах не проберешь, смолкли. «Индюшка» рассматривала на свет балык и спрашивала у хозяина кухмистерской, где и почем он его покупал; кадеты и прочая молодежь толпились около закуского стола и молча гремели вилками; дядя Григорий Семеныч глазами торопил официантов, чтоб подавали скорее. Что же касается до Поселенцева, то он разом, одну за другой, выпил шесть рюмок рижского бальзама и в один момент до того ополоумел, что его вынуждены были увести. Собственно об бабеньке сказал несколько слов из приличия (а может быть, и потому, что этого требовал церемониал), старший отец протопоп, а дьякона при этом пропели вечную память, и затем имя ее точно в воду кануло.

За обедом, однако ж, дело пошло живее. Завязалась беседа, в основание которой, как и следовало ожидать, легла внутренняя политика.

Да, милая тетенька, даже в виду только что остывшего праха, эта язва преследует нас! До того преследует, что, не будь ее, я не знаю даже, что бы мы делали и об чем бы думали! Вероятно, сидели бы друг против друга и молча стучали бы зубами...

Первый толчок дал один из батюшек, сказав, что "ныне настали времена покаянные", на что другой батюшка отозвался, что давно очнуться пора, потому что "все революции, и древние и новые, оттого происходили, что правительства на вольные мысли сквозь пальцы смотрели".

– Сперва одна мысль благополучно пройдет, – соболезновал батюшка, – потом другая, а за ней, смотришь, сто, тысяча... миллион!

Этот же тезис, но гораздо полнее, развил и надворный советник Сенечка, но тут же, впрочем, успокоил присутствующих, сказав, что хотя до сих пор так было, но впредь уж не будет.

– Было у нас этих опытов! довольно было! – воскликнул он, – были и «веянья»! были и целые либеральные вакханалии! и даже диктатура сердца была! Только теперь уж больше не будет! Аттанде-с. С "веяниями"-то придется повременить... да-с!

– Только повременить, а не то, быть может, и совсем оставить? – любопытствовал третий батюшка.

– Ну, там оставить или повременить – это видно будет. А только что ежели господа либералы еще продолжают питать надежды, то они глубоко ошибутся в расчетах!

Сенечка высказал это так уверенно, что дьякона слушали-слушали, да и ободрились.

– А мы было приуныли! – отозвался старший дьякон за себя и за прочих дьяконов. – Видим действия несодеянная, слышим словеса неизглаголанная; думаем: доколе, господи! Ан, стало быть, и с концом поздравить можно?

Начались рассказы из современного народного быта, причем рассказчиками являлись, по преимуществу, духовные. "Еду я, намеднись, по конке", "Иду я, намеднись, по

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Гороховой", "Стоим мы, намеднись, с отцом Петром на паперти" и т. д. И в конце непременно кляуза. Словом сказать, так оживился наш поминальный кружок, что даже причетники, которым был сервирован стол (попроще) в соседней комнате, беспрестанно выбегали оттуда в наш зал с величайшей охотой свидетельствовать. Однако ж Сенечка не решился отбирать показания в кухмистерской; но очень ловко намекнул, что ежедневно, от такого-то до такого-то часа, он бывает у себя в камере.

Шла, впрочем, речь и об «отрадных» явлениях, и в том числе, конечно, о Ноздрева.

– Какой был гнилой сосуд! – дивился четвертый батюшка, – а вот упал на него луч и какие вдруг кристальные струи из этакого, с позволения сказать, вместилища потекли!

Дядя Григорий Семеныч сидел и корчился. Неоднократно он порывался переменить разговор, но это положительно не удавалось, потому что все головы были законопачены охранительным хламом, да и у него самого мыслительный источник словно иссяк. Наконец он махнул рукой, шепнув мне:

– Пошла в ход управа благочиния! Нет в мыслях благородства, да и все тут! Хоть бы досидеть как-нибудь!

Среди оживлений проснувшейся ябеды совсем забыли о "сведущем человеке", который притулился между кадетами и, по-видимому, настолько превратно проводил время, что даже забыл, что ему, рано или поздно, придется отвечать.

Наконец этот момент наступил. Дьякона вспомнили, что в числе похоронных принадлежностей чего-то недостает, стали искать и, конечно, отыскивали.

Однако ж на этот раз "сведущий человек" оказался скромным. Это был тот самый Иван Непомнящий, которого – помните? – несколько месяцев тому назад нашли в сенном стогу, осмотрели и пустили на все четыре стороны, сказав: иди и отвечай на вопросы! Натурально, он еще не утратил первобытной робости и потому не мог так всесторонне лгать, как его собрат, Мартын Задека.

И действительно, когда дьякона приступили к нему с вопросом, скоро ли будет конец внутренней политике, то он твердо ответил, что политика до сведущих людей не относится.

– Вот ежели бы куры внезапно перестали нести яйца, – сказал он, – и потребовалось бы определить, в чем настоящая причина заключается, – тут сведущий человек может прямо сказать: оттого, что их редко щупают!

Сначала ответ этот произвел некоторое недоразумение, но так как в эту самую минуту Стрекоза, словно в забытьи, прокричал: всяк сверчок знай свой шесток! – то все сейчас же поняли и удовлетворились.

– Но неужто ж вы только по вопросу о курах и чувствуете себя призванным дать ответ? – спросил, однако ж, дядя, который был очень доволен, что наконец представился случай завести «партикулярный» разговор.

– Нет, я могу отвечать и на некоторые другие вопросы, не очень, впрочем, трудные; но собственно "сведущим человеком" я числюсь по вопросу о болезнях. С юных лет я был одержим всевозможными недугами, и наследственными, и благоприобретенными, а так как в ближайшем будущем должен быть рассмотрен вопрос о преобразовании Калинкинской больницы, то я и жду своей очереди.

Тогда мы начали предлагать ему вопросы, он же скромно, но отчетливо и с полным знанием дела, давал на эти вопросы ответы.

Ах, тетенька! Какими только недугами этот человек не был одержим в течение своей многоятежной жизни! И заметьте, все недугами не русскими и даже не европейскими, а завезенными из Нового Света: перувианскими, бразильскими, парагвайскими!

И какую пользу он должен принести при рассмотрении вопроса о преобразовании Калинкинской больницы!

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)  
Он – по этому вопросу, другой – по другому, третий – по третьему. А то, сказывают, прибыл из губернии еще "сведущий человек", который раз десять был изувечен при переездах по железным дорогам, – так тот по железнодорожному вопросу будет пользу приносить...

Так оно и пойдет чередом?

.....  
Обмениваясь мыслями, мы и не заметили, как нас застиг вечер. А бабенькина тень невидимо реяла над нами, как бы говоря: дорожите "сведущими людьми"! ибо это единственный веселый оазис на унылом фоне вашей жизни, которая все более и более выказывает склонность отождествиться с управой благочиния!

ПИСЬМО ТРИНАДЦАТОЕ  
Милая тетенька.

Дядя Григорий Семеныч правду сказал: совсем благородные мысли из употребления вышли. И очень возможно, что именно в этой утрате вкуса к благородному мышлению и заключается объяснение того тоскливого чувства, которое тяготет над переживаемую нами современностью.

Благородные мысли, благородные чувства (их называют также "возвышенными") нередко представляются незрелыми и даже смешными; но это происходит оттого, что по временам они облакаются в нелепую и напыщенную форму, которая, до известной степени, заслоняет их сущность. В большинстве случаев, к напыщенности прибегают люди, совсем непричастные высоким мыслям и чувствам, а именно: шпионы, кровосмесители, казнокрады и другие злокачественные вередя общественного организма. Не имея ничего за душой, кроме праха, они вынуждаются маскировать этот прах громкими фразами. Казнокрад закатывает глаза, говоря о святости собственности; кровосмеситель старается пламенеть, утверждая, что семейство – святыня; шпион рыдает, заявляя о своем сочувствии к "заблуждающимся, но искренно любящим свое отечество молодым людям" и т. д. И в то же время, и те, и другие, и третьи отыскивают отборнейшие выражения и стараются округлять периоды. Но истинно возвышенное чувство никаких этих округлений не знает и выражается просто, трезво, без вычур. Вот это–то именно и надобно различать. То есть надо раз навсегда сказать себе, что ежели возвышенное чувство кажется нам смешным, то это совсем не значит, что оно в самом деле смешно, а значит только, что в него лицемерно вырядился какой–нибудь негодяй, которому необходимо замести свои следы.

В основе благородных чувств лежит человечность, самоотверженность и глубокая снисходительность к людям. Эти свойства, и сами по себе очень ценные, приобретают еще более ценное значение в том смысле, что дают жизни богатое и разнообразное содержание. Обнимая собой сполна весь цикл человеческих отношений, они оживляют мысль и деятельность не только отдельных индивидуумов, но и целого общества. Являются представления об общем благе, об общечеловеческой семье, о праве на счастье; и чем больше расширяются границы этих представлений, тем больше находит для себя, в этих границах, работы человеческая мысль и деятельность. И притом, работы честной, не отравляющей совести сомнением, что в результате может получиться предательство, частный вред или общее бедствие.

Говорят, будто бы чересчур повышенный диапазон мыслей и чувств приводит к расплывчивости, которая делает их мало применимыми к действительности. Между тем действительность–то, дескать, именно и нуждается в просветлении и освежении, так что без этой цели чувства и мысли самые благородные представляют только доброкачественную, но бесплодную игру. Коли хотите, в этом укоре есть капля правды, и капля довольно ядовитого свойства. Действительно, влияние высоких мыслей и чувств на жизнь практическую, обыденную, до сих пор представляется не особенно решительным... Но отчего же это происходит? А оттого, милая тетенька, что действительность чересчур уж ревниво оберегается от напыла каких бы то ни было просветлений и освежений; оттого, что просветления признаются вредными и вносящими в жизнь известные осложнения, которые полагают препятствия к слишком бесцеремонному обращению с ней (а это–то последнее и составляет цель всех вожделений). Или, говоря другими словами, оттого, что между мыслью и действительностью воздвигается искусственная перегородка, которая делает последнюю непроницаемой для первой. Понятно, что при подобных условиях работа мысли фатальным образом осуждается на игру.

Однако ж чаще всего игра переходит в страдание, и тогда вопрос сразу переносится совсем на другую почву. Нелегко переносить эту оторванность от почвы, которую так легкомысленно ставят в укор возвышенной мысли; нелегко предаваться благородной игре, которая затрогивает все внутреннее существо человека, и сознавать, что идеалы человечности, самоотверженности и любви надолго осуждены оставаться только игрою. Тяжелая это игра, и нужно быть изрядным мудрецом, чтобы пребывать бесстрастным среди неосмысленного уличного празднословия, которое так охотно идет с дреколием навстречу мысли, возвышающейся над уровнем толпы. Да и с одним ли уличным празднословием приходится считаться возвышенной мысли? – о, если б только с одним! тогда дело мысли было бы выиграно, потому что улица, как живой организм, все-таки имеет способность размягчаться и развиваться. Но, кроме улицы, ведь есть Дыба, есть Удав, которые лелеют встречные идеалы, установившиеся и окрепшие; которые заоченели в охране этих встречных идеалов и, во имя их насущной практичности, мерно поднимают и опускают молот, угрожая расплющить все, что заявляет претензию выйти из рамок обыкновенного низменного животолюбия.

С этими идеалами, которые говорят: ходи в струне и никаких требований, кроме физических, не предъявляй, ужасно трудно мириться. Даже Удав и Дыба, в сущности, не удовлетворяются ими, а держат их только как камень за пазухой, для ушибания. И у них есть свой "образ мыслей", правда, ограниченный и вредный, но в пределах его они все-таки могут испытывать то чувство удовлетворенности, которое сам по себе доставляет мыслительный процесс. Но они не хотят, чтобы другие мыслили, и этим другим предоставляют лишь сладкий удел выполнять начертанную программу. Даже права вредно мыслить они не признают (только право совершать физические отправления – подумайте, какая жестокость, милая тетенька!) – как же вы хотите, чтоб они признали право мыслить благородно? Благородно мыслить – ведь это значит расплываться, значит смущать толпу всевозможными несбыточностями, значит подрывать, потрясать! И вы думаете, что Удав и Дыба останутся равнодушными зрителями этих оболщений и потрясений!

Вот с чем встречается возвышенная мысль на пути своем и что превращает игру в страдание, до того реальное, что всякий может вложить этому страданию персты в язвы. Это история очень старая и непрерывно повторяющаяся, но именно эта древность и непрерываемость и доказывает, что игра, на которую осуждается возвышенная мысль, совсем не так бесплодна, как это кажется с первого взгляда. Никогда ликование и торжество не делали столько страстных прозелитов, сколько делали их угнетения и преследования. Не говоря уже о том, что возвышенная мысль сама по себе обладает изумительною живучестью, преследование сообщает ей еще новую и своеобразную силу: силу поучения.

Все, что мы видим в мире доброго, светлого и прочного, весь прогресс человеческого общежития – все идет оттуда, из этой расплывающейся, но упорно остающейся верно себе мысли; все оплодотворяется ее самоотверженной живучестью. История человечества гласит об этом во всеуслышание и удостоверяет наглядным образом, что не практики, вроде Шешковского, Аракчеева и Магницкого, устроят будущее, а люди иных идеалов, люди «расплывающихся» мыслей и чувств. И Шешковский, и Аракчеев, и Магницкий (да и одни ли они? мало ли было таких «практиков» прежде и после?) достаточно-таки поревновали на пользу кандалов, но, несмотря на благоприятные условия, несмотря даже на запечатленный кровью успех, и они, и их намерения, и их дела мгновенно истлели, так что даже продолжатели их не только не решаются ссылаться на них, но, напротив, притворяются, будто имена эти столь же им ненавистны, как и истории. Ведь и чума когда-то в Москве неистовствовала, но кто же ссылается на нее, как на благоприятный прецедент? Так точно и тут: пришли, осквернили вселенную и исчезли... А история с кандалами между тем мало-помалу разъясняется, а Удав с Дыбой хотя и продолжают, по существу, проповедовать, что истина и кандалы понятия равносильные, однако уж настолько не уверены в успехе своей проповеди, что вынуждаются уснащать ее величайшими оговорками. Слышатся выражения: «временно», "не надолго, а только в виду потрясения основ", "а потом, само собой разумеется" и т. д. Словом сказать, цельность мирозерцания нарушена, и если б Шешковский не сгнил, он непременно самих Удава и Дыбу заподозрил бы в потрясении основ и заключил бы в кандалы, которые, вероятно, еще где-нибудь в уголку найдутся, если хорошенько поискать.

Тем не менее проповедь Удава и Дыбы все-таки одурманивает. Жестокие и противочеловеческие формы, в которые, от времени до времени, облекается возбужденная страсть, дает охранителям благочиния отличнейший материал, чтобы

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) посеять окрест развращающую панику. Вздурораженная улица охотно соглашается отдать себя на поругание, взамен уступок и посулов, делаемых ее инстинкту самоохранения. Нужды нет, что эти уступки гарантируются ей идеалами благочиния, в основе которых лежат кандалы; нужды нет, что ни Удав, ни Дыба, принявшие это наследие от Шешковского, никаких иных средств охранения не могут изобрести, – паника уживается и с кандалами. Зато ее обнадеживают словами: «временно», "вот погодите", "дайте управиться" и т. д. «Временно» – упраздняется развитие, «временно» – налагается секвестр на мысль, «временно» – общество погружается в беспросветную агонию..

Я знаю и сам, что это маразм действительно только временный, и не потому временный, что так удостоверяют Удав и Дыба, а потому, что улица самая бесшабашная очнется, поняв, что бессрочный маразм может принести только смерть. Но ведь и временно сознавать себя заключенным в съезжий дом – ужасно оскорбительно. И, право, я недоумеваю, как могут люди не понимать, что съезжий дом, ни бессрочно, ни на срок, не только не представляет искомого идеала, но даже самую зачаточную форму общезжития назван быть не может. Ибо съезжие дома предназначаются совсем не для граждан и даже не для обывателей, а для колодников. Что съезжие мысли, съезжие речи могут пользоваться в обществе правом гражданственности – в этом я, конечно, никогда и ни на минуту не сомневался, но в меру, милая тетенька, а главное, чтоб все в своем месте и в свое время было. Когда съезжие мысли мыслят околоточные и городовые, я совершенно понимаю, что иначе оно и не должно быть. Но когда эти же мысли поработают себе общество, закабаляют партикулярных людей, отравляют общественные отношения и отнимают у жизни всякий внеполицейский интерес – это я уже перестаю понимать.

Вот это–то обязательное поработание идеалам благочиния и заставляет меня не раз говорить: да, трудно жить современному человеку! Непозволительно обходиться без благородных мыслей, неприлично отождествлять общество с съезжим домом; невозможно не только «временно», но даже на минуту устранить процесс обновления, который, собственно говоря, один и оберегает общество от одичания. Подумайте! ведь общество, упразднившее в себе потребность благородных мыслей и чувств, не может послужить деятельным фактором даже в смысле идеалов тишины и благочиния. Оно бессильно, дрябло, инертно; оно постепенно разлагающийся труп – и ничего больше.

Примеры этой трупной немощи изобилуют; примеры наглядные, для всех вразумительные. Приведу здесь один, наиболее нам близкий: так называемую потребность «содействия». Слово это у всех на языке и повторяется на все лады, так что, казалось бы, только явись это желанное «содействие», мы в ту же минуту сели бы и поехали. Но именно "содействие"-то и не является, а не является оно.. как вы, однако ж, думаете, почему оно не является?

Спрашивается: прав ли я был, утверждая, что при подобных условиях, при этом всеобщем господстве серых тонов, жизнь становится не только трудною, но и прямо постылою?

А между тем не дальше как на днях и именно по поводу этого утверждения я подвергался поруганию. Один из Иванов Непомнящих, которых так много развелось нынче в литературе, взойдя на кафедру и обращаясь к сонмищу благородных слушательниц, восклицал: "Нам говорят, что, при современных условиях, нельзя жить – однако ж мы живем и, право, живем недурно!" Ах, мой любезный! да разве я когда-нибудь говорил, что всем нельзя жить, а в том числе и Иванам Непомнящим? – Нет, я говорил только, что вообще жизнь, обнаженная от благородных мыслей и побуждений, постыла и невозможна, так как эта обнаженность уничтожает самый существенный ее признак: способность развиваться и совершенствоваться. Но, в частности, для тех или других особей, я никогда возможности "жить да поживать" не отрицал. Напротив, я вполне убежден, что, например, золотари не только живут, но и едят при исполнении обязанностей.. Но, право же, незавидная это жизнь!

Поэтому, милая тетенька, убеждаю вас: не увлекайтесь идеалами благочиния и не соблазняйте тем, что они сулят вам тихое и безмятежное житие! Помните, что это тихое житие равносильно позорному гниению, и не завидуйте гниющим потому только, что они гниют без помехи! Сохраняйте в целости вкус к благородным мыслям и возвышенным чувствам, который завещан нам лучшими преданиями литературы и жизни! Пускай называют людей, хранящих эти предания, "разбойниками печати" – не пугайтесь этой клички, ибо есть разбойники, о которых сама церковь во всеуслышание гласит: "но, яко разбойник, исповедую тя", равно как есть благонамеренные предатели, о которых та же церковь возглашает "ни лобзания ти

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru дам, яко Иуда"... Расплывайтесь, но не коченеите! взмывайте крылами в пространство, но не погрязайте в болотной тине! И ежели к вам, от времени до времени, заходит на чашку чая урядник, то и ему говорите, что доблестнее и для самого охранительного дела выгоднее расплываться, нежели погрязать. А я, с своей стороны, буду о том же твердить подчаскам и дворникам.

\* \* \*

Не одно благородное мышление в умалении – самая способность толково и правильно выражаться (синтаксис, грамматика, правописание) – и та мало-помалу исчезает, так что в скором времени нам, видимо, угрожает всеобщее косноязычие.

Для доказательства приведу пример, наиболее резко бросающийся в глаза.

В первый раз, как вы будете проезжать через Берлин, пройдите по Unter den Linden[57] и остановитесь перед витриной книгопродавца Бока. Вы увидите тут так называемую «вольную» русскую литературу, и, между прочим, очень разнообразный ассортимент брошюр новейшего происхождения, на которые я и обращаю ваше внимание. Их много, все они трактуют о предметах самого насущного интереса и все отличаются отсутствием благородного мышления. Названия у этих брошюр самые заманчивые, начиная от вопроса: "Что нам всего нужнее?" и кончая восклицанием: "Европа! руки по швам!"

Предостерегаю вас: читать эти брошюры, как обыкновенно путные книги читают, с начала до конца – труд непосильный и в высшей степени бесплодный. Но перелистывать их, с пятого на десятое, дело не лишнее. Во-первых, для вас делается ясным, какие запретные мысли русский грамотей находится вынужденным прятать от бдительности цензорского ока; во-вторых, вы узнаете, до каких пределов может дойти несознанность мысли, в счастливом соединении с пустословием и малограмотностью.

Перед вами русский обыватель, которого нечто беспокоит. Что именно беспокоит? – то ли, что власть чересчур обострилась, или то, что она чрезмерно ослабла; то ли, что слишком много дано свободы, или то, что никакой свободы нет, – все это темно и загадочно. Никогда он порядком не мыслил, а просто жил да поживал (как, например, ваш Пафнутьев), и дожил до тех пор, когда «поживать» стало не вмоготу. Тогда он вытарашил глаза и начал фыркать и припоминать. Припомнил нечто из истории Кайданова, подслушал выражения вроде: «власть», «свобода», «произвол», «анархия», «средостение», «собор», свалил этот скудный материал в одну кучу и стал выводить букву за буквой. И что же! на его счастье оказалось, что он – публицист!

Но для России он слишком свободномыслящ. Подумайте только: во-первых, он на кого-то за что-то фыркает и к кому-то предъявляет какой-то иск; во-вторых, у него чуть не на каждой строке красуется слово «свобода». Конечно, рядом с «свободой» он ставит слова: «искоренить», «истребить» и «упразднить», но так как эти выражения разбросаны по странице в величайшем беспорядке, то, в уме блюдущего, естественно, возникает вопрос: нет ли тут подвоха? Что упразднить? – хорошо, коли свободу... А ну, как наоборот? Сверх того, он ставит «но» вместо «и»; начнет фразу условными "так как", «хотя», "если" – и бросит; или красную строку напишет: "Смею ли присовокупить?" – и тоже бросит... А это тоже наводит на мысль о подвохе. Почему он поставил «но», тогда как по смыслу речи следовало поставить «и»? Может быть, тут-то оно самое, потрясение, и свило себе гнездо? Ах никому, даже соглядателям, нынче верить нельзя! Слаб стал народ... ах, как слаб! Словом сказать, попробуйте напечатать в Петербурге книгу, в которой есть красная строка: "Смею ли присовокупить?" – непременно все цензурное ведомство всполошится. А за граница и эту фразу, и "свободу, споспешествуемую средостением", и "анархию, действующую в союзе с произволом", – все съест.

Я предполагаю, что именно в таком виде являлась человеческая мысль в младенчестве. В тот свайно-доисторический период, когда она наугад ловила слова, не зная, как с ними поступить; когда «но» не значило «но», когда дважды два равнялось стеариновой свечке, когда существовала темная ясность и многословная краткость, и когда люди начинали обмен мыслей словами: "Смею ли присовокупить?" Вот к этому-то свайному периоду мы теперь постепенно и возвращаемся, и не только не стыдимся этого, но, напротив, изо всех сил стараемся, при помощи тиснения, непререкаемо засвидетельствовать пред потомством, что отсутствие благородных мыслей, независимо от нравственного одичания, сопровождается и безграмотностью.



Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) Уволенный от цензурного надзора, русский публицист всегда начинает речь издалёка и прежде всего спешит зарекомендовать себя перед читателем в качестве эрудита. С чрезвычайною готовностью он облетает все части света ("Известно, что даже в вольнолюбивой Франции", или "Известно, что в Северо-Американских Штатах" и т. д.), проникает в мрак прошедшего ("Известно, что когда египетские фараоны", или: "Известно, что когда благожелательный, но слабый Людовик XVI" и т. д.) и трепетною рукою поднимает завесу будущего, причем возлагает надежду исключительно на бога, а на институт урядников и дворников машет рукою. Так что не успеет читатель оглянуться (каких-нибудь 10 – 12 страниц разгонистой печати – вот и вся эрудиция!), как уже знает, что сильная власть именуется сильною, а слабая слабою, и что за всем тем следует надеяться, хотя с другой стороны – надлежит трепетать. Такова общая, вступительная часть. "А теперь, посмотрим, в каком виде все сие представляется у нас в настоящую минуту"...

Посмотрим, необузданный бормотун! сказывай, "недозревший уме", какую такую ты усмотрел в отечестве твоём фигу, которая заставила тебя с надеждою трепетать и "понудила к перу твои руки"?

Но здесь вы сразу вступаете в дом «умалишенных», и притом в такой, где больные, так сказать, преднамеренно предоставлены сами себе. Слышится гам и шум; беспричинный смех раздаётся рядом с беспричинным плачем; бессмысленные вопросы перекрещиваются с бессмысленными ответами. Словом сказать, происходит нечто безнадежное, чему нельзя подобрать начала и чего ни под каким видом нельзя довести до конца...

Такова любая страница любой из «вольных» брошюр, обязанных своим появлением современной русской взбудораженности. Таково зрелище внутреннего междоусобия, которым раздирается человек, поставивший себе за правило избегать благородных мыслей, дабы всецело отдаться пустякам.

Основные положения – бог весть откуда взялись; выводы – самого бестрепетного читателя могут испугать своею неожиданностью. Основное положение гласит: "Главная черта, которая проходит через всю тысячелетнюю историю русского народа, есть смирение"; вывод возражает: "К несчастью, наш добрый народ находится в младенчестве и потому склонен к увлечениям". Тысячелетняя старость борется с младенчеством; смирение – с склонностью к увеличению (приводятся даже примеры буйства). Как же, однако, с этим смиренно-буйным народом поступить? дать ли ему свободу или нарядить в кандалы?.. хорошо, кабы кандалы! но тогда зачем же было ездить в Берлин? Не лучше ли сделать вот как: "С одной стороны, вольнолюбивая Франция доказывает, с другой стороны, конституционная Англия подтверждает, а князь Бисмарк недавно в речи, обращенной к рейхстагу, объяснил..." Ах, тетенька! представьте же себе, что никто ничего не доказывал, ничего не подтверждал и что князь Бисмарк никогда ничего не говорил! Что сам автор брошюры – и тот не знает, кто что доказывал и что подтверждал! Он просто выводит букву за буквой – и шабаш!

Бог справедлив, милая тетенька. Когда мы отворачиваемся от благородных мыслей и начинаем явно или потаенно клясть возвышенные чувства, он, праведный судия, окутывает пеленой наши мыслящие способности и поражает уста наши косноязычием. И это великое благо, потому что рыцари управы благочиния давно бы вселенную слопали, если б гнев божий не тяготел над ними.

\* \* \*

Да, милая тетенька, все это косноязычие именно оттого происходит, что нет запроса на благородные мысли. Благородная мысль формулирует себя без утайки, во всей своей полноте; поэтому-то она легко находит и ясное для себя выражение. И синтаксис, и грамматика, и знаки препинания – весь арсенал грамотности охотно ей повинуются. Вопросительный знак не смеет выскочить там, где слышится утверждение; слова вроде «искоренить», "истребить" – не смеют затесаться там, где не может быть речи ни об искоренении, ни об истреблении. Ясная для самого произносящего речь является вразумительною и для слушателей. Она убеждает умы, зажигает сердца.

Напротив того, мысль, увидевшая свет в атмосфере съезжего дома, прежде всего ищет скрыть свое происхождение и ищет этого по той же самой причине, по которой шулер, являясь в незнакомое общество, непременно рекомендует себя: благородный человек такой-то! Чтоб примирить с собою наивных, она замечает следы, прибегает к несвойственным выражениям и бросается в околенную. Но, стараясь выказать себя

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) благородною, она не знает, в чем состоит благородство, и потому на каждом шагу запутывается. И в то же время не смеет формулировать действительные свои побуждения, ибо сама трусит перед их сермяжным паскудством. Понятно, что и грамматика, и знаки препинания пользуются этим внутренним междоусобием, чтоб объявить себя воюющею стороною.

Все это именно и доказывают самым наглядным образом наши заграничные пропагандисты свободы, споспешествуемой искоренениями. Разверните их мысль вполне, и вы убедитесь, что вся она резюмируется одним словом: кандалы. А они припутывают сюда «свободу» и "наш добрый, прекрасный народ". Ясно, что никакая грамматика не выдержит подобного двоедушия.

Но повторяю: бог справедлив. Он поражает бормотанием и безграмотностью всех, не признающих благородного мышления, всех, приравнивающих возвышенность чувств потрясению основ. Вы убедитесь в этом не только на заграничной бормочущей публицистике, но и на нашей, домашней, того же безнадежного пошиба. Во всем лагере идеалистов усекновения вы ничего не найдете, кроме бездарности, пошлости и бессмысленного, всем явственного лганья. Это спаленная богом пустыня, на пространстве которой, в смысле продуктов мышления, произрастают только самые жалкие его виды: сыск и крюкотворство. Или, пожалуй, другое сравнение: это хлев, обитатели которого ничего, кроме корыта с месивом и навозной жижи, не только не признают, но и понять не могут.

До какой степени фаталистически безграмотность сопрягается с отсутствием благородства в мыслях – в этом я имел случай убедиться самым осязательным образом.

Года два тому назад (помнится, в самый разгар "диктатуры сердца"), шатаюсь за границей, я встретился в одном из водяных городков Германии с экспекторирующим соотечественником. По угнетенному виду, с которым этот человек прочитывал в курзале русские газеты, по той судороге, которая сводила в это время его руки в кулаки, я сейчас же угадал, что, кроме энфиземы, он страдал еще отсутствием благородных чувств. То было время, когда все порядочные люди предавались «иллюзиям» (хотя это было строжайше воспрещено), а русские, находившиеся за границей, даже гордость какую-то выказывали. Уж на что равнодушны дамочки к судьбам своей родины, но и те волновались и рассказывали что-то чрезвычайное: вот, мол, какое у нас нынче отечество! Один «он», этот угнетенного вида человек, не то фыркал, не то недоумевал.

За табльдотом мы познакомились. Оказалось, что он помпадур, и что у него есть "вверенный ему край", в котором он наступает на закон. Нигде в другом месте – не то что за границей, а даже в отечестве – он, милая тетенька, наступать на закон не смеет (составят протокол и отошлют к мировому), а въедет в пределы "вверенного ему края" – и наступает безвозбранно. И, должно быть, это занятие очень достолюбезное, потому что за границей он страшно по нем тосковал, хотя всех уверял, что тоскует по родине.

Разговорились: помпадур такой-то. И, разумеется, первая фраза – сквернословие.

– А в отечестве-то... а? либеральничают! популярничают! уж об излюбленных людях поговаривать начали... чудеса!

Сказал и усомнился. А вдруг я пожалуйсь соседям-немцам: вот, мол, какие у нас оболтусы произрастают! Однако, видя, что я сию смирно, ободрился.

– Раненько бы!

Опять смолк. Смотрит на меня, да и шабаш. Даже есть перестал: сидит и ждет, не скажу ли я что-нибудь сквернословно-сочувственно. Делать нечего, пришлось разговаривать.

– А вам бы, по-настоящему, не издеваться, а радоваться следовало! – наконец произнес я.

– То есть... почему же собственно мне?

– А потому, что вы – помпадур.

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)  
– Ну-с?

– А помпадур, как лицо подчиненное, должен иметь за собой наблюдение. Когда сердца начальников радуются – и он обязан радоваться; когда начальство печалится – и у него в сердце, кроме печалей, ничего не должно быть. Так и в уставе о пресечении сказано.

– Стало быть, вы полагаете, что нынешняя система...

– Ничего я об системах не полагаю, а радуюсь, потому что в законах написано: радуйся! И вам тоже советую. А то вы, как дорветесь до помпадурства, так у вас только и на уме, что сидеть да каркать! Когда крестьян освобождали – вы каркали; когда судебную реформу вводили – тоже каркали. Начальники, ваши благодетели, радуются, а вы – каркаете! Разве это с чем-нибудь сообразно? и где, в какой другой стране, вы можете указать на пример подобной административной неопрятности?

Замечание мое поразило его. По-видимому, он даже и не подозревал, что, наступая на законы вообще, он, между прочим, наступает и на тот закон, который ставит помпадуровы радости и помпадуровы печали в зависимость от радостей и печалей начальственных. С минуту он пробыл как бы в онемении, но, наконец, очнулся, схватил мою руку и долго ее жал, смотря на меня томными и умиленными глазами. Кто знает, быть может, он даже заподозрел во мне агента "диктатуры сердца".

– Вы... вас... – бормотал он, – представьте, однако ж, какая приятная неожиданность!

С тех пор мы ежедневно встречались по несколько раз, и он всегда говорил, что первая обязанность помпадура – это править по сердцу министров. Я же, со своей стороны, ободрял и укреплял его в этой мысли, доказывая, что радоваться, когда сердца начальников играют, несомненно покойнее, нежели рисковать слететь с места за показывание кукиша в кармане.

– И с чего вы до сих пор фыркали? какое вы в этом удовольствие для себя находили? – спрашивал я его.

– Признаюсь вам, – отвечал он наивно, – я ведь не знал, что есть такой закон, который начальственную радость на всех подчиненных распространяет.

– То-то вот и есть. У вас там во всех местах полны законов шкапы стоят, а вы даже главного закона не знаете!

Говоря это, я был почти строг; но он успокоил меня, объяснив, что легкомыслие его не предумышленное, а есть простая неопрятность, источник которой заключается в недостаточном образовании, полученном им в кадетском корпусе. Причем сознался, что грамматику прошел только до «Местоимения», и усердно просил меня заняться его перевоспитанием.

Разумеется, я с радостью согласился на его просьбу и на всякий случай выписал из России грамматику Поливанова. Перевоспитание же начал с объяснения, в чем заключается истинное благородство души, но так как при этом беспрестанно приходилось говорить об общем благе, которое он смешивал с «потрясением», то, признаюсь, мне стоило большого труда, чтобы хотя отчасти устранить это смешение. Но я успел в этом именно только отчасти, ибо хотя он и перестал говорить о потрясениях, но далее "диктатуры сердца" все-таки не пошел. Я рад был, однако ж, что хоть эту последнюю он признал для себя обязательною и дал мне слово по ее поводу никаких сквернословий на будущее время не испускать. Тогда, внимательно осмотрев его и убедившись в бесполезности дальнейших усовершенствований, я предложил ему изложить одушевлявшие его чувства в форме циркуляра исправникам и становым.

Целых два дня он царапал этот циркуляр, но, наконец, нацарапал и показал мне. Вот этот замечательный документ.

"Господам исправникам, становым приставам и урядникам, а через них и прочим всякого звания людям. Здравствуйте? А между тем что же мы видим!!

При форме правления всё от него исходяще! и обратно туда возвращающе. Что же надлежит заключить?! Что сердца начальников радующе, сердца (пропущено

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru "подчиненных") тоже, сердца унывающе... то же (пропущено почти всё)! А между тем что же мы видим!! Совсем на оборот. Частые смены начальников Сие внезапно изъясняют, а подчиненные... небрегут?

Посему предлагаю; применяясь к вышеизложенному всемерно примечать внезапности. Ежели внезапность радующе – радоваться и вам? а буде внезапность унывающе – и вам тоже. Но в случае ни того ни Другого – ни того ни другого и вам. Ежели же сие не будет исполнено, то как мне поступить!!!"

Сознаюсь откровенно: впечатление, произведенное на меня этим циркуляром, было не в пользу его. Первым моим движением было: бежать – что я немедленно и исполнил. Долгое время я скитался в горах, пока наконец очнулся и понял, что требования мои чересчур прихотливы. Нельзя, милая тетенька, сразу перевоспитать человека, как нельзя сразу вычистить платье, до которого никогда не прикасалась щетка. Настоящее благородство чувств есть удел исключительный, в известных же случаях достаточно довольствоваться и так называемым неблагородным благородством. А наконец нельзя не признать и того, что в данном случае основная мысль все-таки недурна; вот только редакция... ах, какая это редакция! Как бы то ни было, но я воротился в город примиренный и с твердым намерением довести дело перевоспитания до пределов возможного.

И я успел в этом, успел, разумеется, относительно. Каждый день я заставлял моего ученика и друга (я полюбил его) излагать свои чувства в новой редакции, и всякий раз эта редакция являлась более и более облагороженною. Так что в последний раз она предстала передо мной уже в следующем виде:

"Господам исправникам, становым приставам и урядникам. Здравствуйте!

Когда в стране существует форма правления, от которой все исходит, то исполнительные органы обязываются, не увлекаясь личными прихотливыми умствованиями, буквально выполнять начальственные предназначения. И больше ничего. Посему, ежели начальство (как это ныне по всему видится) находит возможным допустить, дабы обыватели радовались, то и вы... Сие допускайте, а не ехидничайте и тем паче не сквернословьте! Я сам, по недостаткам образования, не раз сквернословил, но ныне... Вижу!!

И посему предлагаю: настоящий мой циркуляр исполнить в точности, а в случае не найдете возможности, то доносить мне о том с раскаянием".

Как хотите, а циркуляр – хоть куда! Несколько некстати поставленных знаков препинания, несколько лишних прописных букв, несколько ненужных повторений и, наконец, несчастное "Здравствуйте!" – вот все, в чем можно укорить почтенного автора. Исправьте эти погрешности, и затем хоть сейчас в типографию (разумеется, впрочем, в казенную)! Я даже поправлять не решился, а просто посоветовал целиком свезти циркуляр в "вверенный край". Там правитель канцелярии погладит шероховатости, вставит надлежащие статьи законов, помаслит, округлит – смотришь, ан "вверенный край" и проглотил!

– Позвольте, в знак восхищения, предложить вам порцию мороженого! – попотчевал я его.

Он поблагодарил и съел. А на другой день я отправился в Париж, а он во все лопатки помчался в "вверенный ему край".

С тех пор до меня доходили об нем разные слухи. Сначала писали, что он продолжает мыслить благородно, и вследствие этого слог его циркуляров постепенно совершенствуется; потом стали писать, что он опять начал мыслить неблагородно, и вследствие этого в циркулярах его царствует полнейшая грамматическая анархия. Разумеется, по поводу первых слухов я радовался, по поводу вторых – сокрушался. Как вдруг получаю от него письмо, которое сразу покончило с моими недоумениями.

Вот это письмо:

"Милостивый Государь!

Но ежели исторический Ход событий! – сомненности наши Превращает в несомненности... но что же тогда сказать?!

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)

И именно следующее! При свидании (вероятно, речь идет о наших беседах на водах) имел я отрывочные, но краткие беседы... И вы говорили: когда сердца (очень большой пропуск) – ются тогда и вы то есть... я! А когда сердца в печали тогда и вы то есть я. Между тем что же мы видим! Произошли акты и при сем форма правления выяснилась вполне. А законы и иллюзии со всем прочим должны исчезнуть и отойти во временное предание!!

Так я с твердостью уповаю.

Полагаю, что вы мой план одобрите но я другого не знаю. Кроме одного: всё исходяще и всё возвращающе. Подобно реке Волге! Исходит из озера Селигера но как случилось что докатила волны до С Израни и далее... Неизвестно!! Согласно с сим и я свои распоряжения здесь делаю, а между тем и бумагу к здешнему Господину Председателю (пропущено: «написал»; не сказано также, к какому председателю), В Копии При сем прилагаемое!

А здесь ощущается всеобщее удивление? И именно по случаю формы Правления! Надеялись никакой формы нет, а вместо того произошли акты. Но я нетолько не удивляюсь, но помню наш разговор. Правду вы тогда сказали Помпадур должен быть радующе, а не умствующе, а тем паче взирающе. И ежели у вас в Известных Местах Есть знакомые, то Прошу Оныя заверить, Говоря Он будет тверд и никаких оснований кроме известных и исходяще за Образец не возьмет. Он, То есть я".

В приложенной к письму бумаге на имя неведомого «Председателя» (вероятно, какой-нибудь крамольной управы) я прочитал следующее:

"Милостивый Государь,

Онуфрий Терентьевич!

Известное и определенное требуется и для службы соответственно людей.

Твердое направление, данное в согласность обстоятельствам, не оставляет никаких колебаний; что характер управления в духе всеословности и силе большинства должен исчезнуть навсегда и бесповоротно и должен перейти к характеру ословности, соединенной только общими целями для блага.

Посему, считаю долгом Вам, Милостивый Государь, рекомендовать и просить, в видах соблюдения должной точности высказанных непреложных оснований, принять на службу предьявителя сего, коллежского асессора Семена Дормидонтовича Стрюцкого, мысли которого по сему предмету и предлагаю вам принять к руководству при достижении общими силами блага.

С подлинным верно: Правитель канцелярии Бедный-Макар".

Внизу помпадур собственноручно прибавил:

Примечание 1-ое. Бумагу Сию писал правитель канцелярии, но мысли мои. И слог поправлял То есть я.

Примечание 2-ое. Стрюцкий – мой крестник".

Итак, труды мои пропали даром. Очевидно, помпадур одичал, и так как ему уже перевалило за пятьдесят, то надеяться на какую-либо воспитательную случайность в будущем представлялось, по малой мере, бесполезным. В сей крайности и повинуюсь правилам общежития, я ответил ему кратко:

"Милостивый Государь.

Прочитав почтеннейшее Ваше письмо и приложенный к оному документ, я с горестью убедился, что чувства, о которых мы так часто и продолжительно с Вами беседовали, покинули Вас навсегда. До такой степени покинули, что Вам кажется уже необъяснимым, почему Волга, восприяв начало из озера Селигера, постепенно катит свои волны к Сызрани (которую вы совершенно неправильно пишете: С Изрань) и далее.

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

Не находя уместным излагать здесь законы, коим повинуются река Волга в своем течении, могу сказать только одно: законы сии столь непреложны, что смертным остается лишь преклониться пред ними. А в том числе, без сомнения, и помпадурам. Что же касается до решимости Вашей управлять согласно с инструкциями и предписаниями, от начальства издаваемыми, то, одобряя таковую в принципе, я не вижу, однако ж, чтобы она давала Вам повод для похвальбы. Исполнение начальственных предписаний – совсем не заслуга, а естественная со стороны всякого помпадура обязанность, за невыполнение которой угрожает строгость законов.

Все сие, впрочем, я неоднократно имел честь Вам объяснять во время совместного пользования водами, хотя, по-видимому, втуне.

В заключение, предполагая, по множеству грамматических ошибок, которыми усыпано Ваше письмо, что грамматика Поливанова, которую я своевременно, в видах усовершенствования, Вам подарил, утрачена Вами, препровождаю при сем новый ее экземпляр, который и предлагаю употребить по установлению".

Письмо это я послал с таким расчетом, чтоб он мог его получить к Светлому празднику. Но будет ли из этого какой-нибудь прок – сомневаюсь.

ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ  
Милая тетенька.

В последнее время, я, в качестве литературного деятеля, сделался предметом достаточного количества несочувственных для меня оценок. Между ними есть несколько таких, которые прямо причисляют меня в категорию «вредных» писателей, на том основании, будто бы я, главным образом, имею в виду не обличение безнравственных поступков, а отрицание самого принципа нравственности.

На это я могу ответить одно: неизменным предметом моей литературной деятельности всегда был протест против произвола, двоедушия, лганья, хищничества, предательства, пустомыслия и т. д. Ройтесь, сколько хотите, во всей массе мною написанного – ручаюсь, ничего дурного не найдете. Стало быть, весь вопрос заключается в том: следует ли признать исчисленные выше явления нормальными, имеющими что-нибудь общее с "принципом нравственности", или, напротив, правильное отнестись к ним, как к безнравственным и возмущающим честное человеческое сердце? Конечно, есть воры, которые до того привыкли воровать, что воровство уже не представляется им позорным, и есть ханжи, которые до того привыкли колотить руками в пустые перси, что пустосвятство кажется им действительною набожностью; но разве примеры подобных самообманов могут считаться обязательными? Я думаю, что ответ на эти вопросы не может подлежать сомнению и что, стало быть, лагерь, который безрассудно возбуждает по этому поводу разглагольствие, сам на себя налагает клеймо распутства, с которым и перейдет в потомство.

Но есть другой укор, который посылается по моему адресу и в котором, я должен сознаться, имеется значительная доля правды. Укор этот заключается в том, что я повторяюсь. К сожалению, ценители мои не вникают в причины моих повторений и не представляют доказательств их неуместности, а это делает их оценки как бы направленными с единственною целью лично меня уязвить и лишает меня возможности извлечь из них какое-либо для себя поучение.

Тем не менее, так как я сам признаю замечание это небезосновательным, то нахожу полезным дать по этому поводу некоторые объяснения.

Начинаю с констатирования, что моя деятельность почти исключительно посвящена злобам дня. Очень возможно, что с точки зрения высшего искусства эта деятельность весьма ограниченная, но так как я никаких других претензий не заявляю, то мне кажется, что и критика вправе прилагать ко мне свои оценки только с этой точки зрения, а не с иной. Но злоба дня, вот уж почти тридцать лет, повторяется в одной и той же силе, с одним и тем же содержанием, в удручающем однообразии. Как тридцать лет тому назад мы чувствовали, что над нашим существованием витает нечто случайное, мешающее правильному развитию жизни, так и теперь чувствуем, что в той же силе и то же случайное продолжает витать над нами. Никакое правдивое перо не возьмет на себя вычеркнуть из наличности то, что хотя и не в равной степени, но всеми чувствуется, как

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) основная и жгучая боль минуты. Никакой правдивый бытописатель не позволит себе сказать, что случайность изгибла, когда она стоит крепче и действует язвительнее, чем когда-либо. Выше я перечислил некоторые признаки ненормального состояния общественного организма, и, по мнению моему, единственно благодаря господству случайности, эти признаки не только не исчезают и не смягчаются, но делаются характеристичными чертами времени. Они находят себе апологистов, которые ежель и не утверждают прямо, что, например, хищничество есть добродетель, но всякий протест против хищничества приравнивают к потрясению основ. И, благодаря случайности, эти общественные проституты не встречают даже отпора. Примеры гнусных сопоставлений честного протеста чуть не с вооруженным бунтом повторяются на каждом шагу и проходят вполне безнаказанно, благодаря совпадению с случайными веяниями минуты; но самая эта безнаказанность разве не знаменует собой глубокого нравственного упадка? Видеть целый сильно организованный литературный лагерь, утверждающий, что всякое проявление порядочности в мышлении равносильно разбою и мошенничеству, что идеалы свободы и обеспеченности суть идеалы анархии и дезорганизации власти, что человечность равняется приглашению к убийствам – право, это такое гнусное зрелище, перед которым не устоит даже одеревенелое равнодушие. А между тем это зрелище проходит перед нами каждый день, и, к удивлению, оно единственное, которое пользуется присвоенною зрелищам сценической постановкой. Каждый день из лагеря хищников, предателей, пустосвятов и проституты раздаются распутные клики, готовые задушить в обществе всякие признаки порядочности. Каждый день из растворенных хлебов вопиют голоса трихинных пристанодержателей, угрожающие, проклинающие, требующие пропятия... Спрашивается: ужели не следует как можно громче объяснять обществу, что эти мерзкие вопли – не что иное, как лганье и проституция? Нет, именно следует каждодневно, каждочасно, каждоминутно повторять: ложь! клевета! проституция! Повторять хотя бы с тем же однообразием форм и приемов, которые употребляются самими клеветниками и проститутами. Повторять, повторять, повторять.

Вот это именно я и делаю. Двадцать пять лет сряду одну и ту же ноту тяну, и ежели замолкну, то замолкну именно с этой нотой, а не с иной. И никогда не затрудняюсь тем, что нота эта звучит однообразно.

Но есть и еще причина, обуславливающая повторения: их требует сам сочувствующий мне читатель. Я ничего не создаю, ничего лично мне одному принадлежащего не формулирую, а даю только то, чем болит в данную минуту всякое честное сердце. Я даже утверждаю, что всякий честный человек, читая мои писания, непременно отождествляет мои чувства и мысли с своими. Это он так чувствует и мыслит, а мне только удалось сойтись с ним сердцами. И он доволен, когда ему напоминают об этих собственных его чувствах и мыслях, когда их воплощают перед ним в горячем слове или в живом образе – доволен, потому что это самое дорогое его достояние. Эти речи, эти образы, быть может, не задерживаются в его памяти в ярких и резко очерченных формах, но они несомненно оставляют в его сознании общее впечатление сочувственного, родственного. Ибо в этом случае происходит то интимное общение мыслей и чувств, в котором трудно определить, кто кому дает и кто у кого берет. "Это самое я всегда мыслил", говорит читатель и пускает вычитанное в общий обиход, как свое собственное. И он не совершает при этом ни малейшего плагиата, потому что, действительно, эти мысли – его собственные, точно так же, как и я не совершаю плагиата, формулируя мысли и чувства, волнующие в данный момент меня наравне с читающей массой. Ибо эти мысли и чувства – тоже мои собственные.

Повторяю: человек ни к чему так охотно не возвращается, как к предметам, которые наиболее затрогивают его существование. Он и людей тех особенно любит, о которых знает, что они болят теми же болезнями, которыми болеет он сам. Вот почему напоминания об этих болях, как бы часто и однообразно они ни повторялись, не представляются ему назойливыми. Ибо только разделенное страдание может помочь отыскать выход из тьмы к свету, и раз желаемое общение в этом смысле установилось, напоминания об его основах не только не ослабляют общения, но, напротив, скрепляют и подтверждают его.

Примеры такого почти неразложимого взаимного «попустительства» (употребляю модный ныне консервативный термин) между автором и читателем я встречаю на каждом шагу. Часто случается мне получать письма от неизвестных лиц с изложением бесспорно интересных фактов всякого рода неурядицы; однако ж я не могу воспользоваться сообщаемыми фактами по той простой причине, что в виде общих положений, иллюстрированных и подтвержденных, они уж не раз были мной заявляемы. Большая же или меньшая численность фактов одного и того же пошиба ничего не

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) прибавляет к характеристике времени, ибо если характеристика эта достаточно определилась, то само собой разумеется, что иных фактов в данное время не может и быть. Тем не менее я понимаю, почему читатель сообщает мне об этих факсах. Он просто желает высказать, что я прав, и подтверждает мою правоту своими собственными наблюдениями.

Не далее как на днях мне пришлось быть в обществе, где рассказывались факты, как раз соответствующие тому "принципу нравственности", в отрицании которого я обвиняюсь московскими фарисеями. И между прочим передавалась следующая история.

Жил-был сельский священник и имел сына. Сын этот с успехом кончил курс в семинарии, но священствовать почему-то не пожелал. Вероятно, впрочем, причина была простая: не чувствовал молодой человек склонности (а стало быть, и способностей) к выполнению обязанностей, сопряженных с священством. Напротив того, выказывал величайшую охоту к сельскому хозяйству, домоводству и земледельческому труду. Приехал, по окончании курса наук, домой, оделся в сермяжную мужицкую броню, обулся в лапти и начал косить, пахать и боронить.

Кажется, что же тут такого... необыкновенного? – Разумеется, милая тетенька, на мой и ваш взгляд – ничего. Мы люди простые и думаем так: ежели человеку охота пахать – паши, охота сеять репу – сей репу и даже морковь! Но ведь не все так явно отрицают "принципы нравственности", как мы с вами. Есть люди, кои блюдут. А наблюдение в том именно и состоит, чтобы всякое звание пребывало верным свойственному ему занятию, занятиями же несвойственными, а тем паче нарушающими гармонию табели о рангах, гнушалось. Так, например, губернский секретарь обязывается гнушаться занятий, свойственных коллежским регистраторам, коллежский секретарь – занятий, свойственных губернским секретарям, и т. д. В старину, о негнушающихся губернских секретарях говорили, что они «марают» не только себя лично, но и всех прочих губернских секретарей. А нынче и это толкование, с точки зрения "принципа нравственности", кажется уже недостаточным, и потому говорят: ежели такой-то губернский секретарь унизился до общения с коллежскими регистраторами, то это значит, что он вознамерился сеять между ними последними превратные толкования.

Так именно случилось и с легкомысленным поповским сыном. Не успел он обути лапти, как местный кабатчик (первая инстанция, сиречь оплот) уж задумался. Стоит у стойки, чешет об косяк брюхо и думает: что за причина такая? И, разумеется, сообщает о своих консервативных сомнениях уряднику. Урядник задумался еще пуще кабатчика. Начал похаживать мимо батюшкина дома, будто гуляет, а между тем высматривает, не объявится ли ниспровержения властей. Или схоронится за деревом, приложит к глазам руку зонтиком и выглядывает в поле. Видит: идет за сохой в лаптях мужик; вот он остановился, вот опять налег грудью... что за причина такая? Мог бы ходить по приходу славить, яйца собирать, ан вместо того... Наконец, урядник не вытерпел и обратился к батюшке:

– Что за причина такая?

А батюшка, который и сам чаял, что возлюбленный сын с ним вкупе и влюбле будет аллилуйя славословить – а он, вишь, ведь что выдумал! – вместо того, чтоб объяснить уряднику его и кабатчиково полоумие, ответил уклончиво:

– Сами видите!

Тогда урядник окончательно не вытерпел и донес становому.

Становой сейчас же сообразил, что дело может выйти блестящее, но надо вести его умненько. Поехал в село будто по другому делу, а сам между тем начал собирать "под рукою" сведения и о поповском сыне. Оказалось: обулся поповский сын в лапти, боронит, пашет, косит сено... что за причина такая? Когда таким образом дело «округлилось», становой обратился к батюшке:

– Что за причина такая?

– И сам не мало о сем стужаюсь, – объясняет батюшка, – и не раз вразумлял. Побеседуйте с ним – может быть, ваши вразумления больше подействуют.

Призвал становой поповского сына, спрашивает:



Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)  
– Землю работаешь?

– Землю.

– Пашешь?

– Пашу.

– Что за причина такая?

Натурально, поповский сын глаза вытарачил. Наконец очнулся и сам предлагает вопрос:

– А разве запрещено?

– Запрещено не запрещено, а несвойственно...

– Так запретите же прямо, коли несвойственно. Я буду сидеть и баклуши бить.

Однако ж запретить становой не решился, а донес исправнику: так и так, в стане проявился поповский сын, кончил курс, мог бы быть диаконом, а вместо того ведет несвойственный образ жизни. Исправник тоже сейчас понял. Велел заложить тройку, подвязать к дуге колокольцы и поскакал в гнездо крамолы. Подкатив к батюшкину дому, молодцом соскочил с телеги:

– Что за причина такая?

– Не мало пытал я о сем с ним беседовать, – оправдывался батюшка, – но слова мои не приемлются. Не вразумите ли вы?

А матушка, с своей стороны, присовокупила:

– А уж для нас–то как бы хорошо было! Взять теперь хоть бы место дьякона: и яйца, и новина, и кудель, и всё такое... А из доходов часть – это само по себе.

Позвали поповского сына, не дали даже последний загон доборонить. И начал его, при отце и матери, исправник стыдить.

– Ах, молодой человек! молодой человек!

Но молодой человек не хочет чувствовать, да и шабаш. Только и слов у него на языке:

– Разве запрещено?

– Ах, молодой человек! да разве закон может всё предусмотреть? И как это вы так резко позволяете себе говорить: запрещено?! Не запрещено–с, а несвойственно–с. Предосудительно–с.

Однако ж как ни стыдил исправник поповского сына, последний точно осатанел. Твердит одно и то же:

– Ваше высокородие! сделайте божескую милость! позвольте пахать!

Тогда исправник, вместо того, чтоб с кротостью разрешить: паши, братец (только всего два слова и нужно)! – разодрал на себе в гневе вицмундир и воскликнул:

– Прекрасно–с! пашите–с! бороните–с! сейте–с! ха–ха–ха... сейте–с! Только знайте вперед–с: я умываю руки–с!

И, обратившись к батюшке, добавил:

– Жаль, почтеннейший старик! и вас жаль... и его–с... заблудшего–с! И вас, почтеннейшая матушка, жаль... всех–с! очень–очень жаль–с!

Исправник ускакал, а поповский сын сел на лошадь и поехал доборонивать брошенный загон. Батюшка вздохнул ему вслед и начал было: "говорил я тебе...", но поправился и спросил:

– А когда же двоить собираетесь?

Прошло еще недели четыре. Поповский сын за это время успел не только сдвоить пашню, но и посеять озимое. Он уж заранее облизывался при мысли, что еще три-четыре недели – и наступит молотьба, как вдруг, в самый разгар его страдных мечтаний, у батюшкинова дома остановился тарантас, из которого на этот раз вылез уже целый статский советник. Статский советник оказался просвещенно-благожелательный, хотя и без послабления, и во лбу у него блестело «око», в знак питаемого к нему доверия. Тем не менее он начал, как и все прочие:

– Что за причина такая?

У поповского сына даже в глазах позеленело при этом вопросе; однако он сдержался и с твердостью произнес:

– Имею желание молотить!

Статский советник, по-видимому, никак не ожидал, что дело примет такой оборот. Однако око во лбу его все-таки не замутилось гневом, но пристально взглянуло в глаза собеседнику и, к счастью для последнего, обнаружило недоумение, близкое к пониманию.

– Только и всего?

– Только и всего-с.

Дело было округлено; оставалось только выполнить некоторые формальности. Призвали понятых и осмотрели скарб поповского сына – оказалось, что он укрывает три чистых рубахи, новые пестрядинные портки, две пары онуч и зеркальце, перед которым, "по его показанию", он расчесывает по праздникам свои кудри. Распороли матушкины перины – нашли пух. Даже под косицей у батюшки посмотрели, но и там превратных толкований не нашли. Тогда батюшка осмелился и спросил:

– За что же, вашескородие, теперича на нас такое, примерно, поношение? А притом и расход?

Первую половину вопроса статский советник признал правильною и, дабы удовлетворить потерпевшую сторону, обратился к уряднику, сказав: это все ты, каналья, сплетни разводишь! Но относительно проторей и убытков вымолвил кратко: будьте и тем счастливы, чего бог простил! Затем, запечатлев урядника, проследовал в ближайшее село, для исследования по доносу тамошнего батюшки, будто местный сельский учитель превратно толкует события, говоря: сейте горохи, сажайте капусту, а о прочем не думайте!

А через год по делу поповского сына вышла резолюция: поповскому сыну такому-то занятие молотьбой и ссыпанием зерна в житницы в преступление не вменять, имея лишь наблюдение, дабы молотил чисто.

Но поповский сын не дождался объявления этой резолюции: существование его было уже отравлено. Преемственное посещение блюдущих возымело влияние не столько на него, сколько на окружающую среду. Кабатчик первый произнес слово: сицилист, а за ним то же слово стали повторять и мужички. Сначала произносили его нерешительно, но потом, с каждым днем, всё ходчее и ходчее. А наконец, и девки перестали припускать поповского сына в хоровод. Не для кого стало и кудри по праздникам расчесывать.

С своей стороны и батюшка с матушкой не по разуму усердствовали. С утра до вечера поповский сын молотил, веял и собирал в житницы, а когда возвращался домой, ему долбили в уши: опомнись! восчувствуй! А под конец даже высватали ему невесту, у которой одна ноздря залегла от природы и один глаз вытек от болезни.

Тогда поповский сын сказал себе: довольно! – и в одно прекрасное утро исчез.

Таков факт. Замечательно, что лицо, передававшее его (и прибавлю: хорошо знакомое с моею литературною деятельностью), обратилось ко мне с словами:

– Вот бы вам поделиться этим фактом с читателями!

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

Признаюсь, я ждал совсем другого. Я думал, что мне скажут: вот факт, который вполне подтверждает написанное вами тогда-то и тогда-то!

Ничуть не бывало; написанное мною не запечатлелось в памяти самостоятельно, а пробудило лишь потребность всматриваться в проходящие явления и вдумываться в их смысл. Что ж! и за то спасибо!

Поэтому и я передаю вам рассказ о приключениях поповского сына в том самом виде, как его слышал, отнюдь не стесняясь тем, что, быть может, вы упрекнете меня в повторениях. Собственно говоря, не я повторяю, а все вообще повторяются. И ликующие и унывающие – все на один пункт устремили глаза, все одну мысль мыслят. Только одни говорят об искоренении, а другие о развитии. В этом последнем смысле, приведенный сейчас рассказ и в повторении, право, не бесполезен. По моему мнению, он пробуждает благородство чувств, а в этом-то именно и заключается живейшая потребность нашего времени.

ПИСЬМО ПЯТНАДЦАТОЕ

Милая тетенька.

Весь вчерашний вечер я провел с общим нашим другом Глумовым.

В последнее время мы виделись очень редко. С ним сделалось что-то странное: не сказывается дома и сам никуда не выходит, смотрит угрюмо, молчит, не то что боится, а словно места себе не находит. Нынче, впрочем, это явление довольно обыкновенное. На каждом шагу мы встречаем людей, которых всегда знали разговаривающими и которые вдруг получили "молчальный дар". Ходят вялые, унылые, словно необыкновенные сны наяву видят. И никому этих сновидений не поверяют, а молчат, молчат, молчат.

Признаться сказать, мне и самому улыбается молчание, и я давненько-таки не иначе представляю себе блаженство, как в этой форме. Но все как-то не соберусь вкусить. Сидеть в своем углу и молчать, то есть не только не разглагольствовать (этого-то я, пожалуй, уж давно достиг), а совсем всякие слова и письма позабыть – это такое тонкое наслаждение, которое доступно лишь тому, кого продолжительная молчальная практика исподволь сделала способным вместить его. Особенно хорошо молчать, когда и кругом всё молчит, а еще лучше, когда все попрятались по углам, так что даже испуганных лиц не видишь. Благочиние-то какое! благоустройство! Да пора, наконец, и честь знать! Поволновались в свое время, посуетились около «вопросов», подействовали – и будет. А впредь будем жить так, что хоть кол на голове теши. Пускай нарождаются вопросы еврейские, кабацкие, вопросы об оздоровлениях, искоренениях и средостениях – какое нам дело! Пусть люди стонут, мучатся, ропщут на судьбу, клянут законы божеские и человеческие – я забрался в угол и молчу. Не потому молчу, что умудрился, а потому, что не могу отличить, бодрствую ли я или сплю.

Глумов забрался ко мне спозаранку и прямо объявил, что «вопросов» тревожить не станет, обменом мыслей заниматься не намерен, а только хочет на несколько часов уйти от одиночества.

– Одичал, брат, я, – сказал он, – некоторое время думал, что лучше и не надо. Однако, должно быть, еще не созрел. Молчал-молчал, да вдруг сегодня испугался. Давеча начал афишку читать – не понимаю, да и конец! Ну, нет, думаю, пойду хоть на лицо человеческое погляжу. Ну, а тебе как живется?

– Что мне делается! По обыкновению, в надежде славы и добра...

– Вот и прекрасно. Так, значит, ты занимайся своим делом, а я буду смотреть на тебя и молчать.

Так мы и поступили. Он сел поодаль и замолчал, а я примостился к письменному столу и начал обдумывать предстоящее письмо к вам. Тема наворачивалась несомненно благодарная. Весна нынче раньше обыкновенного порадовала нас; так вот поздравить вас с дорогой гостьей, да кстати уж и воспеть животворное действие ее на обывательский дух. Хотел писать о том, как легко ходить по улицам в холодном пальто, и какая чувствуется отрада при виде распустившихся перед Мариинской больницей тополей; о том, что мы едим уже сморчки и щи из свежей крапивы, а недавно лакомились даже ботвиньей; о том, что думаем вскорости перебраться на

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru дачу, а там пойдут ягоды, ши из свежей капусты, свежепросольные огурцы... Словом сказать, обо всем, чего так страстно, в течение целой зимы, жаждало наболевшее сердце. Весна-волшебница! – восклицал я мысленно, – ты вливаешь жизнь в одряхлевшие сердца! ты подаешь старцам силу и бодрость молодости! ты расцветашь улыбкой лица человеконенавистников! ты пробуждаешь песню в соловье, поэте и кузнечике! Привет тебе, жизнодавица! привет, волшебница, бескорыстно сыплющая чары на пути своем! И да будет благословенно...

Но только что я обмакнул в чернила перо, чтоб изобразить на бумаге весенние волшебства, как Глумов словно отгадал мои намерения.

– Берегись! – сказал он угрюмо, – пиши правду, а «сочинителей» и без тебя довольно!

Последовало короткое объяснение, но Глумов не только не отказался от своего предостережения, а напротив, даже присовокупил:

– Вот сморчки, ши из крапивы, огурцы – об этом ты можешь писать, потому что это правда; что же касается до вливания жизни в сердца, то этого не существует в действительности, а стало быть, и «сочинять» незачем. Налжешь, введешь простодушных в заблуждение – что хорошего! А кроме того, и сам нечувствительно в распутство впадешь. Сегодня ты только для красного словца «сочинишь», а завтра, пожалуй, скажешь: а что в самом деле! – а послезавтра и впрямь в тебе сердце начнет играть!

Говоря по совести, Глумов был прав. Хотя «сочинительство» имеет свою привлекательность (и читательская масса к нему пристрастие выказывает), но, в сущности, это ремесло довольно бессовестное. Непременно требуется лгать и притом так лгать, чтобы другие приняли ложь за правду. Ежели это делается "за лакомство", то ясно, что в таком действии участвует прямая подлость; если же делается неведомо зачем, только по глупости, так и тут хорошего мало. В сущности, «сочинять» – все равно что обеденные спичи говорить. "Пью за процветание!" – предлагает один; "пью за преуспевание!" – вторит другой – а между тем все отлично знают, что никто и ничто не преуспеет и не процветет. Не дай бог к этому привыкнуть. Опасность тут очень серьезная, ибо «сочинитель» солжет раз, солжет другой, а потом и сам своему лганью поверит. И дойдет незаметным образом до "Помоев".

Ввиду этих соображений приходилось выбрать для письма тему хотя и не столь благодарную, но зато более обстоятельную.

Однако ж Глумов, очевидно, только похвастался, что намерен молчать, потому что не успел я передумать сейчас изложенное, как он уже продолжал: № 1 – А ты пиши так: никогда хуже не бывало! – вот это будет настоящая правда!

Меня даже передернуло при этих словах. Ах, тетенька! двадцать лет сряду только их и слышишь! Только что начнешь забываться под журчание мудрецов, только что скажешь себе: чем же не жизнь! – и вдруг опять эти слова. И добро бы серьезное содержание в них вкладывалось: вот, мол, потому-то и потому-то; с одной стороны, с точки зрения экономической, с другой – с точки зрения юридической; а вот, мол, и средства для исцеления от недуга... Так нет же! "не бывало хуже" – только и всего!

– А ты бы вспомнил, что с лишком двадцать лет ты эту фразу твердишь и все в одной и той же редакции! – возразил я не без горечи.

– Потому и твержу, что двадцать лет сряду все "хуже никогда не бывало". Не успеешь докончить восклицание – ан опять приходится сызнова начинать. И сравнивать даже незачем: не бывало хуже – вот и все. И прежде, и после, и теперь – всегда!

– Да ты хоть бы дал себе труд объяснить, почему тебе так сдается?

– И объяснять не нужно, потому что само по себе ясно. И не «сдается» мне совсем, а и кожей и внутренностями – всем чувствую... Понимаешь, всем естеством, всегда на всяком месте чувствую: хуже не бывало!

– И все-таки объясниться не лишнее, – упорствовал я. – Вот ты говоришь: хуже не

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) бывало! – а сам между тем живешь да поживаешь! Это тебе заметить могут. Недаром с Москвы благонамеренные голоса несутся: зачем, мол, цензура преграды «им» ставит! пускай на свободе объяснятся!

– А мы, дескать, послушаем, да и изловим.. Прекрасно. Так что ж, и за объяснением дело не станет. Крепостное право помнишь? – ну, так вот там и ищи объяснения. Вечная барщина, вечная крепость, вечное ожидание мучительных сюрпризов, от которых освобождала только "красная шапка" да Сибирь. А люди все-таки жили! В каждом губернском архиве ты найдешь бесконечный мартиролог, свидетельствующий о человеческой живучести, а сколько отдельных единиц этого мартиролога замучено домашним образом, сколько досталось в жертву заплочному мастеру под наименованием татей, душегубов, разбойников? Ужели эти люди не имели права говорить: хуже не бывало? Ужели они обязывались сравнивать, объяснять, почему они так говорят? Подумай, ведь новые-то раны наводились по незажившим еще недавним ранам – не естественно ли, при таком условии, что сегодняшние боли терзали сильнее вчерашних? Да, никогда не бывало хуже, никогда! только завтра, быть может, хуже будет!

Глумов волновался и клокотал. Но продолжительная отвычка от словесных упражнений уже сделала свое дело, так что, произнеся свою сравнительно короткую тираду, он изнемог и замолчал. Что касается до меня, то хотя и мелькнула в моей голове резонная мысль: а все-таки это только уподобление, а не объяснение, – тем не менее я почему-то застыдился и догадки своей не высказал.

Я унесся воображением в далекое прошлое и вспоминал. В самом деле, голубушка, чего мы с вами только не насмотрелись, чему не были свидетелями! Целое организованное неистовство прошло перед нами, целая туча мрака, без просвета, без надежд. А мы прогуливались под сенью тенистых деревьев, говорили о возвышающих душу обманах и внимали пению соловья! Как назвать нас за это? Были ли мы развращены до мозга костей или просто жили, как во сне, ничего не понимая и ни в чем не отдавая себе отчета? "Мы были молоды", скажете вы, но ведь это-то именно и страшно. В молодости человек более чуток к страданиям ближнего, молодое сердце легче раскрывается, молодая мысль быстрее усваивает внешние впечатления. А нас точно заколодило. Земля под нами разрывалась от стонов, а мы ходили, как по паркету; хлеб, который мы ели, вопиял, а мы ели да похваливали.. Право, что-то проклятое было в этой молодости: как будто она только затем и дана была, чтобы впоследствии, через десять лет, целым порядком фактов напомнить нам о том, что металось перед нашими глазами и чего мы не видели, что немолчно раздавалось у нас в ушах и чего мы не слышали. Напомнить: вот, мол, восчувствуйте! – и бросить нам в воздаяние мучительную, наполненную фантомами прошлого старость..

Самые лучшие из нас ограничивались тем, что умывали руки или роптали друг другу на ухо; средние – старались избегать «зрелищ», чтобы не свидетельствовать об них; заурядные – не только не роптали и не избегали, но прямо, с виртуозностью и злорадством, окунались в самый омут неистовств. И все эти категории, вместе взятые, представляли собой так называемое "молодое поколение". И Глумов был тут; и он, наравне с другими, роптал, судачил и рассказывал паскудные анекдоты. И вот теперь, на старости, мы вдруг стали припоминать, изумляться, страдать: как, дескать, нас не разорвало! Теперь, когда все для нас кончено, когда уж попы засматриваются на нас, а гробовщики надоедают прислуге вопросом: "скоро ли «барин» умрет? Теперь, ввиду готовой могилы, нам приходится, как каким-нибудь Прошкам и Аксюткам дореформенных времен, вопиять: хуже не бывало!

Было хуже, милая тетенька, но мы тогда пальцем не шевельнули, шага не сделали, чтобы выйти на борьбу с этим худом. Мы думали, что Прошки да Аксютки так ловко вынесут это худое на плечах своих, что нас и не заденет, а на поверку оказалось (на старости-то!), что и у нас спина иссечена! Повторяясь и не встречая отпора, худое на старые незажившие раны наводило новые и новые и, наконец, довело организм до того, что всякий новый – даже сравнительно слабый – укол чувствуется мучительнее, нежели целая свита жесточайших изъязвлений прошлого. Когда мы были сильны и молоды, мы горели возвышенными чувствами и упивались благородными идеями; но мы делали это исключительно для собственного употребления, забывая, что горение и упоение необходимо обеспечить, если хочешь, чтоб они не изгибли в будущем без следа. А теперь, когда они изгибли, мы кричим криком: нет возвышенных чувств! исчезла из обихода благородная мысль! никогда не бывало хуже, никогда!

Вас, быть может, возмутят эти вопли: вы скажете: да это же, наконец,

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru несправедливо! мы видели не только худшие, но и несомненно жестокие времена – каким же образом утверждать, что может существовать что-нибудь превосходящее жестокость виденного и испытанного нами? – Да, милая тетенька, эти вопли действительно несправедливы, но тут совершается одна из тех фатальных несправедливостей, от которых никуда не уйдешь. Это та самая несправедливость, которая не обращает внимания на смягчение и исчезновение отдельных подробностей, а имеет в виду основы. Под игом мысли о непреоборимости этих «основ», человек теряет способность сравнивать, взвешивать и оценивать и весь отдается охватившему его чувству несправедливости.

Возьмите для примера хоть следующее. Прежде говаривали: "человек смертен двояко: во-первых, по божескому произволению и, во-вторых, по усмотрению"; а ныне к последней части этого положения прибавляют: "по правилам о Макаре, телят не гонящем, установленном". Кажется, маленькая прибавка сделана (многие даже «упорядочением» ее называют, или "введением произвола в рамки законности"), а какая в ней чувствуется обида! Начать с того, что прежнее положение о порядке пристижения смертью принадлежало к области права обычного, а не писанного. Партикулярный человек следовал ему, как прирожденной идее. Нося эту идею в своем сердце вместе с прочими таковыми же и беспрекословно признавая ее авторитет, он, однако ж, понимал, что право быть смертным "по усмотрению" отнюдь не принадлежит к числу таких, которыми можно было бы кичиться. И вдруг ему не только во всеуслышание напоминают, что он двояко смертен, но еще прибавляют, что по сему предмету существуют какие-то правила! Ужели это не обида? Прежде хоть клейма-то на нем не было, а отныне стоит ему нос показать наружу, чтоб услышать: ах, да ведь это тот самый! А кроме того, и страх. Потому что, если раз на бумажке написано «смертен», так уж прямо, значит, и заруби у себя на носу: теперь, брат, не пронесет!

Вот что значит по изъязвленному месту новые язвы наводить. Даже «упорядочить» ничего нельзя, потому что намерения самые похвальные, словно волшебством, превращаются в благосклонное ковыряние незаживших ран.

– Самообольщение какое-то всех одолело, – продолжал между тем Глумов, – все думается, как бы концы в воду схоронить или дело кругом пальца обвести. А притом и распутство. Как змей, проникает оно в общество и поражает ядом неосторожных. Малодушие, предательство, хвастовство, всех сортов лганье... Может ли быть положение горше этого!

Он говорил с расстановкою и притом так решительно, как будто не только не ждал возражений, но и не предполагал их возможности. Эта уверенность была до того тяжела, что я позабыл мои недавние размышления и почти гневно крикнул:

– Да не раздражай! говори, куда же деваться! ведь надо же существовать!

Но он, вместо ответа, загадочно проворчал:

– Вот! оно самое и есть!

– Ну?

– Я, брат, всю зиму, с октября, вот как провел: в опере не был, Сару Бернар не видал, об Сальвини только из афишек знаю. Сверх того: в книжку не заглядывал, газет не читал... И, что всего важнее, ни разу не ощутил, что чего-нибудь недостает.

– Что же ты делал? лапу сосал?

– Жил. Вся зима, яко ночь едина, прошла. Только сегодня, уж и сам не знаю с чего, опомнился. Встал утром, думаю: никак уже ноябрь прикатил – глядь, ан на дворе май. Ну, испугался.

– Да, может быть, ты напитки во множестве принимал?

– Не особенно много. И пил и ел – обыкновенную препорцию. Кажется, даже размышлял. А ты... размышлял?

– Да тоже... какой, однако ж, у нас разговор нелепый! Представь себе, если все-то начнут так жить, как ты зиму прожил... хороша история будет?

– Нельзя всем так жить: загвоздка есть. Мужик, например. Он, поди, пашет теперь, потом начнет сеять, навоз возить, косить, опять пахать, снопы убирать, молотить, веять. А зима наступит, повезет навезанное в город продавать, станет подати платить, и, в воздаяние, будет набивать себе мамон толоком. Толокно – это наш главный государственный враг: он «баланец» портит! Подумай! сколько осталось бы к вывозу и как бы поднялся наш рубль, если б мужик мамона не набивал! Ну, да уж с этим надо примириться: ведь и мужичка надо пожалеть! Бдит, братец, он! а покуда он бдит, мы можем всяко жить: и так, как я зиму прожил, и в вечной мелькательной суете, как живет, например, наш общий друг, Грызунов.

– Только скажу тебе прямо: по-твоему жить – значит пропасть.

– То-то, что для меня не ясно, каким путем удобнее пропасть, или, лучше сказать, как это устроить приличнее. Это-то я понимаю, что пропасть, во всяком случае не минешь, да сдастся, что, по-моему-то живя, пропал человек – только и всего, а по-грызуновски мелькая, пропасть-то пропал, да сколько еще предварительно начадил!.. Вот этого-то мне и не хочется.

Глумов помолчал с минуту и продолжал:

– Вопрос о том, что лучше и целесообразнее, скромное ли оцепенение или блудливая повадливость...

– Повадливость... да еще блудливая! – не удержался я, – почему ж непременно блудливая?

– Дай срок, все в своем месте объясню. Так вот, говорю: вопрос, которая манера лучше, выдвинулся не со вчерашнего дня. Всегда были теоретики и практики, и всегда шел между ними спор, как пристойнее жизнь прожить: ничего не совершив, но в то же время удержав за собой право сказать: по крайней мере, я навозной жижи не хлебнул! или же, погрузившись по уши в золото, в виде награды сознавать, что вот, мол, и я свою капельку в сосуд преуспеянья пролил...

– Постой! ты сразу так уродливо ставишь вопрос, что даже представить себе нельзя, к каким выводам, кроме произвольных, можно прийти при подобной постановке. Ну, что же может быть общего между деятельным участием в разрешении вопросов преуспеяния и погружением в золото?

– Фатум такой – только и всего. Вот это-то я и называю блудливостью; человек говорит о преуспеянии, а сам лезет прямой дорогой в навоз: что, мол, делать! без компромиссов нельзя! Я уж не говорю о тех практиках, которые погружаются в навоз, находя, что там уютно и тепло, но есть практики честные, которые действительно приходят с намерением сделать нечто доброе... знаешь ли, как они о своей деятельности выражаются? Они говорят: дело в преуспеянии, а не в том, что к нам пристанет нечисть; мы иксы и игреки, которые обязываются внести свою лепту и исчезнуть, – кому же какая надобность справляться, замараны они или не замараны? Оттого, мол, и запустение у нас идет, что люди, которые что-нибудь могут, предпочитают в светозарных одеждах ходить.

– Что ж, мне кажется, это рассуждение вполне правильное и честное!

– Я и не отрицаю; я только констатирую, что честные практики сами признают, что на практической почве не обойдешься без общения с нечистью. Да и не обойдешься. Практика, любезный друг, – это неволя, и притом самая горькая. Это не открытая арена, на которой человеческая мысль чувствует себя свободною, а заглубевшее и поросшее волчцами пространство, над которым властно тяготееет насилие и невежественность. Не с тем туда приходят, чтоб подчинить темные силы заветной идее, а с тем, чтобы подчинить идею темным силам и потом исподволь вызвать у последних благосклонное согласие хоть на какую-нибудь крохотную сделку. Оказывается, значит, что идею-то принесли богатую и плодущую, а в жизнь ее провели сплюсненную, искаленную. Выторговали на грош, а поступились на миллион. И поступились не поверхностным только образом, а ценою утраты человеческого образа. Это до такой степени правда, что те, которые поумнее, сунут нос, да и драло. Да ты, братец, вспомни! небось и у тебя бывали в прошлом примеры... Припомни-ка да тогда и скажи, уродливо или неуродливо я поставил вопрос о слиянии практики с нечистью.

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Я начал припоминать – и припомнил. Действительно, что-то такое было. Помните, милая тетенька, мы, в конце пятидесятых годов, зазнали в Москве одного начинающего публициста ("другом Грановского" он себя называл) – какая это, казалось, милая, симпатичная личность! И мыслей благородных пропасть, и возвышенных чувств через край, и все это таким приятным слогом выражалось, что мы начитаться не могли. Вот он-то именно и говорил: что мы такое? Мы неизвестные величины, которые всего меньше должны думать о себе и всего более об общем благе. И всех призывал к служению. Да! хорошее, доброе было это время!

И что же! не успели мы оглянуться, как он уж окунулся или, виноват – пристроился. Сначала примостился бочком, а потом сел и поехал. А теперь и совсем в разврат впал, так что от прежней елейной симпатичности ничего, кроме греческих спряжений, не осталось. Благородные мысли потускнели, возвышенные чувства потухли, а об общем благе и речи нет. И мыслит, и чувствует, и пишет – точно весь свой век в Охотном ряду патокой с имбирем торговал!

– Ты это об ком вспомнил? – обеспокоился Глумов, проникая в мою мысль.

Я назвал. Разумеется, обиняком.

– Брось! – рассердился он, – ишь ведь... не может забыть!

– Охотно забуду, – возразил я, – но ведь если мы подобные личности в стороне оставим, то вопрос-то, пожалуй, совсем иначе поставить придется. Если речь идет только о практиках убежденных, то они не претендуют ни на подачки в настоящем, ни на чествования в будущем. Они заранее обрекают свои имена на забвение и, считая себя простыми иксами и игреками, освобождают себя от всяких забот относительно «замаранности» или «незамаранности». По-моему, это своего рода самоотвержение.

– А позволь узнать, какое такое общее благо эти иксы и игреки с помощью своего самоотвержения получили?

– Как какое? – вспыхнул я, – а упраздненное крепостное право? а гласный суд?

Глумов окончательно рассердился.

– Ну, давай говорить. Отвечай: был ты в числе сочувственников и распространителей идеи об упразднении крепостного права?

– Был.

– И тебя не травили за это?

– Травили.

– Сочувствовал ты идее гласного судопроизводства?

– Сочувствовал.

– Травили тебя за это?

– Травили.

– А вот князь Букиазба искони был заведомым крепостником, а его не только не травили, но преблагополучно пристроили к крестьянской реформе. Граф Твэрдоонто был явным ненавистником гласного суда и чуть было этот суд совсем не слопал.

– Что ж из этого! и крестьянская реформа, и гласный суд все-таки остались!

– Это, любезный друг, уж сама жизнь оставила, а практика-то только того добилась, что ненавистников пристроила, а сочувственников всех поголовно перетравила. Те практиканты, которые на своих плечах эти вопросы вынесли, разве они не разбежались все?

– И все-таки повторяю: не в том важность, кто остался и кто исчез, а в том, что самое дело осталось.



Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) – А ты думаешь, что оно так-таки в целости и осталось? В таком ли виде, например, ты его провидел и ожидал? не потщились ли Букиазба и Твэрдоонто вынуть из него сердцевину или, по крайней мере, настолько ее атрофировать, чтобы им можно было орудовать на всей своей воле? Нет, любезный друг, на практикантов надежда плоха. Родители-то наши полтора-два года сряду только и делали, что узелки на память завязывали. Завязали, ничем не обеспечили, да и бросили: пускай, мол, благодарные потомки как знают, так и развязывают. А мы эти узелки бережем, величие и основу в них видим. И никакие самые ловкие практики не заставят нас сказать им: развязывайте, господа! да поможет вам бог! Шутите, господа! пусть лучше совсем затянется узел, чем каких-то профанов к нему допустить! И если в этом случае ты надеешься на ловкость практиков, то, значит, ты очень наивен – и больше ничего.

– Ни на что я не надеюсь, а знаю только, что так жить, чтобы целая зима показалась яко ночь едина, совсем несвойственно.

– Это я и сам знаю, да как же быть? Вот мужик – тот всегда ровно живет, а мы...

Он не закончил и совершенно неожиданно обратился ко мне с вопросом:

– Ты с теткой-то продолжаешь переписываться?

– Продолжаю.

– А она отвечает тебе когда-нибудь?

– Редко и несложно. "Целую тебя несчетно" – только и всего.

– Ну, так вот что. Напиши ты ей, что очень уж она повадлива стала. Либеральничает, а между тем с Пафнутьевым шепчется. «Помои» почитывает. Может быть, благодаря этой повадливости и развелось у нас такое множество гаду, что шагу ступить нельзя, чтоб он не облепил тебя со всех сторон.

Сказал и ушел.

Замечание Глумова на ваш счет застало меня несколько врасплох.

Неужели, милая тетенька, вы и в самом деле повадливы? Право, до сих пор и в голову мне этот вопрос не приходил.

Повадливость бывает двоякого рода: преднамеренная и легкомысленная. В которой из двух вы оказываетесь повинною?

Преднамеренная повадливость свойственна тем практикантам, которые, как выразился об них Глумов, надеются пролить свою капельку в сосуд преуспеянья. По мнению Глумова, подобная повадливость нередко граничит с вероломством и предательством и почти всегда оканчивается урезками в первоначальных убеждениях и уступкой таких основных пунктов, отсутствие которых самую благонамеренную практику сводит к нулю. Или, говоря другими словами, полного вероломства нет, но полувероломство уж чувствуется.

В повадливости этой категории я, конечно, не решусь вас укорить. Вы – милая: это решено и подписано. Не только о вероломстве, но и о практике вы имеете лишь смутное понятие. Что такое "сосуд преуспеянья"? Зачем он и кому нужен? какие такие бывают вклады, лепты и проч.? Каким путем и что ими достигается? – все эти вопросы дошли до вас в виде отдаленного гула, из третьих-четвертых рук, и притом в самом недостоверном виде. Да и не нужно вам совсем об них знать, потому что вы призваны не для того, чтобы приводить в действие практику, а для того, чтобы служить для нее мишенью. Ради вас поступают люди убеждениями, ради вас вероломствуют. А вы, голубушка, только вздрагиваете и спрашиваете себя: на чем же, однако, они покончат? К какому придут относительно меня соглашению?

Если б вы даже хотели быть вероломною, то вас не допустят до этого. Право на практику и соединенное с нею вероломство (полное и неполное) есть своего рода привилегия, к обладанию которой допускаются лишь избранники. Ваша же привилегия "совсем другого сорта" и заключается в претерпении. Избранники выполняют свое назначение: устраивают компромиссы, входят в соглашения, заключают союзы, а вы несете на себе последствия этой деятельности и не возражаете. Что подобное

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) положение не может быть названо лестным – с этим я готов согласиться, но чтобы следовало сокрушаться по этому поводу – этого не скажу. Думаю даже, что подвергаться практике все-таки пристойнее, нежели практиковать самому.

Тем не менее подобные сокрушения слышатся нынче довольно часто. Надоело сознавать себя пятым колесом в колеснице. Да, пожалуй, даже не колесом, а вольным шляхом, по которому колесница катается себе да катается взад и вперед. Мало привлекательного в этом сознании! – это так; но все-таки, на случай, если вас чересчур пристигнет чувство обиды, советую вам спросить себя: хотели ли бы вы быть одним из четырех колес этой катающейся колесницы? Уверю вас, что не успеете вы формулировать ваш вопрос, как всю вашу обиду как рукой снимет.

Роль, на которую мы с вами осуждены, совсем простая. Нам предоставлено жить без забот о себе. Истуканы так живут. Их украшают сусальным золотом, их размалевывают и даже проводят по ним резцом штрихи, с целью сообщить чертам согласное с обстоятельствами выражение, а они молчат да молчат. Бывают между ними такие, которые находят, что все-таки лучше быть истуканом, нежели резцом, но бывают и такие, которые думают: вот когда меня окончательно размалют – то-то заглядываться на меня станут! Но, по моему мнению, это уж гордость.

Итак, в преднамеренной повадливости я обвинять вас не имею основания. Но существует повадливость легкомысленная, сущность которой заключается не столько в деятельном распутстве, сколько в его укрывательстве и попустительстве. Нет явного сочувствия – скорее я допущу даже стыдливость, – но есть нравственная неустойчивость, которая вносит в отношения к жизненным явлениям элемент дряблости и недомыслия. Вот в этой-то повадливости не повинны ли вы, милая тетенька? Сдается мне, как будто нечто в этом роде сквозит...

Условий, которые благоприятствовали и благоприятствуют развитию в нас легкомысленной повадливости, существует кругом очень достаточно.

Припомню в нескольких чертах наше воспитание. Хотя в смысле буквальной правды и нельзя сказать, что мы с вами получили образование на медные деньги, однако в смысле правды внутренней именно только такое определение и можно назвать выражающим действительную суть дела. Денег на наше образование швырялось с три пропаста, но знаний на эти деньги приобреталось на грош. Люди, которые занимались швырянием денег, не имели понятия ни о том, что такое знание, ни о том, для чего оно нужно. Вся человеческая жизнь приурочивалась к целям, совершенно посторонним знанию, последнее же пристегивалось к ним, как составная часть обязательной привилегии. Конечно, мы уже не застали образовательной обстановки простаковских времен и только по устным рассказам (впрочем, от очевидцев) нам сделались известны такие личности, как г-жа Простакова, Тарас Скотинин и проч., однако ж Митрофанушку и теперь нельзя назвать анахронизмом. Ведь и на него не жалели денег, и у него целых три наставника было, а сверх того, была Еремеевна, на которой лежало общее руководство. Точно то же повторилось и с нами. Для нас нанимали целую уйму Вральманов, Цыфиркиных, Кутейкиных (конечно, несколько усовершенствованных), а общее руководство, вместо Еремеевны, возлагали на холопа высшей школы. Вральманы пичкали нас коротенькими знаниями (был один год, например, когда я одновременно обучался одиннадцати «наукам» и в том числе "Пепину свинству", о котором недавно вам писал), а холоп высшей школы внушал, что цель знания есть исполнение начальственных предначертаний.

Сведения доходили до нас коротенькие, бессвязные, почти бессмысленные. Они не анализировались, а механически зазубривались, так что будущая их судьба вполне зависела от богатства или бедности памяти учащегося. Ни о каком фонде, могущем послужить отправным пунктом для будущего, и речи быть не могло. Повторяю: это было не знание, а составная часть привилегии, которая проводила в жизни резкую черту; над чертою значились мы с вами, люди досужие, правящие; под чертою стояло одно только слово: мужик. Вот, чтоб не очутиться на одном уровне с мужиком, и нужно было знать, что Париж стоит на реке Сене и что Калигула однажды велел привести в сенат своего коня.

Мужик! ведь это что-то до того позорное, что достаточно одного сравнения с ним, чтобы заставить правящего младенца сгореть со стыда. Что локти на стол положил – точно мужик! что в носу ковыряешь – точно мужик! смотри, какой кусок в рот запихал – точно мужик! Так и гвоздили со всех сторон. И что всего замечательнее: усерднее всех в этом смысле гвоздила Еремеевна. Ах, эти холопы! на какой бы

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) служебной ступени они ни были поставлены, есть что-то горькое и слепое в их судьбе! Вечно пресмыкаться и вечно же видеть в этом пресмыкании нечто неизбежное, почти заслуженное!

С таким запасом знания школа ежегодно выбрасывала из своих недр тысячи юношей. Снабженные патентами, эти правящие юнцы переходили из малой казны в большую казну. Полученное скудное знание только в редких случаях давало позыв к дальнейшему самообразованию, в громадном же большинстве пробуждало лишь стремление как можно скорее и полнее воспользоваться добытой привилегией. Слава богу, "не мужик" – и будет с нас. Одной этой заслуги было вполне достаточно, чтобы признать человека способным и достойным. Все дороги открывались перед ним, дороги, уснащенные разнообразнейшими видами прав, привилегий, лакомств и наград. Понятно, какое несметное воинство шалопаев должно было оказаться в результате этой изумительной воспитательной муштровки, счастливо сочетавшей невежественность с системой поощрений и премий за оную.

Я не говорю, чтоб эти шалопаи были сплошь злые или порочные люди; я думаю даже, что, при легкомыслии тогдашнего воспитания, самое шалопайство не могло получить вполне злостного характера. И знаю многих, которые, с течением времени, опомнились. Но когда опомнились? – тогда, милая тетенька, когда старые корабли уже были сожжены, когда уйти назад в прошлое было нельзя, а идти вперед значило погрузиться в тот омут, в котором кишат расхитители, клеветники, сыщики и те неслыханные «публицисты», чудовищная помесь Мессалины и Марата, сумевшие соединить в своем ремесле распутство первой и человеконенавистничество последнего. Картина этой бесовской вакханалии до такой степени испугала их, что они оказались более чистоплотными, нежели можно было ожидать.

Но могут ли эти опомнившиеся предпринять какую-нибудь борьбу? да и не только они, но даже и те «лучшие», которые, переступив через школьный порог, сразу признали шалопайство шалопайством? К сожалению, на эти вопросы приходится отвечать отрицательно. И у тех, и у других багаж до того легок, что невольно приходит на мысль, действительный ли это багаж или только примерный, принесенный с целью хоть что-нибудь держать в руках. Вместо знания – сетования на недостаточность их, вместо сил – жалобы на бессилие. Я согласен, что все это очень опрятно, трогательно и даже трагично, но с чем же тут орудовать?

Но этого мало. Я утверждаю, что только действительное знание, действительный труд могут вполне истребить ту вредную закваску легкомыслия, которую привела за собой безазбучно-взлелеянная молодость. Только они могут заставить забыть те омерзительные вкусы, те пошлые привычки, которые накоплены годами привилегированного досужества. При отсутствии труда и знания никакие благородства не устоят, никакие раскаяния не помогут. Чувство самое искреннее не помешает пробуждению повадливости, которая на все намерения и стремления набросит покров неспособности и бессилия.

Недостаток знания восполнялся в нашем воспитании эстетикой, но и эстетика эта была совершенно особенная. Бессодержательная, болтливая, с склонностью к округлению периодов и далеко не чуждая представления о безделице. В основе лежала ежели не прямо чувственность, то скоропреходящая, мало задерживающая, почти болезненная впечатлительность.

Эта впечатлительность наделала нам пропасть вреда; она бросала нас из стороны в сторону и, по временам, приводила туда, где нам совсем не следовало быть. Вспомните наши старые «связи» – какой разнообразнейший калейдоскоп они представляли! Это была какая-то неслыханная крошка, в которую входили обрывки и отброски всевозможных мирозерцаний. И мы не только не формализировались уродливостью сочетаний, но были совершенно серьезно убеждены, что иначе и прожить нельзя. Была целая самостоятельная наука "о поддержании связей", наука, прямо вытекавшая из общего поветрия повадливости, которое мешало нам обособиться и сосредоточиться в самих себе. Эта наука была в свое время настолько же обязательна, как и та, которая учила, что высший признак благовоспитанности заключается в устранении всякого повода для сравнения с "мужиком".

"Надо поддерживать связи!" – восклицали мы вместе с Грызуновым, а Грызунов и теперь – стоит только в окно посмотреть – мечется, как угорелый, из дома в дом и одну только мысль в голове держит: надо поддерживать связи! надо!

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) и когда рассудок вступил наконец в свои права, когда он, с помощью целого ряда горьких искусов, доказал, что дружить направо и налево нельзя, а в особенности, когда сделалось вполне ясным, что торжествующая действительность окончательно опаскудилась, – тогда мы застыдились и предпочли остаться в рядах действительности неторжествующей. Но много ли можно насчитать таких, которые при этом воистину свергли с себя ветхого человека? много ли таких, в которых воспоминания о «связях» прошлого не пробуждают подавленного вздоха? Говоря по совести, подобные субъекты составляют редкое, почти незаметное исключение, и я боюсь, милая тетенька, что и ваша жизнь, наравне с жизнью опомнившегося большинства, распалась на две половины, из которых в одной предъявляют свои права справедливость и стыд, а в другой все еще чувствуется позыв к шалостям (не решаюсь употребить более резкое выражение) прошлого.

Да, этот внутренний разлад несомненно существует. Шалости прошлого вьедчивы; однажды войдя в плоть и кровь человека, они извлекаются оттуда тем с большим трудом, что в общепринятой номенклатуре носят наименование шалостей, а не преступлений. Когда перед глазами совершается грандиозное хищничество, предательство или вероломство, то весьма естественно, что такого рода картина возбуждает в нас негодование; но когда перед нами происходит простая «шалость» – помилуйте, стоит ли из-за пустяков бурю в стакане воды поднимать! Шалость, в понятиях большинства, есть нечто грациозное, симпатичное; шалость! – да ведь это почти терпимость! Вот угрюмость, несообщительность, изолированность – это другое дело. Это качества, которые, по общепризнанному шаблону, предполагают беспощадный фанатизм, говорят воображению о гонениях, пытках, кострах. Угрюмый человек – это бич, от которого нечего ждать, кроме ран и скорпионов, это язва, от которой следует бежать. Не нужно поедательства, но не нужно и угрюмости. Шаловливый человек – вот истинный "средний человек", с которым в одну минуту насчет чего угодно сговориться можно!

Все истинно-государственные люди были слегка шалунами. Гамбетта – шалун, Бисмарк – шалун. Все рейхс и ландстаги, все парламенты наполнены людьми, которые спят и видят, как бы пошалить. Отчего же не пошалить и нам с вами?

Что вы охотно шалите, голубушка, – это ни для кого не тайна, хотя вы скрываете ваши шалости и упорно не сознаетесь в них. Однако ж обличить вас положительно не трудно.

Пишете вы, например, мне, что совсем порвали связь с Пафнутьевым, а об Мартыне Задеке будто бы и не слыхивали, а между тем мне достоверно известно, что потихоньку вы им обоим назначаете тайные свидания в рощице и что при этом нередко присутствует и Иван Непомнящий. С вашей стороны это, конечно, только шалость, а Пафнутьев пользуется этим и распускает слухи, что, в сущности, тетенька симпатизирует ему и только потому облекает свои симпатии тайною, что боится, чтоб не пронохали о ваших свиданиях потрясатели основ и подрыватели авторитетов.

Или еще. Вы пишете: за кого ты меня принимаешь, чтоб я стала «Помои» читать! – а между тем мне достоверно известно, что хоть одним глазком, а все-таки вы посматриваете в них. Ах, милая! видно, паскудство еще долго не перестанет быть соблазнительным! Все думается: вот сейчас съедет Ноздрев на пол и начнет проходящих женщин за подолы ловить! или: выйдет вперед Расплюев, с распухлой и распутной физиономией, и начнет рассказывать, какая вчера "игра была". Ну, не умора ли! и как хоть глазком на эту умору не посмотреть? А Ноздрев с Расплюевым пользуются этим и говорят: тетенька-то хоть и отрекается от нас, а все-таки свои пятаки нам отдает!

Вот, милая, какие последствия имеет шаловливость. Я только два примера привел, а если захотеть, какое множество других, еще более ярких, можно подыскать!

Хвалить вас за эту повадливость, конечно, нельзя, но следует ли считать уменьшающим вину обстоятельством ту тайну, в которую вы облекаете ваши шалости?

Я полагаю, что следует. Стыдливость, хоть и колеблющаяся, все-таки представляет услугу, которую, по всей справедливости, необходимо зачесть. Она подает надежду, что еще один шаг в этом направлении, еще одно усилие и...

Сделайте, милая тетенька, это усилие! Не ходите в рошу на свидание с Пафнутьевым, не перешептывайтесь с Мартыном Задекою и не заглядывайтесь на

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)  
публицистов, которые, только по упущению, отвлеклись от прямого своего назначения: выкрикивать в Охотном ряду патоку с имбирем!

\* \* \*

Это мой последний совет вам.

И сам я до смерти устал, да и вам бесконечно надоел. И «повторениями», и "блудливым заигрыванием", и "отрицанием принципа нравственности".

Всеми этими замечаниями почтила меня "критика".

А мы-то думали, что «критика» у нас пропала, а осталось только шалопайское подлавливание словечек и фраз, с уснащением восклицательными и вопросительными знаками.

Что ж! эти приговоры нимало не удивляют меня. Тем, которые позабыли о существовании благородных мыслей, кажется диковинным и дерзким напоминанием об них. Слышите! о благородных мыслях печалиться! Слышите! говорят, что жизнь тяжела! восклицают певцы патоки с имбирем, и так как у них нет в запасе ни доказательств, ни опровержений, то естественно, что критика их завершается восклицанием: можно ли идти дальше этих геркулесовых столпов кощунства и дерзости!

Само собой разумеется, что это совсем особого рода «критики», которые не могут заставить ни остановиться, ни отступить. По-прежнему, покуда хватит сил, я буду повторять и напоминать; по-прежнему буду считать это делом совести и нравственным обязательством. Но не могу скрыть от вас, что служба эта очень тяжелая.

Всего тяжелее действует в этом случае ваша повадливость. Тянет вас, голубушка, и к клевете, и к скандалу, и к этим пахучим издевкам, которые у нас носят название «критики» и «полемики». И хоть я убежден вполне, что вы отлично сознаете, что тут, кроме гноя, ничего нет, но, к сожалению, существует какой-то гвоздь, который мешает вам преодолеть вашу исконную шаловливость. А апологисты охотнорядских Маратов, благодаря вашей неосмотрительности, процветают себе да процветают под флагом благонамеренности.

Подумайте об этом, благо на дворе лето, а вместе с тем наступает и пора отдохновения (для других лето – синоним страды, а для нас с вами – отдыха). Углубитесь в себя, сверьтесь с мыслями, да и порешите раз навсегда с вопросом о шалостях.

Скажите себе: попробую-ка я хоть на время позабыть о пропаганде сыска, клеветы и человеконенавистничества... Да, не откладывая дела в долгий ящик, и позабудьте. Увидите, что польза будет несомненная, да и сами вы почувствуете себя лучше, спокойнее духом, здоровее.

Сперва вы забудете на время, а потом, помаленьку да полегоньку, и совсем потеряете вкус к паскудству.

Я твердо убежден, что в делах современности от вас зависит многое, почти все. И даже не от деятельного участия вашего в жизненном круговороте, а просто от характера ваших отношений к жизненным явлениям. По-видимому, вы даже не подозреваете, что вы – сила, а между тем нет истины бесспорнее этой. Сознайте же свою силу, но не для того, чтоб безразлично посылать поцелуи правде и неправде, а для того, чтоб дать нравственную поддержку добросовестному и честному убеждению. Право, без этой поддержки невозможно сделать что-нибудь прочное.

Быть может, тон настоящего, последнего моего к вам письма, до известной степени, изумит вас. Сравнивая его с первым, написанным почти год тому назад, вы не без основания найдете, что тетенькино обличье, с течением времени, несколько видоизменилось. Начал я с безусловных любезностей, а кончил чуть не нравоучением...

Да, это так: не могу я похвалиться выдержкою. По мере того, как намеченная задача развивается передо мной, она настолько проникает меня, что требования мои к ней постепенно растут и растут. Но так как одновременно с этим растет и самая задача, то я полагаю, что худого в этом нет. Именно это самое случилось и по

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru вашему поводу. В течение года, в моем мнении вы настолько выросли, что первоначальные приемы родственной любезности представляются мне уже недостаточными. Нужно ли прибавлять, что от этого вы не только не подурнели на мой взгляд, но даже похорошели.

Затем передайте мой сердечный привет вашим домочадцам и прощайте. Sapienti sat.[58]

Но знаете ли вы, милая тетенька, что означает "sapienti sat"?

Май 1882 г.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

##### ПИСЬМА К ТЕТЕНЬКЕ

Замысел "ряда писем, касающихся исключительно современности", возник у Салтыкова сразу же после того, как он окончил, во второй половине июня 1881 г., печатание в "Отечественных записках" "За рубежом". В двух последних главах этого произведения он уже начал разрабатывать те вопросы, которые ставила перед русским обществом политическая действительность периода начавшегося вхождения страны в новую полосу реакции.

1 марта 1881 года героическая "Народная воля" достигла, наконец, той ближайшей цели, к которой так настойчиво стремилась. Брошенной И. И. Гриневицким бомбой был смертельно ранен Александр II. Террористический удар, нанесенный революционерами, вызвал величайшую панику и растерянность в правящих кругах. Но «основ» самодержавия он не только не сокрушил, но и не поколебал и скорее оказался вредным для дела революции, для общественной жизни страны в целом. Как и предсказывал Г. В. Плеханов, на воронежском съезде "Земли и воли", вместо конституции и народовластия, о чем мечтали народолюбцы, к императорскому инициалу «А» прибавилась еще одна «палочка». На престол вззошел сын убитого царя, ставший Александром III. Чувства смятения, страха, неуверенности в царской семье и в правительственных сферах прошли не сразу. Колебания в выборе политики продолжались и после того, как новый император решился казнить первоапрельцев и выступил с манифестом о незыблемости самодержавия (29 апреля). Провозглашенный манифестом (инициатором его и автором текста был К. П. Победоносцев) реакционный курс, отказ царизма от каких-либо уступок конституционного характера, не был реализован сразу и сочетался в первое время с тактикой выжидания и «либеральных» заигрываний с «обществом». Лишь убедившись в том, что убийство Александра II не вызвало ни последующих террористических актов, ни массовых выступлений крестьянства (несмотря на экономические трудности и социально-напряженное положение в деревне), ни подъема оппозиционной активности в среде либеральной интеллигенции, правительство приступило к последовательному осуществлению объявленной политики.

Определяя обстановку, сложившуюся в стране к исходу революционной ситуации 1879 – 1881 гг., В.И. Ленин писал: "...только сила, способная на серьезную борьбу, могла бы добиться конституции, а этой силы не было: революционеры исчерпали себя 1-ым марта, в рабочем классе не было ни широкого движения, ни твердой организации, либеральное общество оказалось и на этот раз настолько еще политически неразвитым, что оно ограничилось и после убийства Александра II одними ходатайствами <...> Второй раз, после освобождения крестьян, волна революционного приюта была отбита, и либеральное движение вслед за этим и вследствие этого второй раз сменилось реакцией...".[59]

Ленинская характеристика относится как раз к тому историческому моменту, который ближайшим образом воссоздан в "Письмах к тетеньке". Для проникновения в социальную психологию, в духовный быт и настроение русского общества этого периода первая восьмидесятническая книга Салтыкова имеет значение важного первоисточника. В таком качестве она неоднократно и использовалась в литературе, в частности Александром Блоком в поэме «Возмездие» и Максимом Горьким в романе "Жизнь Клима Самгина.

Салтыков начал свою «переписку» с тетенькой, то есть с русским «обществом», или, точнее говоря, с русской либеральной интеллигенцией, летом 1881 г., в самый разгар так называемой "эры народной политики". Проводником ее был избран гр. Н. П. Игнатьев, сменивший в начале мая на посту министра внутренних дел лидера либеральной бюрократии гр. М. Т. Лорис-Меликова. Лозунги «народности»,

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) провозглашавшиеся Игнатьевым, имели своим назначением прикрыть реакционную суть проводимой им тактики привлечения народа и общества на сторону правительств в его борьбе с «крамолой». Тактика эта, прозванная современниками "диктатурой улыбок и приглашений", исходила, как и тактика "диктатуры сердца" Лорис-Меликова, из признания несостоятельности одних только полицейских методов борьбы с революционным движением и, вместе с тем, подсказывалась правящим кругам теми сдвигами вправо, которые происходили в это время в русском обществе.

В "Письмах к тетеньке" нет недостатка в ударах салтыковской сатиры и публицистики по самодержавию и всем его идеологическим и государственно-административным силам периода их нового движения к реакции. Но писатель-социолог Салтыков понимал, что путь к политической реакции мог быть успешным лишь в условиях соответствующей общественной обстановки. «Исследование» этой обстановки с расчетом содействовать ее изменению в направлении противоборства реакции составляет главное в замысле предпринятой Салтыковым «переписки» с «тетенькой». Реакция была своего рода катализатором его обличительного искусства. А. Н. Пыпин писал в 1881 г. находившемуся в ссылке Г. А. Лопатину, имея в виду как раз "Письма к тетеньке": "до чего дошла мерзость, вы тоже, вероятно, можете судить из прекрасного далека. В настоящую меру изобразить ее может только Салтыков..."

Адресат салтыковских «писем» – либеральная и полулиберальная интеллигенция занимала к моменту кризиса самодержавия на рубеже 70 – 80-х годов видное место в общественной жизни страны. В ее руках находилась, в частности, большая часть газетно-журнальной печати в Петербурге и в провинции. В ее среде были сильны конституционные настроения. При определенных условиях она могла бы быть серьезным фактором в борьбе с самодержавием.

Салтыков высоко ценил принципиальное значение интеллигенции, как образованной прослойки общества, и писал о ней: "не будь интеллигенции, мы не имели бы ни понятия о чести, ни веры в убеждения, ни даже представления о человеческом образе". [60] Но просветительский пафос в общей оценке интеллигенции сочетался у Салтыкова с сурово реалистическим пониманием ее практического бессилия противостоять, на данном этапе, в данной конкретной ситуации, как политической реакции, так и отрицательным явлениям в общественной жизни, болезненным процессам в собственном организме. Убийство Александра II вызвало в образованных кругах и в массах совсем не ту реакцию, на которую рассчитывали народовольцы. Последствие этого события, явившегося кульминацией в политической борьбе с самодержавием на том этапе, трагически обострило сознание неудачи всего революционного подъема, длившегося с середины 70-х годов. Неудача воспринималась как новый (после срыва шестидесятничества) акт в духовной драме русской революционной демократии. Настроения разочарования, скептицизма захватывали широкие круги интеллигенции, в первую очередь молодежь. Революционное народничество уже вступило в период глубокого кризиса, предвещавшего скорую гибель этого направления как активно борющейся политической силы.

Наряду с означенными процессами шли и другие, сливаясь и взаимодействуя с первыми. Восемидесятые годы, годы наступления реакции, годы идейного и организационного распада движения народнической революции были вместе с тем годами усиления буржуазных элементов в русской культуре. Внешне это сказывалось прежде всего в быстром росте и укреплении кадров новой интеллигенции, стремившейся к «европеизации», к эмансипации от оппозиционно-демократических традиций прошлого. В течение последней трети XIX в. дворянско-помещичья, равно как и разночинно-демократическая интеллигенция шестидесятничества, в значительной мере заменяется бессословной буржуазной интеллигенцией. Часть этой новой интеллигенции еще признает примат общественных интересов (национальная революция по-прежнему не совершилась, она все еще впереди!), но уже чужда идейной «одержимости» людей 40-х годов, радикализма и страсти к «делу» (революционному делу) шестидесятников – качеств, дорогих для Салтыкова.

Все эти и многие другие факты и обстоятельства, относящиеся к социально-политической «биографии» русской интеллигенции и к ее роли в жизни страны конца 70-х – начала 80-х годов, нашли свое отражение в образе «тетеньки» – одном из самых сложных у Салтыкова. Сложность образа – в его многозначности и в частой смене элементов и «знаков» этой многозначности. В «тетеньке» нельзя видеть олицетворения какой-либо одной группы интеллигенции, одного определенного направления в ней или одной характеристической особенности этой прослойки. образу «тетеньки» нельзя отказать в цельности. Но цельность эта не монолитна.

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) Она достигнута, помимо мастерства в зарисовке «личных» черт, воссоздающих внешний облик и индивидуальный характер «тетеньки», искусством широкой типизации материала, весьма различного исторически, социально и идеологически. Из образа «тетеньки» безусловно исключен лишь материал, относящийся к интеллигенции крайних флангов двух противостоящих лагерей – с одной стороны, революционного, с другой – реакционного и официально-правительственного. Воздействовать на эти группы, находящиеся в состоянии активной идеологической и политической борьбы, разумеется, не входило в задачу писателя. Все же остальные слои и прослойки образованных слоев русского общества так или иначе представлены в главном образе произведения. Сигналами для узнавания «представительства» разных групп либеральной и полулиберальной интеллигенции в образе «тетеньки» служат разбросанные там и тут характеристические черты и признаки этих групп, относящихся к их социально-политической «биографии» и «поведению». Несколько примеров пояснят сказанное.

С одной стороны, «тетенькины» воспоминания о "родной Заманиловке", о "бывшем дворецом человеке финагеиче", "дворецком Лукьяныче", ее наивные реплики на французско-институтском жаргоне, вынесенном "из Смольного", рисуют ее «особой», принадлежащей к дворянско-помещичьему обществу, выросшей еще на "лоне крепостного права". Но в формировании духовного облика «тетеньки» участвовала не только "нянюшка Архиповна", а потом Смольный институт. Среди друзей ее молодости названы люди, прошедшие школу идей передовых столичных кружков 30-х и 40-х годов – идей Белинского, Грановского, Герцена. Дата «рождения» "тетеньки" обозначена концом 30-х годов. Это время действия кружка Станкевича.

С другой стороны, «тетенька» – активная участница разночинно-интеллигентского, демократически-народнического и либерально-оппозиционного Sturm und Drang'a середины – второй половины 70-х годов. Она участвует в "хождении в народ", сочувствует вере Засулич, стрелявшей в петербургского градоначальника Трепова, устраивает благотворительные концерты в пользу курсисток, горячо поддерживает освободительные тенденции в движении зарубежных славян. В одном из писем к Н. А. Белоголовому Салтыков конкретизирует эту последнюю ипостась «тетеньки», сближая ее с подписчиками "Отечественных записок", то есть с народнической, радикально-демократической и либерально-оппозиционной интеллигенцией 70-х – начала 80-х годов. Вместе с тем Салтыков не скрывает, что либеральные симпатии и манифестации не мешают «тетеньке» по временам «перешептываться» с реакционным земцем Пафнутьевым и «почитывать» беспринципно-буржуазную печать вроде поздравской газеты "Помои".

Образ «тетеньки» почти всюду «звучит» в ключе иронии (но не сарказма). Очевидны как идеологические отталкивания писателя от образа, так и сатирическая критика его. Главнейшим предметом обсуждения является "нравственная нестойкость", «дряблость», "шатание" «тетеньки», ее «повадливость». Однако «повадливость» "тетеньки", хотя иногда и с эпитетом «блудливая», признается не «преднамеренной». Вследствие этого образ «тетеньки» не является всецело отрицательным, хотя Салтыков и судит «тетеньку» судом своей сатиры, но он не выносит ей окончательного и беспощадного приговора, какой, например, он вынес в "За рубежом" французской реакционной буржуазии. «Тетенька», в глазах ведущего с нею переписку «племянника», остается "в рядах действительности не торжествующей". С точки зрения "борьбы за идеал", она не безнадежна, и в ее недостатках писатель склонен винить прежде всего ее «воспитание» и те объективные условия русской жизни, "которые благоприятствовали и благоприятствуют развитию.. легкомысленной повадливости".

С образом «тетеньки» неразрывно связан образ эпистолярно беседующего с нею «племянника» – одна из многих разновидностей характерной для салтыковской поэтики фигуры "рассказчика".

При всех изменениях (модуляциях) в предмете, интонациях и идеологических акцентах бесед «племянника» с «тетенькой», читатель всегда явственно слышит голос самого Салтыкова. Образ «племянника» – объективная художественная реальность. Но Салтыков, верный своей поэтике, не отделяет его вполне от собственного «я». Это позволяет ему непрестанно и субъективно страстно утверждать свои взгляды на исследуемую действительность, освещать ее лучами света своей радикально-демократической идеологии, внушать читателю свои "исторические утешения", хотя оптимизм их никогда почти не свободен вполне от примесей горечи и сомнений.



Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) "Письма к тетеньке" находились среди тех произведений Салтыкова, которые идеологически подкрепляли в борьбе с самодержавием, реакцией и с теми либералами, которые пошли на сделку с этими силами – либералами "применительно к подлости", – выходявших на арену истории первых пролетарских революционеров в России. Вспоминая о своем участии в создании, вместе с Г. В. Плехановым, В. И. Засулич, П. Б. Аксельродом и др. первой русской марксистской группы "Освобождение труда", Л. Г. Дейч свидетельствует: "Как раз летом этого же 1883[61] года в "Отеч. записках" печатались замечательные "Письма к тетеньке" Щедрина, которые вызывали у Плеханова, да и у всех нас, остальных, большой восторг. Георгий Валентинович приводил из них на память большие выдержки <...> Щедрина он признавал одним из самых умных наблюдателей и наилучшим изобразителем разных сторон русской действительности, что ввиду занятой тогда Плехановым вместе с нами, его единомышленниками, марксистской позиции он считал исключительно важным". [62]

Бывший народоволец, а затем большевик, соратник В. И. Ленина, М. С. Ольминский, много и долго изучавший творчество великого сатирика, писал, что "очень часто обозревал Щедрин разные слои русского населения с <...> главной заботой – найти такой слой, достаточно широкий и сильный, который боролся бы за лучшее будущее, стремился бы к сознательности, к выработке крепких убеждений и к проведению их в жизнь". [63] Попытка "найти такой слой" в лице русской либеральной интеллигенции, персонифицированной в образе «тетеньки», не могла увенчаться успехом. И хотя Салтыков кончает последнее «письмо» уверениями по адресу «тетеньки», что она «сила», что "в делах современности" от нее "зависит многое, почти все", но утверждения эти следует рассматривать скорее как метод преувеличения убежденного агитатора-пропагандиста, просветителя, напряженно, всеми доступными ему средствами стремящегося внушить своей аудитории – российской прогрессивной интеллигенции уверенность в ее социально-политических возможностях, поддержать в ней веру в общественные идеалы и укрепить сознание необходимости борьбы за эти идеалы. Пропаганда «утопий», социальной бодрости, исторического оптимизма, шедшего от глубочайшей убежденности в правоте своего дела, в атмосфере реакции 80-х годов, была, разумеется, огромной морально-политической победой Салтыкова, говорившей о верности его заветам "наследства".

Но вместе с тем Салтыков отчетливо сознавал, что объективных признаков, свидетельствовавших об изменении «тетенькиного» обличья в направлении пропагандируемых им идеалов, наличная действительность не давала. [64] В 1882 г. писатель мог наблюдать в социальном характере «тетеньки» скорее лишь усиление настроений общественной пассивности ("кругом все молчит...", "...все живое попряталось по углам" и др.) и рост буржуазных элементов в ее идейном обиходе. Вот почему, заканчивая свою беседу с «тетенькой», Салтыков счел необходимым еще раз разъяснить ей основные причины этих явлений, указать на источники, которые их питают, и вновь призвать ее осознать свою пока еще скрытую силу. "Сознайте же свою силу, – призывает Салтыков русскую прогрессивную интеллигенцию, – но не для того, чтоб безразлично посылать поцелуи правде и неправде, а для того, чтоб дать нравственную поддержку добросовестному и честному убеждению. Право, без этой поддержки невозможно сделать что-нибудь прочное". Этот заключительный призыв резюмирует главное в эпистолярных беседах писателя-демократа с "русской публикой", предпринятых с прямым расчетом поддержать общественное мнение страны в его борьбе с наступающими силами "разнузданной, невероятно бессмысленной и зверской реакции" [65] 80-х годов.

#### ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Впервые, с нумерацией «I» [66] – журн. "Отечественные записки", 1881, № 7.

В первом «письме» дается общая характеристика состояния русского общества – «тетеньки» – в начале послепервомартовской эры. Состояние это Салтыков характеризует многозначительными для всего цикла словами «тишина» и «отрезвление», обозначая ими резкое понижение общественно-политической активности в оппозиционных и либеральных кругах, усиление в них настроений пассивности, индифферентизма, отказ от «бредней», то есть от мечтаний о высоких общественных идеалах и борьбы за них, что во многом облегчало правительству переход к политике реакции.

Стр. 273. Помните ли вы, как мы с вами волновались? Это было так недавно. – Имеется в виду период резкого обострения политической борьбы и общественного возбуждения середины – конца 70-х годов, период кризиса самодержавия и возникновения в стране революционной ситуации.

...зачем вы, тетенька, к болгарам едете? зачем вы хотите присутствовать на процессе Засулич? зачем вы концерты в пользу курсисток устраиваете? – Перечисляются некоторые из характерных форм общественной активности периода "второго демократического подъема" в России (Ленин). Восстание 1876 г. против турецкого ига в Болгарии, жестоко подавленное, вызвало горячий отклик в русском обществе. Салтыков глубоко сочувствовал освободительной борьбе болгар и других балканских народов. Но он скептически относился к славянскому движению в России, возглавлявшемуся националистическими силами. Кроме того, он отчетливо видел захватнические цели, которые преследовало царское правительство, выступая под лозунгом "защиты братьев славян". Весьма показательным для обостренной общественной обстановки того времени оказался судебный процесс Веры Засулич. Ее судили в 1878 г. за то, что она покушалась на жизнь петербургского градоначальника Трепова. Присланные вынесли подсудимой оправдательный приговор. Он был встречен громким одобрением присутствовавшей публики. Молодежь, собравшаяся у здания суда, ответила на приговор небывалой еще в России уличной демонстрацией.

Стр. 274. К болгарам в пользу Баттенбергского принца агитировать ездит! – Прусский офицер принц Александр Баттенберг, племянник русской императрицы Марии Александровны (жены Александра II), был выдвинут царским правительством на престол созданного после русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. Болгарского княжества. В 1879 г. к Баттенбергу ездили делегации петербургского и московского славянских комитетов.

Милану прямо в лицо говорит: дерзай, княже! – В 1876 г. сербский князь Милан IV, проводивший авантюристическую политику, объявил войну Турции, к которой страна не была подготовлена. Лишь вмешательство России спасло Сербию от поражения. В период "славянского движения" в 70-х годах пользовался в русских славянофильских и сочувствующих им кругах репутацией «героя» национального сербского освобождения.

"Иде домув муй?" – слова песни из пьесы чешского драматурга И. К. Тыла «Фидловачка». Текст песни стал затем национальным гимном.

...ничего нам не нужно, кроме утирающего слезы жандарма! – Сатирически используемый образ жандарма, утирающего слезы, восходит к исполненному сентиментального монархизма рассказу о назначении в 1826 г. гр. А. Х. Бенкендорфа шефом жандармов. В ответ на вопрос Бенкендорфа, в чем будут заключаться его обязанности, Николай I будто бы протянул ему платок и сказал: "Вот, отирай им слезы вдовых, сирых и всех несчастных!"

Стр. 277. ...как вам будет лестно, когда вас, "по правилу", начнут в три кнута жарить! – См. прим. к стр. 112.

Стр. 278. ...Если б мы не держали язык за зубами – никогда бы до ворот Мерва не дошли... – Обострившееся в связи с англо-афганской войной 1878 – 1880 гг. соперничество Англии и России в Средней Азии заставляло царское правительство проявлять заботу о возможной скрытности военных экспедиций, организуемых для подчинения еще не присоединенных к России частей среднеазиатских ханств, в частности Мерва в Туркмении. Попыткам замалчивания колониально-завоевательных целей военных экспедиций царской России в Среднюю Азию Салтыков иронически противопоставляет (по сути же, сближает) открытую колониальную политику буржуазно-республиканской Франции, захватившей весной 1881 г. Тунис. Эта акция вызвала большой шум внутри страны (запросы в Сенате, кризис министерства Ферри и др.) и вызвала ряд внешнеполитических осложнений.

...вот, мол, вам в день ангела... с нами бог! – Современникам было ясно, что слова эти метят в прославленного генерала Скобелева. Ему был присущ особый военно-верноподданнический шик, заключающийся в том, что он любил приурочивать свои военные победы к так называемым царским дням, «преподнося» их в качестве подарка в дни рождений и именин членов императорской фамилии. Со словами "С нами бог и государь!" ("государя", в отличие от «бога», Салтыков не мог воспроизвести по цензурным условиям) Скобелев ходил в свои знаменитые штурмы и атаки.

Стр. 282. Домашние – иносказание для обозначения обывателя, человека «толпы». "Домашние" ("домочадцы") противопоставлены «тетеньке» – интеллигенции, обществу; они никогда "не бредили".

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

...на первом плане стоит благополучие (с лебедой в резерве) и тишина (с урчанием в резерве). – Иносказания, заключенные в скобки, обозначают: первое – материальную обездоленность, нищету, голод; второе – полицейский произвол, административные репрессии. Весь период построен на иронической интонации, сигналами которой и являются ремарки в скобках.

Стр. 283. "Андроны едут" – поговорка, применяемая к тем, кто «несет» чепуху, вздор, говорит бессмыслицу.

Стр. 284. Pointe – здесь: так называемая «Стрелка» на островах в Петербурге; излюбленное место для прогулок, куда приезжали любоваться закатом солнца в Финском заливе.

стр. 286. ...кузька – вредитель хлебных злаков, хлебный жук.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Впервые, с нумерацией «II» – журн. "Отечественные записки", 1881, № 8.

Тема "Письма второго" – по определению Салтыкова – "о лгунах и лганье". [67] Отталкиваясь от наблюдения отдельных явлений во внутренней политике правительства первых месяцев царствования Александра III, Салтыков находит для обличения этой политики формулу, гласящую: "Ложь, утверждающая, что основы потрясены, есть та капитальная ложь, которая должна прикрыть собой все последующие лжи". – Формула раскрывала подлинный смысл так называемой "народной политики" нового министра внутренних дел гр. Н. П. Игнатьева (был назначен на этот пост в начале мая 1881 г.).

Эта демагогическая политика имела своим назначением, как говорил В. И. Ленин, некоторое время "подурачить «общество», [68] чтобы прикрыть отступление правительства к прямой реакции. Маня широкие слои населения радужными перспективами в сфере экономических и политических мероприятий, правительство ставило их осуществление в зависимость от участия "общественных сил" страны в "искоренении крамолы" [69] и в укреплении «основ» самодержавной власти, «потрясенных» развитием революционного движения. Игнатьев был наиболее подходящей фигурой для проведения этой политики демагогии и обмана.

Однако обличение лжи о «расшатанных» и «неогражденных» "основах" – лжи, предпринятой в целях создания «переполоха», развязывающего руки реакции, – направлено не только против непосредственных проводников такой политики. В не меньшей мере оно направлено и против ее идеологов – "каркающих мудрецов". Под этими «мудрецами», именуемыми также «проходимцами» (в рукописи – "негодьями"), ближайшим образом имелись в виду такие проповедники реакции, как Катков со своими "Московскими ведомостями" и И. Аксаков со своею «Русью». "А Катков с Аксаковым, – отзывался о них в те дни Салтыков, – орут пуще прежнего, и все кричат: мало! мало! Собственно говоря, они-то и наводят страх...". [70]

Стр. 287. ...судя по их antecedentам... – То есть судя по их прошлому, по их прежней деятельности (от франц. – antecedent).

Стр. 287 – 288. А ежели к этому, в виде обстановки, прибавить толпы скалящих зубы ретирадников, а вдали, "у воды", массы обезумевших от мякинного хлеба "компарсов"... – Иносказания, здесь употребленные, разъясняются следующим образом: "скалящие зубы ретирадники" – воинствующие деятели реакции; "обезумевшие от мякинного хлеба «компарсы» – бедствующее, голодающее русское крестьянство (франц. compare – обозначает на театральном языке статиста, а в переносном смысле – третьестепенное лицо); "у воды" – выражение, заимствованное из театрального жаргона: поставить что-либо на сцене или разместить на ней кого-либо "у воды" означало сделать это вдали, на заднем плане.

Стр. 288. "errare humanum est". – Изречение одного из античных мыслителей (чаще всего приписывается Сенеке Ритору), превратившееся в пословицу. Используется Салтыковым для обозначения свободного поступательного развития человека и общества, невозможного без отдельных ошибок и преходящих заблуждений. Аналогично используется в дальнейшем слово "errare".

Стр. 289. В сущности, и восточная римская империя не пропала... – В данном абзаце в ироническое развитие тезиса "errare humanum est" вплетены намеки, относящиеся

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) к злободневным в те годы «восточному» и «балканскому» вопросам. В целях широты обобщения политическая современность сочетается с фактами византийской истории. Иноказания, здесь употребленные, – прозрачны: «порфирородные» и «багрянородные» (титулы сыновей византийских императоров, дававшиеся в зависимости от факта рождения сыновей в период царствования их отцов или до и после него) – византийские императоры; "Мохамедовы сыны" – турецкие султаны; "восточные римляне" – те многоплеменные народы, которые находились с IV по XV в. под властью Византийской империи, а затем под властью Турецкой империи. Из-под владычества этой последней выделились в XIX в., при помощи главным образом России, в «самостоятельные» государства Греция, Румыния, Сербия и Болгария, чьи коронованные правители продолжали по отношению к своим «освобожденным» подданным ту же политику всесторонней эксплуатации трудящихся, как и византийские императоры, и турецкие султаны. На это и указывает сатирически Салтыков, перечисляя имена Георга греческого, Карла румынского, Милана сербского и Баттенбергского принца.

Стр. 292. ...смотрит на него Корела... – и вдруг мысль: ведь это значит, что недоимки простят. – Исключительная обременительность платежей (так называемых выкупных), наложенных реформой 19 февраля 1861 г. на крестьян (корела), привела уже к 70 – 80-м годам к колоссальному росту недоимочности, что вынудило правительство принять осенью 1881 г. закон о ежегодном понижении выкупных платежей и о «сложении» недоимки по этим платежам.

...полуимпериал – российская золотая монета с курсовой ценой в 80-х годах 7 руб. 50 коп.

"...не успеет курица яйцо снести, как эта самая пара рябчиков будет только сорок копеек стоить!" – Салтыков издевается над совершенно расстроенной, после русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг., денежной системой страны (курс кредитного рубля упал с 87 до 63 коп. зол.) и над неумелыми циркулярно-бюрократическими попытками правительства упорядочить эту систему. Одной из таких попыток явился, в частности (неосуществленный), проект ввести в крупнейших городах империи «таксу» на продукты питания, что вызвало неудовольствие и протесты со стороны заинтересованных торговых предпринимателей, а также насмешки в печати.

...о бывшем министре внутренних дел Перовском... – Один из самых последовательных крепостников и проводников полицейской системы Николая I, Л. А. Перовский, возглавлял Министерство внутренних дел в 1841 – 1852 гг. Введенная Перовским такса на мясо и другие продукты породила при полицейских методах ее контроля произвол и вызвала резко отрицательное к себе отношение со стороны населения.

Стр. 292 – 293. ...о водевиле Каратыгине, который в водевиле «Булочная» возвел учение о «таксе» в перл создания. – Впервые водевиль П. А. Каратыгина "Булочная, или Петербургский немец" был представлен в бенефис автора на сцене Александрийского театра 26 октября 1843 г. После этого представления с водевилем произошла «история», о которой П. А. Каратыгин рассказывает в своих «Записках» следующее: "...на другой день бенефиса, нежданно-негаданно, последовало запрещение повторить «Булочную»... Но так как главный интерес в ...спектакле заключался именно в этой пьесе, то дирекция поручила режиссеру справиться в цензуре о причине этого запрещения. Что же по справкам оказалось? В этом водевиле Клейстер <главное действующее лицо. – С. М.> поет куплет, в котором, между прочим, говорится: "Сам частный пристав забирает// Здесь булки, хлеб и сухари".

Частный пристав Васильевской части – где происходит место действия – вломился в амбицию, приняв слово: «забирать» в смысле берет даром, без денег, и обратился с жалобой к тогдашнему обер-полицмейстеру Кокошкину; тот доложил об этом министру внутренних дел Льву Алексеевичу Перовскому, и в конце концов последовало приказание остановить представление этого водевиля" (П. А. Каратыгин. Записки. – «Academia», л., 1930, т. II, стр. 54 – 55).

Стр. 293. "Tout se lie, tous'enchainés dans ce bas monde!" – как сказал некогда Ламартин. – В разных вариантах Салтыков не раз цитирует это изречение, неизменно приписывая его Ламартину, хотя, возможно, оно принадлежит швейцарскому философу Ш. Бонне, автору "La contemplation de la nature" (1764).

...перемещать центр «бредней» из одной среды (уже избредившейся) в другую (еще не искусленную бредом). – Речь идет о сравнительной характеристике двух направлений политики правительства в деле привлечения на свою сторону для борьбы с

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru революционным движением "общественных сил". Если в период "диктатуры сердца" Лорис-Меликова власти апеллировали главным образом к политическому правосознанию либеральных кругов, стремясь обеспечить их союзничество более или менее отдаленными перспективами "увенчания здания", то игнатьевская "народная политика" играла уже не столько на струнке политических реформ (после манифеста "о незыблемости самодержавия" это было и трудно), а на манящих главным образом широкие слои крестьянства экономических реформах.

Стр. 294. ...в роде старинных "явных прелюбодеев"... – Уголовные статьи царского законодательства о браке и семье не раз подвергались насмешкам Салтыкова, и обыватель, объявленный по суду "явным прелюбодеем", нередко появляется в его сатире (см., например, главу «Органчик» в "Истории одного города"). Трудности получения развода в царской России ввели в бракоразводную практику нечто вроде «касты» подставных лиц, которые за плату принимали на себя звание "явных прелюбодеев" и тем способствовали защите «интересов» нанявших их клиентов.

..."веселие Руси есть лгати". – Сатирическая парафраза слов князя Владимира Святославича "веселие Руси есть пити". Слова эти будто бы (по "Повести временных лет") были произнесены князем при так называемом "испытании веры" в качестве аргумента против принятия киевским государством магометанской религии, воспрещавшей употребление вина.

Стр. 297. ...целые рои паразитов, которые только и живут, что переполохами да неплатежом арендных денег. – Намек на Каткова, уклонившегося от дополнительного взноса денег за аренду типографии Московского университета, где печатались "Московские ведомости".

Стр. 298. ...сознают себя Юханцевыми и Базенами... – О Юханцеве – см. прим. к стр. 17. Маршал Наполеона III Аш. фр. Базен изменнически сдал в 1870 г. пруссакам крепость Мец с 173-тысячной армией.

Стр. 299. ...приплод Аристидов. – Имя древнегреческого полководца и политического деятеля Аристида по прозвищу «Справедливый» сделалось нарицательным для обозначения честного, неподкупного государственного деятеля.

Стр. 300. А ну как в этом «благоразумном» поступке увидят измену и назовут за него ренегатом? – Темы «благоразумия» и «отрезвления», с одной стороны, «предательства» и «ренегатства» – с другой, занимают в "Письмах к тетеньке" значительное место. Они разработаны здесь разветвленно, представлены многими фразеологическими обобщениями (прежде «бредни» – теперь "распни!" и др.), историко-типологическими обобщениями (40-х и 80-х годов), обличительным материалом против конкретных выразителей линии "измен либерализма" в русской общественной жизни (Катков, Суворин и др.) и т. д.

#### ПИСЬМА ТРЕТЬЕ И ЧЕТВЕРТОЕ

Впервые с нумерацией «III» – журн. "Отечественные записки", 1881, № 11.

Новым письмом «III», разделенным в отдельном издании 1882 г. на письма «третье» и «четвертое», Салтыков возобновил печатание "Писем к тетеньке", прерванное катастрофой с первоначальной редакцией письма «III», вырезанного по распоряжению властей из сентябрьской книжки журнала за разоблачение так называемой "Священной дружины" (см. прим. к стр. 339). Этот инцидент не только нарушил замысел ближайших «писем», но и вызвал у Салтыкова сомнения относительно возможности продолжения начатого цикла.

Решив все же продолжать "Письма к тетеньке", Салтыков постарался сделать это сначала по возможности цензурно. Первое по возобновлении «письмо» он назвал в письме к Н. А. Белоголовому "несколько глуповатым", пояснив при этом, что "ничто иное нынче не по сезону". [71] На языке Салтыкова это означало, что он оказался в необходимости приглушить политическую остроту своего первого после цензурного конфликта выступления. Но по силе критики общественного «двоегласия», "безразличия" и «уныния» новое III «письмо» не уступает, а кое в чем и превосходит прежнее, запрещенное. Различие лишь в том, что обличение реакции перенесено здесь в сферу быта и материал лишен открыто демонстрируемых сатирических связей с конкретными явлениями правительственной политики и определенными выступлениями идеологов реакции. Письма «третье» и «четвертое» посвящены ироническому прославлению двух «оазисов» тишины и благонамеренности, из которых "политический элемент" устранен раз навсегда. Первый «оазис»

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) представлен квартирой обывателя, второй – квартирой кокотки.

Стр. 304. ...отчего не все мои письма доходят по адресу – не знаю. – Отсюда начинаются многочисленные намеки на цензурную катастрофу, постигшую «сентябрьское» письмо.

Стр. 305. Писано в 1881 году, когда на "сведущих людях" покоились все упования России, а издано в 1882 году, когда представление о "сведущих людях" сделалось равносильным представлению о "крамоле". – Примечание появилось в первом отд. изд. "Писем к тетеньке", 1882 г. "Сведущими людьми" на официальном языке эры "народной политики" назывались избранные правительством эксперты из числа предводителей дворянства и земских деятелей, которые дважды в течение 1881 г. призывались в Петербург. Первый раз, в мае, для обсуждения вопроса о понижении выкупных платежей, второй раз, в сентябре, для обсуждения вопросов питейного и переселенческого. Реальное значение этих консультаций с "местными деятелями" оказалось ничтожным. Однако и эта демагогическая и вполне невинная игра в «представительство», которой занимался гр. Н. П. Игнатьев, была признана вредной и прекращена, когда в мае 1882 г. к управлению был призван "министр борьбы" гр. Дм. Толстой.

...старюсь быть в ладу с дворниками. – "Положением об усиленной и чрезвычайной охране", опубликованным 8 сентября 1881 г., в Петербурге было введено обязательное дежурство дворников, превращенных фактически в одну из вспомогательных сил политической полиции столицы.

Стр. 306. ...если б мы с вами жили по ту сторону Вержболова... – то есть за границей.

Стр. 307. ...как в те памятные дни, когда, бывало, страшно одному в квартире остаться... – Имеются в виду апрельские дни «страшного», как назвал его Салтыков, 1879 г. Покушение А. К. Соловьева на Александра II вызвало крутую волну полицейских репрессий и подозрительности.

...какой-нибудь современный Пимен строчит и декламирует: "Еще одно облыжное сказанье, // и извещение окончено мое..." – Сатирическая парафраза начальных строк монолога Пимена из пушкинского "Бориса Годунова".

Стр. 308. Расплюев. – Этот образ А. В. Сухова-Кобылина заимствован, как и ниже образ Кречинского, а также гоголевского Ноздрева, из материала запрещенного "сентябрьского письма".

Стр. 310. ...испытать... чувство петролейщика. – Клеветническое прозвище «петролейщиков» (франц. – *petroleurs* – поджигатели) было дано реакционно-буржуазной печатью Третьей республики парижским коммунарам.

...желтенькие бумажки – кредитные билеты рублевого достоинства.

Стр. 311. *Le monde ou l'on s'ennuie* – пьеса Эд. Пайерона, поставленная в Париже в 1881 г. Под названием "в царстве скуки" долгие годы шла и в России, на многих столичных и провинциальных сценах.

Стр. 316. Да и старинные предания в свежей памяти... – Автобиографический намек на вятскую ссылку 1848 – 1855 гг.

Стр. 317. Глумов – образ из драматургии Островского, настолько, однако, переработанный и прочно усвоенный салтыковской сатирой, что воспринимается как одно из наиболее глубоких и оригинальных ее созданий.

...такой скотиной сделаешься, что не только Пушкина с Лермонтовым, а и фета с Майковым понимать перестанешь! – Резкость полемических заострений против А. А. Фета и Ап. Майкова объясняется как эстетическими взглядами этих поэтов, отрицавших примат общественных интересов в искусстве, так и их политической позицией сторонников консервативного дворянско-помещичьего лагеря.

Стр. 319. И компарсы... под гнетом паники, перебегающие через дорогу... – Здесь слово *comparse* (франц.) применено для обозначения нестойких, «повадливых» элементов общества, а не народных масс, как на стр. 288.

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)  
Стр. 320. ...эти земские грамотеи... – Намек на «земские» брошюры Фадеева, Кошелева и др., изданные за рубежом.

Стр. 321 "Имейя уши слышати да слышит". – Сентенция из Евангелия (Матфей, XI, 15).

Стр. 325. От гостинодворских Меркуриев. – Меркурий – бог торговли в древнегреческой мифологии.

ПИСЬМА ПЯТОЕ И ШЕСТОЕ

Впервые, с нумерацией «IV» – журн. "Отечественные записки", 1881, № 12.

"Декабрьское письмо" посвящено земству, воплощенному в образе Пафнутьева (Либеральные земцы, претендующие на участие в государственном управлении) и в групповых образах Дракиных и Хлобыстовских (реакционные земцы, носители крепостнических идеалов и тенденций). Для уяснения политического смысла и сатирической остроты «письма» необходима некоторая осведомленность в истории земского движения конца 70-х – начала 80-х годов. Годы второго демократического подъема в России явились годами оживления также и среди земских либералов. В их кругах явственно обнаружилось конституционные стремления, достигшие своего апогея в период Лорис-Меликовской "диктатуры сердца". Но в конечном итоге эти стремления оказались, по замечанию В. И. Ленина, лишь "бессильным «порывом». И это несмотря на то, что сам по себе земский либерализм сделал заметный шаг вперед в политическом отношении". [72] "Классовое бессилие" русского либерализма, его умеренность, нерешительность и лояльность по отношению к самодержавию, а с другой стороны, деятельность органов охраны режима, преследовавших даже ничтожные ростки политического протеста или недовольства, где бы они ни проявлялись, не только свели до минимума значение "земской оппозиции" как фактора в борьбе за политическую свободу, но и позволили земству еще раз сыграть свою роль "орудия укрепления самодержавия" (Ленин). В 80-е годы по мере углубления аграрного кризиса, толкавшего помещичье хозяйство на путь прямой экономической реакции, помещикам было уже не до конституционных демонстраций, хотя бы и самого невинного свойства. В их среде все более укрепляются крепостнические настроения, и рупором их делаются те самые земства, которые столь недавно провозглашались "зарей гражданских свобод". Именно из земской среды скоро начнут выходить проекты наиболее реакционных контрреформ 80-х годов (например, идея земских начальников), осуществляемых затем правительством.

На этой-то пока еще полускрытой реакционной метаморфозе земства и фиксирует внимание декабрьское «письмо», во многом предвосхищая эту метаморфозу, ставшую исторической явью лишь несколько лет спустя. Обличение земства как в данном «письме», так и в ряде других мест цикла, полемически связано с брошюрой генерала Р. А. Фадеева и министра двора гр. И. И. Воронцова-Дашкова "Письма о современном состоянии России", изданной в 1881 г. в Лейпциге.

Стр. 337. ...Пафнутьев из Петербурга воротился ... – В образе Пафнутьева Салтыков еще в цикле "Признаки времени" изобразил тип помещика-либерала конца 60-х годов, превратившегося позднее в либерального земца, который и фигурирует под тем же именем в комментируемом «письме». [73] Описание "эпопеи пафнутьевского пребывания в Петербурге" представляет сатиру на придуманные гр. Игнатьевым надувательские способы "общения правительства с народом" в форме созывов земских "сведущих людей" для участия их в обсуждении некоторых вопросов управления (см. прим. к стр. 305). Двукратное приглашение в 1881 г. земских «экспертов» в Петербург и их деятельность, равнозначную "толчению воды в ступе", речь Игнатьева 24 сентября 1881 г. (на открытии второго совещания), в которой он демагогически заявил под шумные аплодисменты, что "сведущие люди" призваны для того, "чтобы самые жизненные вопросы страны не были решаемы без выслушивания местных деятелей" ("Правительственный вестник", 25 сентября 1881 г.); последовавший почти вслед за этим заявлением резкий отказ удовлетворить ходатайство ряда земских собраний о приглашении их представителей в учрежденную 20 октября 1881 г. так называемую Кахановскую комиссию, имевшую своей задачей как раз "преобразование местного управления", – наконец, верноподданнически охранительные адреса тамбовского и саратовского земств (в октябре 1881 г.) – все эти сюжеты, привлекавшие к себе в тот момент большое внимание прессы и общества, и составляют ближайшую конкретно-историческую основу к той части «письма», которая посвящена описанию "неудачного набега земцев в Петербург".

Стр. 338. "аншанте" – сокращенная форма приветствия: *enchante de vous voir*

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru (франц.) – рад видеть вас.

Стр. 339. "Союз Недремлющих Лоботрясов" – одно из наименований в салтыковской сатире "Священной дружины" – конспиративного добровольного общества преимущественно из среды военной аристократической молодежи, ставившего своей целью неофициальную охрану царя и подпольную вооруженную борьбу с революционерами.

...по дороге из Средней Мещанской в фонарный переулок. – Эта улица и этот переулок Петербурга были средоточием публичных домов.

Стр. 340. ...люблю я земщину, но странною любовью. – Сатирическая парафраза первого стиха «Родины» Лермонтова: "Люблю отчизну я, но странною любовью".

Стр. 341. Вздошников. – Этот «крестьянский» представитель земства скоро превратится в салтыковской сатире вполне закономерно в "купца Вздошникова" (см. "Современную идиллию", т. 8, гл. 16 – 18).

...девичью кожу ест. – Средство от кашля, приготовлявшееся в смеси с сахаром и яичным белком.

...с самой "катастрофы"... – Так крепостники называли крестьянскую реформу.

Стр. 342. ...в виде гамбеттовских новых общественных слоев. – Ср. "За рубежом", стр. 169 – 170.

Стр. 343. ...лужением больничных рукомошников... – Опасаясь влияния либерально-оппозиционных элементов в земских учреждениях, правительство передало им, при их учреждении, только хозяйственные дела, касающиеся «польз» и «нужд» данной губернии и уезда.

Стр. 345. ...если этот вопрос ныне выдвигается вперед, то... Именно, в смысле устранения бюрократии (раз навсегда!)... Вот какая махинация скрывается под наивным желанием петь: страх врагам! – Кризис самодержавия на рубеже 1870 – 1880 гг. вызвал оживление тенденций «олигархического» порядка в некоторых группировках дворянско-помещичьей части земства. Сторонники этих взглядов, наиболее ярко выраженных в упомянутой брошюре Р. Фадеева и И. Воронцова-Дашкова "Письма о современном состоянии России", стремились к дворянско-аристократической «конституции» и были противниками бюрократии. "<На> страх врагам" – слова из царского гимна "Боже царя храни...".

Стр. 347. ...Пафнутьев воротился восвосяси, не донюхавшись ни до чего. – Намек на неудачу ходатайств ряда земств о допущении их представителей к работам Кахановской комиссии (см. прим. к стр. 337). Земцы были допущены в комиссию лишь в 1883 г., когда они сыграли там, как это и предсказывал Салтыков, реакционнейшую роль инициаторов и вдохновителей контрреформ 80-х годов.

...и ты, Цезарь (как истая смолянка, вы смешиваете Цезаря с Брутом)! – Со словами "И ты, Брут?" – в шекспировском "Юлии Цезаре" умирающий Цезарь обращается к Бруту, которого он считает в числе своих убийц. "Смолянка" – воспитанница Смольного института – женского привилегированно-аристократического учебного заведения в Петербурге.

Стр. 348. Ныне отпускаеши... – Из Евангелия (Лука, II, 25 – 32).

...определяются от короны – от государства, правительства.

Стр. 349. Слышишь, в роще зазвучали... – Из стихотворения Г. Гейне «Серенада» в переводе А. А. Фета.

Куроцапы – сатирическое наименование, которым Салтыков пользуется для общего или отдельного обозначения различных чинов дореформенной земской уездной и сельской полиции; исправников, становых, десятских, сотских и др.

Стр. 352. ...лоно твое – как чаша благовонная, и нос твой – как кедр ливанский – сатирическая реминисценция из библейской "Песни Песней" (VII, 3 и 5).

Стр. 356. ...чиновничество... прозевало краугольные камни... не приняло



Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru соответствующих мер к ограждению основ. – Намек на возникшие после 1 марта в некоторых правительственных и реакционно-славянофильских кругах теории о несостоятельности государственного аппарата самодержавия, в первую очередь полицейского, «прозевавшего» нарастание революционного движения и выполнение приговора "Народной воли" над Александром II.

Стр. 357. ...аспирации... – устремления (франц. – aspirations).

Стр. 360. ...вот вам ваш Чацкий, ваш Евгений Онегин, ваши Рудин, Инсаров. – Эти литературные герои А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина и И. С. Тургенева псевдонимически обозначают в данном случае передовые силы русского общества, его свободолюбивую интеллигенцию.

Стр. 362. ..."ел добры щи и пиво пил!" – Из стихотворения Г. Р. Державина "Осень во время осады Очакова": "Запасшися крестьянин хлебом, // Ест добры щи и пиво пьет..."

Стр. 363. Губернатор, который... блеснул было на минуту на горизонте, но чего-то не предусмотрел и был за это уволен. – Намек на «ex-диктатора» – бывшего харьковского генерал-губернатора Лорис-Меликова, "не предусмотревшего" событий 1 марта и за это уволенного.

Стр. 366. ...фиговидцы ... – идеологи и деятели реакции, не понимающие жизни и вносящие в нее бессмыслицу и хаос (от поговорки "глядеть в книгу – видеть фигу", то есть ничего не понимать); они же сикофанты, то есть клеветники и доносчики.

ПИСЬМА СЕДЬМОЕ И ВОСЬМОЕ

Впервые, с нумерацией «V» – журн. "Отечественные записки", 1882, № 1.

Обличения "январского письма" направлены на ту особенность политического быта и общественной атмосферы современности, о которой советский исследователь истории царского самодержавия говорит: "Период министерства Игнатьева характеризуется широким распространением различного рода провокаций, доносов и предательств". [74]

В письме к Н. А. Белоголовому Салтыков следующими словами раскрывает содержание своей очередной «беседы» с «тетенькой»: "Январское письмо... Вам понравится. Идет в нем речь о семейных распрях, как плоде современной внутренней политики. И весело и ужасно в одно и то же время. Вообще, не ручаюсь, что живописую Россию, но что Петербург в моих письмах отражается вполне – это верно". [75]

Стр. 369. ...иностранные образцы – западноевропейские конституционные формы государственности.

Стр. 370. Сижу я в "Пуританах"... – Как и в других операх Винченцо Беллини, в «Пуританах» ярко отразились национально-освободительные чаяния итальянского народа. Свободолюбивые мечты, окрашивающие музыку «Пуритан», способствовали популярности оперы в демократически-оппозиционных кругах петербургской молодежи.

Стр. 373. ...читая "Nana"... – Об отношении Салтыкова к этому роману Эмиля Золя см. прим. к стр. 170.

Стр. 375. ...это те люди-камни, которые когда-то сеял Девкалион... – Сюжетный мотив из греческого мифа, описанного в «Метаморфозах» Овидия. Согласно этому мифу, сын Прометея Девкалион и его жена Пирра были единственными людьми, спасшимися от потопа. Зевс, задумав создать новый людской род, приказал им бросать через плечо "кости великой родительницы" (земли): камни, брошенные Девкалионом, превратились в мужчин, Пиррой – в женщин.

Стр. 376. Risumteneatis, amici! – См. прим. к стр. 86.

Стр. 377. У Удава было три сына. – Повествование об истории, случившейся в семье "бесшабашного советника" (уход двух сыновей в революцию), представляет одну из вариаций на остро волновавшую Салтыкова тему о суде истории и потомства, в лице детей, над настоящим. К разработке этой темы Салтыков неоднократно обращался в своих произведениях 70-х годов ("Господа Молчалины", "Непочтительный Коронат", особенно "Вольное место" и пр.).

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)  
Стр. 381. ... "из калмыцкого капитала" ... – Начиная с 1834 г. калмыки, ранее не платившие податей, были обложены сборами, зачислявшимися в "общественный калмыцкий капитал". Он хранился сначала в Министерстве внутренних дел, а потом в Министерстве государственных имуществ и стал предметом хищений.

Стр. 382. ...после аракчеевской катастрофы... – По-видимому, это выражение следует отнести к потере Аракчеевым после смерти Александра I своего могущества.

Стр. 383. ...муравьевцы – соратники и единомышленники генерал-губернатора Северо-Западного края М. Н. Муравьева, жестоко подавившего восстание 1863 г. в Литве и Белоруссии.

А завтра – где ты, человек? – Из оды Г. Р. Державина "На смерть князя Мещерского".

...Аракчеев... подготавливал народ к восприятию коммунизма. – В данном случае Салтыков пользуется словом «коммунизм» (в нарочито обывательской, вульгаризаторской, ради сатирических целей, интерпретации этого понятия как универсальной уравниловки) для обличения той теории и практики бюрократически-полицейской регламентации и административного почитательства, которыми характеризовались правовой институт и политический быт самодержавия. Своего предела казарменная регламентация жизни достигла в аракчеевской системе "военных поселений". Последние фигурируют у Салтыкова с той же иронической интонацией, как и слово «коммунизм», под именем «фаланстер» – идеальных поселений человечества, в социальной утопии Шарля Фурье.

Стр. 385. А кухня Надежда Гавриловна – помните, мы с вами ее «индюшкой» прозвали? – Одна из вариаций светских героинь салтыковской сатиры, продолжающая, в частности, образ той куклы-обольстительницы, которая фигурирует под именем «Индюшки» в «сказке» "Игрушечного дела людшки", на что и ссылается Салтыков.

Стр. 387. Умереть – уснуть! – Слова из монолога Гамлета ("Быть или не быть") в одноименной трагедии В. Шекспира.

...трактир "Британия" – излюбленное место сходов и диспутов участников передовых кружков студенческой, литературной и театрально-художественной молодежи в Москве 30 – 40-х годов.

Стр. 388. Сукрой – круглый ломоть хлеба, во всю ковригу (даль).

...оттуда вылетит Иона. – Сатирическая реминисценция евангельского рассказа о трехдневном пребывании пророка Ионы во чреве кита, откуда затем он вышел невредимым (Матфей, XII, 39 – 41).

Стр. 389. ...в Грузине... – село Грузино Новгородской губ., на р. Волхове, резиденция Аракчеева, подарено ему Павлом I. Было одним из центров военных поселений.

Стр. 391. Предилекция – предпочтение, большая любовь (франц. – predilection).

Стр. 394. ...где генералам пустяки читать! Они нынче всё географию читают! – Намек на генерала М. Д. Скобелева, выступавшего в защиту балканских народов против политики Германии и Австро-Венгрии и считавшего, что война с этими государствами явилась бы единственным средством "поправить наше экономическое и политическое положение" ("Дневник П. А. Валюева. 1877 – 1884 гг.". П., 1919; запись от 30 июля 1881 г.). В этой связи в одной из своих речей в Петербургском офицерском собрании в конце 1881 г. Скобелев заявил: "...нам скоро необходимо будет основательно пополнить наши недостаточные знания географии земель западных". Эта фраза обошла все газеты, попала в заграничную прессу и вызвала много толков.

Стр. 395. ...мои поручики всё Зола читают... – Этот сатирический выпад метит не вообще в Золя, а в Золя как автора «Напа»; см. в наст. томе прим. к гл. IV "За рубежом".

Стр. 396. ...оду на низложение митрополита Михаила написал... – Митрополит сербский Михаил принимал активное участие в политической жизни страны, был сторонником русской ориентации внешней политики Сербии. В 1881 г. победа австрийского влияния принесла ему отставку со всех занимаемых постов и удаление на жительство

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) из Сербии в Россию.

...генералу Черняеву сонет послал, с Гарибальди его сравнивает... – В 1876 г. "завоеватель Ташкента" генерал М. Г. Черняев по приглашению короля Милана стал главнокомандующим сербской армией в войне Сербии с Турцией. Это назначение (оно привело вскоре к поражению сербской армии) дало повод прославянской либеральной печати сравнивать Черняева с Гарибальди.

...что Баттенберг... Еще бы! об этом даже циркуляром запрещено. – О немецком принце Баттенберге, посаженном русской дипломатией на престол «освобожденной» Болгарии под именем князя болгарского Александра I, см. справку в прим. к "письму первому". Оживленное обсуждение в прессе 1881 г. болгарских событий вызвало издание специального циркуляра Министерства внутренних дел от 29 апреля 1881 года, который и имеется здесь в виду.

И Каравелова крамолу // Пятой могучей раздавил. – В 1881 г., когда глава партии либералов Петко Каравелов был министром-президентом болгарского кабинета, Баттенберг, опираясь на консервативные элементы правительства, при помощи русского генерала Эрнота произвел государственный переворот: упразднил конституцию ("Тырновскую"), уволил в отставку Каравелова и заставил его эмигрировать.

Стр. 397. Вот Хлудов, например, – ведь послал же чудовских певчих генералу Черняеву в Сербию... – Московский купец А. И. Хлудов, собиратель древнерусских рукописей и книг, был меценатом известного церковного хора Чудова монастыря в московском Кремле.

Стр. 398. Все на свете мне постыло, //А что мило, будет мило! – «Тетенька» весьма произвольно вспоминает две строки из стихотворения А. С. Пушкина "Если жизнь тебя обманет...": "Настоящее уныло... // Что пройдет, то будет мило".

#### ПИСЬМА ДЕВЯТОЕ И ДЕСЯТОЕ

Впервые, с нумерацией "VI", – журн. "Отечественные записки", 1882, № 2.

В отличие от большинства других «писем» журнального текста, подвергшихся в отдельном издании более или менее механическому расчленению, "Февральское письмо" написано так, что и сюжетно, и композиционно оно естественно распалось на два вполне самостоятельных очерка, которые и получили в дальнейшем наименование писем «девятого» и «десятого». Реальный комментарий устанавливает автобиографичность многих деталей "девятого письма". Рассказанные в нем эпизоды из жизни "одного чистокровнейшего заведения", предназначенного быть "рассадником министров", восходят к сатирически заостренным и обобщенным воспоминаниям о реально виденном и пережитом самим Салтыковым в пору его пребывания в стенах Александровского (бывш. Царскосельского) лицея. [76] Но, конечно, когда Салтыков писал эти страницы, он менее всего думал о своей будущей биографии. Лицейские воспоминания понадобились ему ради иных целей. Он воспользовался ими прежде всего как колоритным материалом для создания одной из наиболее блестящих и острых своих сатир на всю систему школьного образования и воспитания в царской России. Однако сатира на школьное воспитание является, в свою очередь, лишь "смысловой поверхностью", "предметным слоем", в котором при продвижении вглубь вскрывается вся окружающая действительность периода реакции. С неотразимо внушающей силой Салтыков заставлял современного себе читателя видеть в образе «карцера» всю тогдашнюю Россию, в галерее образов школьных воспитателей и руководителей – весь аппарат административно-полицейского контроля и чиновничье-бюрократической опеки абсолютистского государства над народом и обществом; наконец, в изображенной системе школьного воспитания, при которой «оподлялись» как воспитуемые, так и воспитатели, – то, по словам Ленина, "массовое политическое развращение населения, которое производится самодержавием повсюду и постоянно". [77]

Следующее, «десятое», письмо посвящено теме раскрытия окружающей действительности как "жизни без выводов", жизни настолько разорванной и спутанной "современной смутой", что даже обывательский идеал безыдейного благополучия не может быть в ней осуществлен.

Стр. 404. Кустодия – страж (церковнослав. от греч – custodia).

Многие будущие министры (заведение было с тем и основано, чтоб быть рассадником

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (saltykov-shchedrin.ru министров) сживали в этом карцере... – В Александровском (бывш. Царскосельском) лицее, учрежденном, как гласил устав, для "образования юношества, предназначенного к важным частям службы государственной", учились в одно время с Салтыковым "будущие министры": А. В. Головнин (министр просвещения); М. Х. Рейтерн (министр финансов); бар. А. П. Николаи (министр просвещения) и, наконец, гр. Д. А. Толстой (министр просвещения, обер-прокурор синода, министр внутренних дел).

В отрочестве я имел неудержимую страсть к стихотворному парению... – В автобиографической записке 1878 г. Салтыков сообщал, что еще в первом классе Лицея "почувствовал решительное влечение к литературе, что и выразилось усиленною стихотворною деятельностью".

...план был: из всех школяров... сделать Катонов. – То есть подготовить государственных деятелей, беспощадных по отношению к политическим противникам самодержавия (по имени государственного деятеля Древнего Рима Катона Старшего).

Стр. 405. ...наставники и преподаватели были... изумительные... – Галерея наставников и преподавателей "чистокровнейшего заведения" портретна. Это все лицейские учителя и воспитатели Салтыкова, хотя и охарактеризованные с гротесковыми заострениями. Воспитатель, взятый "из придворных певчих", – это лицейский гувернер Ф. П. Калиныч; немец, "не имевший носа", – преподаватель немецкой словесности де Олива; француз, участвовавший во взятии в 1814 г. Парижа и тем не менее декламировавший; *a tous les coeurs bien nes que la patrie est chere*! [78] – преподаватель французской словесности Р.-А. Жилле; другой француз, который "страдал какой-то болезнью", – воспитатель А. Бегень; и далее названы своими именами преподаватели российской словесности П. П. Георгиевский и всеобщей истории И. К. Кайданов.

Стр. 406. ..."учебник" начинался словами: "Сие мое сочинение есть извлечение" и т. д. – Этими словами начиналась книга "Руководство к познанию всеобщей политической истории И. Кайданова, профессора истории в Александровском лицее". По этой книге, неоднократно переиздававшейся, учился и Салтыков.

...любили петь посвящение.. Мусину-Пушкину. – Вот текст этого посвящения: "Его превосходительству, господину попечителю Казанского учебного округа, тайному советнику, почетному члену императорской Академии наук и разных ученых и других обществ члену, орденов: св. Владимира 2-й ст. большого креста, св. Анны 1-й ст., украшенного императорскою короною, и 4-й ст., св. Станислава 1-й ст. и прусских: За заслуги и Железного креста кавалеру, Михаилу Николаевичу Мусину-Пушкину, в знак глубочайшего уважения от сочинителя". Посвящение предпослано книге профессора Казанского университета И. А. Горлова "Теория финансов" (Казань, 1841, СПб., 1845). В 40-е годы книга эта являлась основным руководством по политической экономии для студентов высших школ. Учился по ней в лицее и Салтыков. Воспитанники любили петь это посвящение на мотив главного песнопения православной церкви ("Символа веры"): "Верую во единого господа..."

Не то ли же, впрочем, видим мы и... – Подразумевается: и теперь, в наше время.

Стр. 409. ...перевести (по хрестоматии Таппе) фразу: Новгородцы такали, такали, да и протакали... – Имеется в виду следующее пособие: "Дитрих-Август Таппе. Сокращение Российской истории Н. М. Карамзина в пользу юношества и учащихся российскому языку, с знаками ударения и толкованием труднейших слов и речений на немецком и французском языках и ссылкой на грамматические правила", 2 часть, СПб., 1819. Из этого издания память Салтыкова заимствовала как русский текст пословицы, так и сатирически звучащие переводы ее на французский и немецкий языки.

Стр. 414. ...является Сенечка прямо из "своего места". – Из "своего места" – то есть из судебного департамента Сената или из судебной палаты и т. д. – вообще из какого-либо учреждения, относящегося к судебному ведомству.

Стр. 415 – 416. Помнится, когда-то один из стоящих на страже русских публицистов, выдергивая отдельные фразы из моих литературных писаний, открыл в них присутствие неблагонадежных элементов и откровенно о том заявил. – Речь идет о статье В. П. Безобразова "наши охранители и наши прогрессисты", напечатанной в октябрьской книжке "Русского вестника" за 1869 г. Статья содержала ряд скрытых, но достаточно прозрачных политических выпадов против салтыковской сатиры.

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

Стр. 416. ..."башмаков еще не износила"... – Из монолога Гамлета в 1-м действии трагедии Шекспира.

Стр. 417. "Штандпункт" – точка зрения (нем. – Standpunkt).

Стр. 421. ...как жених в полночи... – из Евангелия (Матфей, XXV, 6).

Стр. 423 – 424. ...взял в руки газету, и вдруг... видит: "Увольняется от службы по прошению..." – Вся эта часть "письма десятого" является сатирическим откликом на живо интересовавшие Петербург 1881 – 1882 гг. многочисленные перемещения, отставки, увольнения, назначения и т. п. в правительственных сферах, часто совершенно неожиданные для самих увольняемых или назначаемых.

Стр. 425. ...какие-то «пойги» из Вильманстранда. – «Пойга» – мальчик, юноша (по-фински); Вильманstrand – в то время город Выборгской губернии (по-фински Лаппенранта).

ПИСЬМА ОДИННАДЦАТОЕ И ДВЕНАДЦАТОЕ

Впервые, с нумерацией «VII» – журн. "Отечественные записки", 1882, № 3.

Подвергнув в предыдущих «письмах» сатирической критике реакцию в различных формах ее политического и бытового выражения ("народная политика", "призыв к содействию", земство, суд, семья и т. д.), Салтыков переходит к обличению "реакционного поветрия" в сфере идеологии. Главная тема "мартовского письма" – вторжение «улицы» в литературу (собственно, в газету) и буржуазного расчета и приспособленчества в науку. «Улица» – важное понятие-образ в поэтике и «социологии» Салтыкова. Впервые это иносказание появилось в его сочинениях конца 60-х годов (статья "Уличная философия"). Оно обозначало общественное мнение «толпы», ближайшим образом полуинтеллигентной, городской, не освещенное светом сознательности и передового идеала. Объективно возникновение и развитие «улицы» – своего рода "массовой культуры" того времени – было одним из явлений, сопутствовавших пореформенному процессу вовлечения страны в орбиту интенсивного буржуазно-промышленного развития.

В конкретных исторических условиях начала 80-х годов политическая реакция и ее идеологи – с одной стороны, укреплявшаяся отечественная буржуазия и ее печать – с другой стороны, стремились использовать «улицу» в своих интересах, и не безуспешно. Именно «улица» – полуинтеллигентный, шовинистически настроенный обыватель – создала в 70 – 80-е годы огромный успех суворинскому "Новому времени", вызвала к жизни бульварные газеты «Свет», "Минута" и др., а в художественной литературе поддерживала не Салтыкова и не Толстого или Достоевского, а быстро канувших в Лету Авсеенов, Маркевичей, Дьяковых-Незлобиных. Однако в понимании Салтыкова «улица» являлась конкретным носителем реакции в качестве ее страдательной, а не активно-сознательной и направляющей силы (как, например, дворянско-помещичья среда). Поэтому-то Салтыков, жестко обличая «улицу», не произносит, однако, над этой враждебной ему силой ("в том виде, как мы ее знаем") окончательного приговора. Он не только не отказывает "людям толпы", "людям улицы" в будущем, но, стремясь предугадать линию дальнейшего движения, предвидит для «улицы» "новый и уже высший фазою развития", который выведет ее из-под власти «Ноздревых» – все той же реакции и превратит ее в положительную и созидательную силу.

Стр. 440. "Помои – издание ежедневное. – Наименованием «Помои» Салтыков заклеил как газеты реакционного лагеря, злобно и клеветнически выступавшие против освободительного движения и его деятелей, так и буржуазную печать, отмеченную чертами беспринципности, продажности, торгашества. Ближайшим прототипом для ноздревских «Помоев» послужило суворинское "Новое время". В статье 1912 г. «Карьера» Ленин писал: "Новое время" Суворина на много десятилетий закрепило за собой <...> прозвище "Чего изволите"?. [79] Эта газета стала в России образцом продажных газет. «Нововременство» стало выражением однозначным с понятиями: отступничество, ренегатство, подхалимство, "Новое время" Суворина – образец бойкой торговли "на вынос и распивочно". Здесь торгуют всем, начиная от политических убеждений и кончая порнографическими объявлениями" (В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 22, стр. 44).

...главный воротило в газете – публицист Искарриот. – Намек на Иуду Искарриота революционного движения Дьякова-Незлобина, проделавшего путь от участия в

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru нечаевском кружке 70-х годов и эмиграции к ренегатству.

Стр. 441. "Ах, почто за меч воинственный // Я свой посох отдала?" – из "Орлеанской девы" Шиллера в переводе Жуковского (4-е действ.).

"Урожденная Сильвупле..." – "Урожденная Пожалуйста" (франц. – s'il vous plaît).

Стр. 442. Статья подписана: "Бывший начальник штаба войск эфиопского принца Амонасро, из "Аиды", – Намек на националистическую публицистику неоднократно упоминавшегося уже генерала Фадеева, который одно время командовал армией египетского хедива в Африке.

Искарриот... разбирает по суставчикам газету "Пригорюнившись Сидела". – Под этим псевдонимом подразумевается печать либерального лагеря: «Голос» (Краевского), «Порядок» (Стасюлевича) и др. Газеты этого направления отрицательно относились к революционному движению 70 – 80-х годов, что не спасало их, однако, от самых резких обвинений в политической неблагонадежности, в "проповеди анархии" и т. п. как со стороны реакционной прессы, так и со стороны цензуры (обе названные газеты после многократных цензурных кар были прекращены властями).

"Воззри в лесах на бегемота"... – Из "Оды, выбранной из Иова..." М. В. Ломоносова.

Стр. 444. По всякому вопросу непременно писать передовую статью.. – Намек на знаменитые передовицы "Московских ведомостей", писавшиеся Катковым в течение почти двух десятков лет ежедневно.

Стр. 445. ...прямо от своего имени объявляет войны, заключает союзы и дарует мир. – Намек на того же Каткова, точнее, на то исключительное влияние, которое он приобрел как вдохновитель и трубадур реакции, на внутреннюю и внешнюю политику Александра III.

Стр. 448. ...два-три исключения.. – К таким «исключениям» Салтыков, бесспорно, относил Гл. Успенского, А. Островского, Вс. Гаршина и некоторых других, включая, несомненно, самого себя. (Достоевский уже умер, а Тургенев и Л. Толстой не выступали в это время в печати.)

..."последние тучи рассеянной бури"... – Неточно из стихотворения А. С. Пушкина "Туча".

Стр. 450. Ego vosi – Неточно (нужно Quos ego!) из «Энеиды» Вергилия; грозный окрик Нептуна разбушевавшимся стихиям.

Стр. 452. ...словом литератора-публициста Евгения Маркова... – Выпад против критических статей этого писателя (ранее близкого к демократическому лагерю, потом отошедшего от него), в которых он выступал апологетом теории самодовлеющего искусства.

Стр. 454. Я признаю, что в современной русской литературе на первом плане должна стоять газета и что в этой газете должна господствовать публицистика подсиживанья, сыска и клеветы. – Газетное дело в России после отмены крепостного права быстро оказалось (за исключением официальной казенной печати) в подчинении стремительно развивавшегося капитализма. Уже первым русским буржуазным газетам, «Голосу», "Санкт-Петербургским ведомостям", "Новому времени" и др., были присущи черты их европейских собратьев – торгашество, оппортунизм, беспринципность.

Стр. 455. Грызунов – мой школьный товарищ и, по призванию, экономист. – В образе Грызунова дана острая сатирическая зарисовка одной из характерных фигур в галерее новой буржуазированной интеллигенции пореформенной России.атурой при создании образа «Грызунова» Салтыкову послужила отчасти фигура известного экономиста и публициста либерального лагеря В. П. Безобразова. Он был своего рода ученым экспертом по экономическим вопросам при царском правительстве, равно как и при российской буржуазии.

Стр. 456. ...дано прозвище восьмого мудреца.. – Семью мудрецами называют полулегендарных мудрецов Древней Греции, живших в VII и VI вв. до н. э. Они излагали свои мысли в кратких образных изречениях (гномах).

...пожалуйте, Иван Александрыч, министерством управлять! – Парафраза из «Ревизора»

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Н. В. Гоголя. Стр. 457. ...fugaces labuntur anni... – Усеченная цитата из Горация ("Оды", 11, 14. 1 – 2); "Eheu! fugaces Postume, Postume, labuntur anni" ("Увы! мимолетно, Постумий, Постумий, проносятся годы". – Перев. А. А. Фета).

Стр. 458. ...тушинцы – самозванцы (от "Тушинского царька" – прозвище второго самозванца в эпоху Смутного времени).

Стр. 462. ...Мижуеву (племянник Ноздрева)... – У Гоголя Мижуев не племянник, а зять Ноздрева.

...Под вечер осени ненастной... – Неточно из «Романса» А. С. Пушкина.

Стр. 463. ...это было смятение чисто библиографического свойства. – Страницы, посвященные издевательствам над «библиографами», или, как точнее определили бы мы сейчас, – над текстологами, являют собой один из блестящих образцов салтыковской сатиры на «ученую» схоластику, заменяющую подлинное изучение материала механической регистрацией мелочей, бездумным фактографированием. Реальный комментарий раскрывает эпизод с «библиографами» как сатирическое выступление Салтыкова в разгоревшейся в 1880 – 1881 гг. газетно-журнальной полемике вокруг выходившего тогда нового издания сочинений А. С. Пушкина под редакцией П. А. Ефремова.

...приносим нашу искреннейшую благодарность покойному библиографу Геннади. – Известный библиограф и библиофил Г. Н. Геннади упоминается здесь как неудачливый редактор собрания сочинений А. С. Пушкина (1869 – 1871 гг.). Это издание принесло ему скандальную славу, выраженную С. А. Соболевским в эпиграмме; "О, жертва бедная двух адовых исчадий: // Тебя убил Дантес и издает Геннади!".

Стр. 464. Мартын Иваныч Задека. – Имя этого полулегендарного составителя популярнейшего в начале XIX столетия сочинения, содержавшего толкователь снов и гадательную книгу, используется для сатирической персонификации деятельности пресловутой "подкомиссии сведущих людей по устройству питейного дела", созданной гр. Игнатьевым (см. выше, прим. к стр. 337).

Стр. 465. "коль славен..." – Первые слова православного гимна "Коль славен наш господь в Сионе..."

Стр. 466. ..."командированный чин" – секретный агент политической полиции.

Стр. 468. Аттанде-с – подождите (франц. – attendez), карточный термин, входит в эпитафию гл. VI "Пиковой дамы" А. С. Пушкина.

ПИСЬМА ТРИНАДЦАТОЕ И ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ  
Впервые, с нумерацией "VIII", – журн. "Отечественные записки", 1882, № 4.

"Апрельское письмо" разрабатывает темы, имеющие характер выводов из предыдущего изложения. Ставятся вопросы об "умалении благородного мышления", о «вольной» печати российской реакции за рубежом и др. Но главными примечательными особенностями "апрельского письма" являются два сюжета. Это, во первых, глубоко диалектическое размышление Салтыкова о прогрессивном значении реакционных периодов, сообщающих преследуемой передовой мысли "новую и своеобразную силу: силу поучения". [80] Это, во-вторых, одно из главнейших программных выступлений Салтыкова о предмете и назначении своей литературной деятельности. Выступление это явилось ответом на одну из тех ожесточенных атак, которым подвергался Салтыков весной 1882 г. со стороны реакционного лагеря (см. далее в прим.).

Стр. 476. ...съезжий дом – полицейская управа, а также помещение для арестованных при полиции.

Стр. 477. ...не дальше как на днях... я подвергался поруганию. – Имеется в виду состоявшееся 2 марта 1882 г. в Москве ("в доме княгини Трубецкой, что в Большом Знаменском переулке") публичное чтение некоего И. Н. Павлова, креатуры Каткова, имевшее своим предметом, как гласили газетные объявления в «Руси» и "Московских ведомостях", "последние произведения Щедрина", то есть "Письма к тетеньке". Салтыков узнал о содержании этого резко враждебного ему выступления из отчета о павловском «чтении», который не замедлили поместить "Московские ведомости" в № от 5 марта. Ряд мест "апрельского письма" и следующего построено на явной и полускрытой полемике с пополнениями, заимствованными непосредственно из

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) «отчета». "Единственное назначение литературного произведения, по словам Г. Павлова, поддерживать и оживлять веру в вечные разумные и нравственные законы, – говорилось в «отчете». – Добиваться посредством изящной литературы какой-либо другой пользы значит исказить ее сущность. Как на одного из главных представителей ложной политическо-социальной литературы Г. Павлов указал на Щедрина, который, избрав своим орудием сатиру, придал ей смысл, обратный тому, какой должна она иметь. Вместо того, чтобы показывать ничтожность частных уклонений от общего нравственного закона пред самим законом и возбуждать таким образом смех над бессилием и нелепостью этих уклонений, Щедрин направляет смех на веру в нравственный закон и, исходя из частных, отрицает общее. Но и самые частности, изображаемые в его сатирах, принадлежат не настоящей действительности, а какой-то им вымышленной и невозможной. Ложь сатиры Щедрина очевидна, и она не выдержит самой пристрастной критики; тем не менее благодаря тому, что Щедрин обладает низшею формою таланта, состоящую в изобретении хлестких и курьезных слов, он имеет немало поклонников, принимающих грубо-нелепые фантазии сатирика за действительность. В "Губернских очерках" было и содержание, но мало-помалу оно оскудевало, и, наконец, осталась только форма. "Письма к тетеньке" – жалкая болтовня, даже не умная" ("Московские ведомости", 1882, 5 марта, № 64).

Стр. 478. ..."но яко разбойник, исповедую тя...", "...ни лобзания ти дам, яко Иуда"... – Слова из православной молитвы, читаемой во время литургии.

...самая способность толково и правильно выражаться (синтаксис, грамматика, правописание) – и та мало-помалу исчезает... – Раскрытие реакционной идеологии и политики путем демонстрации нарушения норм речевой и письменной культуры – один из характернейших приемов салтыковской сатиры. Создается своего рода формула разоблачения, согласно которой "безграмотность сопрягается с отсутствием благородства в мыслях". Эта формула используется для создания различных образцов языкового (грамматического, стилевого и орфографического) примитива, контрастного норме полноценного, богатого и правильного языка, ассоциируемого с "благородным мышлением", то есть прогрессивной идеологией. В плане реального комментария сочиняемые салтыковским «помпадуром» безграмотные письма и циркуляры, утверждающие "форму правления", разъясняются как гротескные пародии на языковой жанр и политический смысл манифестов Александра III о неизбежности самодержавия, на его же "высочайшие резолюции", стяжавшие себе известность своей орфографической безграмотностью и грубостью. Кроме того, для иллюстрации своих общих положений Салтыков широко пользуется примерами, взятыми из русских зарубежных книг и брошюр, принадлежащих перу деятелей оппозиции самодержавию справа.

Стр. 480. ..."недозрелый уме"... "понудила к перу твои руки". – Из "Первой сатиры" А. Д. Кантемира.

Стр. 490. В последнее время я, в качестве литературного деятеля, сделался предметом достаточного количества несочувственных для меня оценок. – В течение марта – начале апреля 1882 г. Салтыков подвергся ряду нападений со стороны ведущих печатных органов реакционного лагеря. Об одном из них – публичной лекции И. Н. Павлова – только что говорилось. Вслед за Павловым через несколько дней выступил В. П. Буренин, наиболее воинствующий тогда представитель газеты "Новое время". Большую половину своего очередного фельетона из серии "Критических очерков" Буренин посвятил Салтыкову ("Новое время", 1882, 12/24 марта, № 2168). Фельетон этот в ряду других враждебных выступлений Буренина, не оставившего без своего отзыва ни одного из "Писем к тетеньке", выделяется ничем не сдерживаемым бешенством личного озлобления. Это обстоятельство следует поставить в связь с тем фактом, что данное выступление нововременского «критика» было предпринято с целью нанести Салтыкову возможно более чувствительные контрудары за ту дискредитацию, которой подверглись и сам Буренин, и его газета в "мартовском письме", где они были задеты в сатирических образах газеты «Помои» и ее "фельетониста Трясучкина". Кроме Павлова и Буренина, Салтыков подвергся в это же время нападкам со стороны московского "Русского вестника". В апрельской книжке журнала [81] была напечатана статья видного публициста катковского лагеря, бывшего московского полицмейстера П. Щебальского. Статья называлась "Наши беллетристы-народники" и была специально посвящена «фаланге» тех писателей, на знамени которых "красуется изображение маститого сатирика Щедрина". Эта фаланга, писал автор, чуждается белья и чистых комнат; это "литература кабака и харчевни".



Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Отповедь, данная Салтыковым этим "распутным кликом", превратившаяся в страстную декларацию писателя о предмете и назначении своей литературной деятельности, вызвала, в свою очередь, новую и еще более резкую статью упомянутого П. Щебальского (П. Щебальский. "Письма к тетеньке" г. Щедрина... – "Русский вестник", 1882, № 8).

Стр. 496. ...двоить – подразумевается двоить пашню, то есть пахать ее дважды, вдоль и поперек.

Стр. 497. Статский советник... во лбу у него блестело <око>, в знак питаемого к нему доверия. – Недреманное око – одно из бытовых наименований агентов политической полиции и политического сыска. Впоследствии Салтыков назвал этими словами одну из своих "сказок".

Стр. 498. Я думал, что мне скажут: вот факт, который вполне подтверждает написанное вами тогда-то и тогда-то! – рассказ о приключениях поповского сына является одной из вариаций неоднократно разрабатывавшейся Салтыковым темы о тяжелом положении русского интеллигента (народника) в деревне, в обстановке господствовавшего там добровольческого сыска и полицейского произвола. Ближайшим образом Салтыков имеет здесь в виду свой рассказ 1874 г. «Охранители» (из цикла "Благонамеренные речи"), где в злоключениях "помещика Анпетова" он изобразил картину полицейских репрессий, применявшихся к деятелям народнических пропагандистских кружков в русской деревне 70-х годов.

#### ПИСЬМО ПЯТНАДЦАТОЕ

Впервые, с подзаголовком "Письмо девятое и последнее", – в журн. "Отечественные записки", 1882, № 5.

Заключительное "майское письмо" писалось в условиях укреплявшегося курса реакции, накануне назначения на пост руководителя внутренней политики, вместо "прогонявшегося с двора" гр. Н. П. Игнатьева, "министра борьбы" гр. Д. А. Толстого ("злым гением России" назвали его современники). Обращаясь к Н. А. Белоголовому, Салтыков писал ему 8 июня 1882 г.: "Письма к тетеньке" я кончил и, как оказывается, совершенно кстати. Во-первых, надо же и кончать, а во-вторых, любопытно, о чем бы я теперь писать стал? Теперь надо писать о светопреставлении..." В предыдущем же письме к тому же адресату от 15 мая Салтыков признавался, что зрелище российской действительности того момента повергает его в состояние "не злобы, а безвыходного горя и отчаяния". Эти настроения наложили явственный отпечаток на заключительное «письмо». Однако, опасаясь впасть в пессимизм, Салтыков изъясил из первоначального текста некоторые далеко идущие негативные формулировки ("Тоска, развившаяся до размеров отвращения к жизни" и др.) и закончил свои беседы с «тетенькой» страстным просветительским призывом к русскому обществу "сознать свою силу", если и не для "деятельного участия <...> в жизненном круговороте", то хотя бы для моральной поддержки "добросовестному и честному убеждению", что также считал делом "первостепенной важности".

Стр. 502. Недаром с Москвы благонамеренные голоса несутся: зачем, мол, цензура преграды «им» ставит! пускай на свободе объясняется! – Указание на упомянутую выше статью П. Щебальского "наши беллетристы-народники" в "Русском вестнике", в которой автор мимоходом задал провокационный вопрос: не лучше ли было бы дать Салтыкову и всем писателям демократического лагеря возможность высказаться "совершенно полно и откровенно", "назвать людей по именам" и т. д.

Стр. 505. ...а ныне к последней части этого положения прибавляют: "по правилам о Макаре, телят не гонящем, установленным". – Намек на Положение 14 августа 1881 г. "О мерах к охранению государственной безопасности и общественного спокойствия" и на Положение 18 апреля 1882 г. "О полицейском надзоре". Ими определялось управление Российской империи в административно-полицейском отношении.

Стр. 506. ...Сару Бернар не видал, об Сальвини только из афишек знаю. – Знаменитая французская драматическая актриса и не менее знаменитый итальянский трагик гастролировали в Петербурге в театральный сезон 1881/82 г.

Стр. 508. Помните... мы, в конце пятидесятых годов, зазнали в Москве одного начинающего публициста ("другом Грановского" он себя называл)... – Намек на Каткова и на проделанную им эволюцию от позиций умеренного либерализма в 40 – 50-е годы до роли одного из идеологов и вдохновителей реакции 80-х годов. В 1845 – 1850

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru гг. Катков был адъюнктом Московского университета по кафедре философии и здесь сблизился с Т. Н. Грановским, профессором того же университета по кафедре всеобщей истории. Указание дальнейшего текста на "греческие спряжения" служило для современников еще одним сигналом к узнаванию в анонимном образе намек на Каткова – инициатора и неутомимого пропагандиста системы классического образования.

Стр. 513. ...был один год... когда я одновременно обучался одиннадцати «наукам» и в том числе "Пепину свинству"... – Признание автобиографическое. Подробнее, см. прим. к стр. 405 и в кн.: С. Макашин. Салтыков. Биография. 1, изд. 2-е., М., 1951, стр. 128, след.

Стр. 514. Неслыханные «публицисты», чудовищная повесть Мессалины и Марата, сумевшие соединить в своем ремесле распутство первой и человеконенавистничество последнего. – Речь идет все о тех же «публицистах» реакционно-охранительной и буржуазно беспринципной печати – Каткове, Щебальском, Буренине и др. В характеристике этих «публицистов» наряду с именем Мессалины – жены римского императора Клавдия (I в. до н. э.), прославившейся своим распутством, Салтыков пользуется также именем Марата – одного из наиболее выдающихся деятелей Великой французской революции. В отношении к этому имени Салтыков, подобно многим своим современникам, находился в плену буржуазной легенды, превратившей исторический облик этого преданного "друга народа" в химерическую фигуру кровожадного садиста, «человеконенавистника». Салтыков тем легче подпал под влияние этой легенды, что и просветительский морализм его собственного мировоззрения диктовал ему резко отрицательное отношение к террору, хотя бы и революционному. Личность Марата, смело призывавшего народные массы к беспощадной расправе с аристократами – врагами революции, неизменно воспринималась Салтыковым в социально- и политически-отрицательном аспекте (ср. дальше выражение "охотно-рядские Мараты").

Стр. 519. Sapienti sat. – Выражение из комедии «Формион» римского комедиографа Публия Теренция. Салтыков употребляет его, здесь и в других местах, в эзоповском значении. Он подчеркивает этими словами, что сказал все, что хотел и мог сказать. Об остальном нужно догадываться.

С. А. Макашин

Год: 1882

Примечания

1

Но знаете, дорогой мой, что вы обовшивеете с вашими "сядем да посидим"... (франц.)

2

манера беседовать (франц.)

3

Испорченное от "au vin blanc". Приведено текстуально. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.) Au vin blanc – в белом вине

4

стрелку (франц.)

5

филе миньон (франц.)

6

"Парижской жизни" (франц.)

7

Ты, чего доброго, в конце концов заговоришь о панталонах... проказник! (франц.)

8

Перестань! (франц.)

9

программы (франц.)

10

человеку свойственно заблуждаться (лат.)

11

Известное в Петербурге увеселительное заведение, украшение которого составляет девица Филиппе. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина)

12

заблуждениями (лат.)

13

Старинное название реки Мойки. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина)

14

Все связано, все переплетено в этом жалком мире! (франц.)

15

человеку свойственно лгать (лат.)

16

по собственному побуждению (лат.)

17

Писано в 1881 году, когда на "сведущих людях" покоились все упования России, а издано в 1882 году, когда представление о сведущих людях сделалось равносильным представлению о «крамоле». (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина)

18

"Ниниш" (франц.)

19

"Лань в лесу" (франц.)

20

"Разведемся" (франц.)

21

"В царстве скуки" (франц.)

22

где им заблагорассудится (лат.)

23

человеком, который не понимает поэзии сердца (франц.)

24

приятных пустяков (франц.)

25

В сущности, мы с вами давно знаем, что чиновничество наше всегда было по части краеугольных камней слабо. Помните, как купец Крутобедров с вас деньги по заемному письму взыскивал, а вы, вместо уплаты, переезжали из Торопца в Великие Луки, а из Великих Лук в Торопец, и становой не только ни разу вас не изловил, но даже сам лично в тарантас вас усаживал! Правда, что в то время никому и в голову не приходило, что заемные письма именно самые оные краеугольные камни и суть, а только думалось: вот-то глупую рожу Крутобедров состроит, как тетенька, мимо его дома, в Великие Луки переезжать будет! – но все-таки должен же был становой понимать, что какая-нибудь тайна да замыкается в заемных письмах, коль скоро они милую очаровательную даму заставляют по целым неделям проживать в Великих Луках на постоялом дворе без дела, без кавалеров, среди всякой нечисти? (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

26

для примера (лат.)

27

от одного русского государственного деятеля (франц.)

28

в собственных интересах (лат.)

29

законность, законность! (итал.)

30

свобода (итал.)

31

быстро, с блеском (итал.)

32

медленно, певуче (итал.)

33

Друзья, воздержитесь от смеха! (лат.)

34

См. "За рубежом". (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина)

35

золотое сердце (франц.)

36

должностное лицо (франц.)

37

Добрый вечер, дядюшка! (франц.)

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru  
38  
благодаря вам (франц.)

39  
ставить точек над і (франц.)

40  
потому что семья... понимаешь, семья... в ней все! (франц.)

41  
весь этот сброд... (франц.)

42  
что ж, это красиво (франц.)

43  
Однако, так как здравая политика (франц.)

44  
твою интимную сердечную историю... (франц.)

45  
Как это случилось с тобой (франц.)

46  
Он был так забавен, милый Пьер! И в то же время благороден, храбр (франц.)

47  
В общем, от моих сыновей пахнет казармой! (франц.)

48  
я не прощаюсь, кузен (франц.)

49  
для этой именно цели (лат.)

50  
сколько угодно (франц.)

51  
как дорого отечество всем благородным сердцам! (франц.)

52  
но эта фраза бессмысленна! (франц.)

53  
пусть будет так (франц.)

54  
поездки (франц.)

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru  
55  
я вас! (лат.)

56  
мчатся быстрые годы (лат.)

57  
Унтер-ден-Линден (дословно: "Под липами". - нем.)

58  
Умный поймет (лат.)

59  
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 5, стр. 44 – 45

60  
Из «Введения» к "Мелочам жизни"

61  
Ошибка памяти: не 1883, а 1881 и 1882 гг.

62  
Л.Г. Дейч, М.Е. Салтыков-Щедрин и русские революционеры (по личным воспоминаниям). – "Литературное наследство", т. 11 – 12, М., 1933, стр. 503

63  
М. Ольминский, Статьи о Щедрине, ГИЗ, М. – Л., 1930, стр. 58

64  
Указывая на то, что «тетенька» в течение года «выросла», Салтыков не случайно оговаривается – "в моем мнении", и оговорку эту подчеркивает курсивом. Следует думать, что Салтыков имеет здесь в виду обилие сочувственных его "Письмам к тетеньке" отзывов в печати, а также откликов в личных письмах к нему. Такого активного и широкого внимания со стороны читателя не удостоивалось при жизни писателя, пожалуй, ни одно другое его сочинение

65  
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 1, стр. 295

66  
В первом отдельном издании 1882 года нумерация «писем» была изменена

67  
Письмо к Н. К. Михайловскому от 7/19 июля 1881 г.

68  
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 5, стр. 46

69  
Из первого циркуляра Игнатьева губернаторам. – "Правительственный вестник", 1881, 6 мая

70

Письма к тетеньке. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Письмо к Н. А. Белоголовому от 19 ноября 1881 г.

71

Письмо к Н. А. Белоголовому от 19 ноября 1881 г.

72

В. И. Ленин. Полн. собр. соч. т. 5, стр. 39

73

Ср. также использование образа «Пафнутьева» в "За рубежом", где, однако, это имя олицетворяет правительственный «либерализм» 1880 г.

74

П. А. Зайончковский. Кризис самодержавия на рубеже 1870 – 1880 годов, М., 1964, стр. 382

75

Письмо к Н. А. Белоголовому от 21 декабря 1881 г.

76

Подробности см. в кн.: С. Макашин, Салтыков-Щедрин. Биография, I, изд. 2-е, М., 1951, стр. 118 – 170.

77

В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 5, стр. 58

78

Строка из вольтеровского "Танкреда"

79

Прозвище это также создано Салтыковым. См. "Господа Молчалины", гл. I. – Ред.

80

Ср. с этим размышлением Салтыкова замечание Ленина о том, что революционеры "далеки от мысли отрицать революционную роль реакционных периодов" (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 1.2, стр. 331)

81 Он выходил по первым числам каждого месяца, то есть на 15 – 20 дней раньше "Отечественных записок", и поэтому апрельская книжка журнала могла быть известна Салтыкову в момент написания "апрельского письма".

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://saltykov-shchedrin.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!